
ЛУИС
МАРТИН-САНТОС
Перевод
Надежды Мечтаевой
ВРЕМЯ
ТИШИНЫ
Мне очень понравился этот роман... «Время тишины» —
словно глоток свежего воздуха, замечательная попытка
создания нового языка.
Марио Варгас Льоса
!
18+

Время тишины
Луис Мартин-Сантос

Аннотация
Луис Мартин-Сантос. Время тишины
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59

Аннотация

Молодой пытливый исследователь изучает в лаборатории редкий штамм раковых клеток. Особые мыши, носители штамма, были присланы в Мадрид из самой Америки. Внезапно Педро обнаруживает, что мыши – кончились. Впрочем, горевать пока рано: Амадор, помощник-лаборант, как оказалось, успел продать несколько особей своему товарищу, обитающему в трущобах за городом. Педро и Амадор отправляются в путь, чтобы добыть драгоценных мышей… и затеряться в причудливом мире послевоенного Мадрида, который больше напоминает гротескный город из сна, чем реальный мегаполис. «Город без лица, воздвигнутый ни с того ни с сего посреди пустыни… задуманный без вдохновения, но устремленный в будущее… туда, где человек – это лишь уменьшенная копия города…»

Впервые на русском – один из самых ярких испанских романов XX века, соединивший в себе литературные игры Джойса, Пруста и Фолкнера, традиции плутовского романа

и гротескное воображение Гойи. Роман был переведен на 21 язык, а его суммарный тираж превысил 2 000 000 экземпляров.



Луис Мартин-Сантос
Время тишины

Luis Martín-Santos
TIEMPO DE SILENCIO

Copyright © Luis Martín-Santos, 1962
Copyright renewed © The Estate of Luis Martín-Santos, 1981, 2022

This translation published by arrangement with Galaxia Gutenberg, S. L., Barcelona, Spain
www.galaxiagutenberg.com
All rights reserved

© Н. Ф. Мечтаева, перевод, 2026
© Издание на русском языке. ООО «Издательство АЗБУКА», 2026
Издательство Азбука®

1

Телефон звонил и звонил. Я снял трубку. Ничего не понял. Позвал:

— Амадор!

Толстогубый явился, и я передал ему трубку.

Сам смотрел в микроскоп, пытаясь разобраться в том, что видел. Похоже, препарат не сработал. Рак. Однозначно. После митоза голубое пятно начало бледнеть.

— Эти лампочки тоже перегорают, Амадор.

Нет, не в лампочках дело: это он на провод наступил.

— Воткни вилку в розетку!

Продолжает говорить по телефону.

— Амадор!

Такой толстый, такой улыбчивый. Говорит медленно, смотрит на меня:

— Больше нет. Ни одной не осталось.

Мыши кончились! Передо мной портрет человека с бородой[1] — того, кто освободил иберий-

---

[1] Примечания: 1

Имеется в виду Сантьяго Рамон-и-Кахаль (1852–1934) — испанский врач и гистолог, один из основоположников современной нейробиологии, лауреат Нобелевской премии по физиологии и медицине (1906). — *Здесь и далее примеч. перев.*

цев[2] от врожденного чувства неполноценности, от уверенности в своей полной неспособности к наукам. Неподвижный, он пытливо смотрит на меня, виноватого за нехватку подопытных мышей. Его понимающая и освобождающая от чувства неполноценности улыбка объясняет: недостаток средств. Бедный народ, бедный народ! Кто теперь может мечтать о том, чтобы получить заветную северную награду? Грезить об улыбке высокого короля, о всемирном признании, о благополучии мудреца, который ждет на своем засушливом полуострове, когда же умы и реки принесут плоды… Аномальные митозы, застывшие на предметном стекле, неподвижны, хотя митоз есть само движение.

Амадор кладет трубку, смотрит на меня, говорит:

— Все, конец.

И плотоядно улыбается.

— Ну и губищи у тебя, Амадор…

Иллинойский штамм, открывавший такие перспективы… Снова звонит телефон. Не обращаю внимания.

— Почему ты смеешься, Амадор? Над чем ты

---

[2] Примечания: 2

Иберийцы — древний народ, населявший восточную и южную части Пиренейского полуострова.

смеешься?

Да, я знаю, уже знаю. Мышей не осталось. Больше надеяться не на что, даже на человека с фотографии и на реки, которые вбирает море[3]. Можно построить плотину, и она задержит воду. Но как быть со свободным духом? С творческим началом? Что делать пытливому исследователю, чей острый скальпель проникает во все, что шевелится, и обнаруживает там то, чего никогда не видели неиберийские глаза? Этот штамм раковых клеток был приобретен за иностранную валюту и доставлен из самого Иллинойса! И вот теперь мышей не осталось. Их нет. Амадор улыбается, слушая чей-то голос в телефонной трубке. Как мы вообще сможем что-нибудь сделать — неуклюжие, узколицые жители полуострова, чей мозг стал весить меньше из-за однообразной диеты, состоящей из бобов, гороха и овощей, почти при полном отсутствии белков? Есть только сало. Сало и каши. Для таких, как Амадор, способных смеяться, когда все так плохо; смеяться, зная, что без мышей штамма *MNA* ученому никогда, никогда не принять из рук высокого короля кубок,

---

[3] Примечания: 3

Аллюзия на стихотворение испанского поэта Хорхе Манрике (ок. 1440–1479) «Строфы на смерть отца» (в переводе Н. Ванханен: «Наши жизни — это реки, // И вбирает их всецело море-смерть»).

лавровый венок, зажженный факел, с которым он пробежал бы мимо трибуны наций, утверждая величие своего народа, ведущего битву с тупым митозом, который растет и разрушает — как здесь, так и в Иллинойсе — нежную плоть дам в пременопаузе, когда периодически вытекающая из них кровь — уже не жизнь, а только обман. *Betrogene*[4]: смерть побеждена.

— Амадор, постой. Сними черную телефонную трубку, отдай приказ министру. Скажи ему, что исследование стоит того, чтобы купить ради него еще мышей. Перестань смеяться и прекрати наконец брызгать слюной — могут подумать, что ты плохо воспитан или дурачок.

— В войну мы ели крыс. По мне, они вкуснее кошек. Кошками я сыт по горло. Мы их много съели. Нас было трое: Лусио, Муэкас и я.

Белки́ для тех, кто недоедает. Когда мотонейроны мигрируют в кору головного мозга, у людей наблюдаются нормальные, но слишком редкие митозы. Эти мотонейроны из-за отсутствия необходимых веществ то ли малочисленны, то ли плохо расположены и закреплены, то ли развивают недостаточное количество отростков. Вот

---

[4] Примечания: 4
Здесь: обманута *(нем.).*

почему мы не способны раскрыть причины разрушительной неоплазии. Амадор разглядывает меня. Наверное, у меня смешной вид, поэтому он смеется. Я смотрю в оптический микроскоп — на электронный нет денег — и считаю эти чудовищные ядра. Амадор, уже в коричневом берете, но все еще в белом халате, идет в заднюю комнату, где воют три тощих пса, которые постоянно мочатся и ужасно воняют. Амадор, готовый покончить с псами, как он покончил с мышами, ждет моей команды, но я ее не отдаю. Я смотрю на него и жду, когда он скажет что-нибудь, что меня спасет.

— У Муэкаса есть мыши, — говорит Амадор.

Это все не то. Не всякая мышь — носительница раковых клеток. Не всякая мышь принадлежит к иллинойскому штамму, тщательно отобранному из шестнадцати тысяч штаммов в светлых лабораториях с кондиционерами и прозрачными стенами из стекла, заботливо оборудованных исключительно для того, чтобы обеспечить мышам счастливую жизнь. Несколько поколений мышей подвергались аутопсии, пока у одной из них не обнаружилась в паху маленькая опухоль, вызывающая загадочную спонтанную смерть, которая постигает не только животных.

Страдают и светловолосые, среднего возраста женщины, в изобилии получившие белок, когда матери, шведки или саксонки, вынашивали их и кормили грудью. В школьные годы они тоже не страдали от отсутствия протеина. Красивые, но недалекие, с посредственным уровнем интеллекта и правильной миграцией нейробластов. Упорядоченная конструкция из плоти и сложных липидов с электронным мозгом в центре, которая используется для подсчета митозов в прозрачных дворцах. И вот пожалуйста: этого изолированного штамма больше нет. Мыши, купленные на добытую с таким трудом валюту, доставленные из родного Иллинойса самолетом — кондиционированные боксы, самцы отдельно от самок, чтобы предотвратить неконтролируемые спаривания, — вымерли от нехватки витаминов. Они вымирали быстрее, чем размножались. Быстрее, чем размножались! Но Амадор смеется и повторяет:

— У Муэкаса есть мыши.

Муэкас приходил сюда. В это помещение, где воздух пропитан запахом непрерывно воющей собаки, которая не может мочиться, и поэтому вся жидкость у нее выделяется через поры. Поскольку у нее потеют только лапы, она использует

еще и дыхание, вываливая язык. С тех пор как собаку прооперировали и поставили ей бедренную кость из полистильбена или поливинила, она жутко страдает; остается только радоваться, что поблизости нет увядающих, так никем и не востребованных, ни разу не получивших сексуального удовлетворения, не больных раком англосаксонских девственниц, которые со всей своей нерастраченной энергией обрушились бы на лабораторию от имени Общества защиты животных. Будь они здесь, мы лишились бы всякой возможности проводить исследования, для которых у нас нет даже самого необходимого. А значит, наши мечты повторить судьбу бородатого человека с фотографии — оказаться рядом с высоким королем и неловко принять из его рук награду — стали бы не просто несбыточными, как сейчас; они стали бы смешными и нам самим казались бы нелепыми. Но кого волнует, что собаке больно, если людям на собственных матерей наплевать? Скорее всего, это исследование поливинила ничего не даст: умники в залитых светом лабораториях всех цивилизованных стран мира уже доказали, что поливинил отторгается жизненно важными тканями животного. Но кто знает, что́ способна вынести здешняя собака?

Собака, которая не мочится, которую Амадор кормит одним лишь размоченным в воде сухим хлебом? Сравнительных исследований никто не проводил. Так что и у Муэкаса могут оказаться остатки штамма. Возможно, были случаи размножения, о которых знает только Амадор, или случались скрещивания с грызунами близкого вида. А вдруг результаты, полученные при работе с такими мышами, лягут в основу нового, еще более важного открытия, после которого шведский король наклонится к нам и заговорит на латыни или на ломаном английском, с произношением, совсем непохожим на произношение увядающих девственниц, и вручит Амадору — тому самому Амадору, одетому в полосатую пижаму, потому что фрак ему не по карману, — заветную награду? Муэкас тоже будет там — со своим штаммом, полученным после глубоких размышлений, расчетов коэффициентов, кроссинговеров и составления генетических карт. После имплантации хромомеров в слюнные железы и реимплантации в важнейшие органы, через которые передается жизнь. Амадор считает, что у Муэкаса есть то, что нам нужно, — *MNA*. Иллинойский штамм не полностью утрачен. Мышей, доставленных на четырехмоторном пропеллерном или даже на

двухмоторном реактивном самолете — со специальной страховкой, со справкой из ветеринарной пограничной службы США, — Муэкас отвез в пустой коробке из-под яиц в свою лачугу, где две его дочери, шестнадцати и восемнадцати лет, ни одна из которых не была блондинкой и не получила адекватного питания в утробе матери, занялись разведением штамма. А значит, существовала вероятность появления новой теории: рак паховой области — это на самом деле рак подмышечной впадины, имеющий не эктодермальное, а мезодермальное происхождение. И смертелен он не только для мышей и крыс — две девушки, не блондинки, которым случайно ввели раковые клетки ввиду несоблюдения мер безопасности при работе с зараженными мышами, погибнут из-за отсутствия качественной медицинской помощи: им не поставят правильный диагноз и они не будут вовремя прооперированы. А затем последует вскрытие — отец, в ужасе от мысли, что он, возможно, тоже заражен, даст на него согласие. И тогда под мышками и в паху, несмотря на то что обе погибшие — девственницы, обнаружатся разросшиеся плотные опухоли, источники токсинов, которые парализуют слабый мозг. В них (о чудо!) найдут вирус, без сомнения происхо-

дящий от иллинойского штамма. Вирус, который легко можно распознать даже с помощью убогих оптических микроскопов, которыми мы имеем возможность пользоваться благодаря бородатому человеку с фотографии. Вирус, который мы путем множественных интеракций вырастили в клетках яичника недокормленной девушки, чьей матери во время беременности не хватало белков: это вакцина, которую можно с успехом применять для лечения людей. «Ваше величество, уважаемые академики, дамы и господа! Начало нашему эксперименту — так же как это было с гениальным англичанином, обратившим внимание на разрастающуюся плесень[5], — положила случайность...» Амадор уверяет, что украденный штамм — хороший, что это именно иллинойский штамм и что Муэкас украл самцов и самок исключительно с целью поддержать их генетическую чистоту, рассчитывая потом продать мышей лабораториям, где, как он знал, показатель их смертности был выше показателя рождаемости.

— Ты не понимаешь, что он вор? Как мы можем покупать у вора то, что он украл у нас же? И

[5] Примечания: 5

Имеется в виду Александр Флеминг (1881–1955), открывший пенициллин.

как может ограбленное учреждение втридорога выкупать то, что украдено у него, или то, что происходит от украденного (кстати, где гарантия, что это именно так)? Мы как-никак живем в правовом государстве, где есть полиция и судьи и где каждый свободный гражданин имеет возможность донести на другого.

— Доказательств нет, — говорит Амадор. — Никто не докажет, что они краденые.

Доказать можно, если установить с помощью микроскопа, что опухоли в паховой области возникают спонтанно. Из всех имеющихся на полуострове штаммов только один наделен этим смертоносным свойством. Только он годится для исследований. Только он способен внезапно порождать болезнь, ввергающую в отчаяние всю семью и обрекающую пораженного ею человека на физическую боль и прогрессирующую аутофагию, которая продолжается до самой смерти. Как получилось, что генетика, используемая подобным образом, начала ставить перед собой цели, совершенно противоположные тем, что ставили пионеры этой науки, — создание совершенного человека, победа над всеми наследственными аномалиями — и после того, как антибиотики справились с бактериями, произ-

вела на свет отвратительную породу вирусов, отравляющих людям жизнь? Амадор не имеет об этом ни малейшего представления. Но его поражают удивительные возможности генетики, с их малозаметным, но важным побочным результатом: исследователям предоставляют жилье в государственных квартирах, и даже он, Амадор, получает ощутимую прибавку к своему ничтожному жалованью.

— К тому же нам от этого только польза. Иначе что бы мы сейчас делали? О мышах заботятся его дочери. Без них мыши давно подохли бы, а теперь они размножаются без остановки. У Муэкаса вся лачуга забита мышами.

Но почему мыши не умирают? Как недокормленной девушке удается добиться того, что мыши выживают и плодятся? И почему они так быстро дохнут здесь, в лаборатории? Конечно, светлой ее назвать нельзя, и кондиционеров в ней нет, но все-таки она больше похожа на лаборатории Иллинойса, чем лачуга Муэкаса. Возможно, непрекращающийся жалобный вой — почти человеческие крики — собак с поливиниловыми бедренными костями раздражает нервную систему и влечет за собой слишком скорую, даже для зараженных мышей, смерть или, как минимум,

потерю интереса к размножению? А может быть, дочери Муэкаса нежно любят этих мышей? Или они необычайно мудры и прозорливы? Может быть, природа наделила их особыми качествами и их миазмы вызывают у мышей неодолимое стремление к размножению, что приводит к появлению все новых и новых дефектных потомков? С ненавистью смотрю в микроскоп. Препарат вновь синеет, и неподвижные митозы, застывшие в формалине, начинают демонстрировать волчий аппетит.

— Не уходи, Амадор, я еще не закончил.

— Ладно.

— Ты обязан оставаться со мной или с любым другим исследователем, пока мы не закончим работу.

— Ладно.

— И перестань долдонить про нормированный рабочий день. У меня, по-твоему, нормированный рабочий день?

— Нет, сеньор.

— И я еще не закончил.

Буду искать митозы дальше. Пока не найду. Или пока не выбьюсь из сил.

— Послушай-ка, — говорю я.

— Что еще?

— Скажи Муэкасу, чтобы принес своих мышей. Я посмотрю, действительно ли это тот самый штамм, и либо куплю их у него, либо заявлю о краже.

— Мыши у него что надо. Первый сорт.

— Тогда пусть принесет, и поскорее.

— Он не придет.

— Почему?

— На него уже заявляли. Заместитель директора тогда его выгнал. Это не в первый раз. Раньше были кошки. Им вставляли в голову провода и забывали о них. Муэкас брал этих животных и снова продавал. Однажды лаборанты вставляли кошкам в голову провода и обнаружили внутри старые, уже заржавевшие. Конечно, с мышами потруднее будет, потому как они мрут, что с ними ни делай. А кошки — нет. Кошки живучие. Только злые. Муэкаса покусали, а его дочери чуть глаз не выцарапали. Но они выживают.

— Хорошо. Скажи ему, чтобы пришел.

— Не придет он. Заместитель директора думает, что он уехал в Америку. Если он его здесь увидит, Муэкасу конец. Так что он теперь сюда ни ногой. А мышей я ему дал, ясное дело. Иначе откуда бы мне знать, что мыши у него правильные?

— Вот оно как.

— Тогда их много было. Хоть они и дохли каждый день. Это еще до того, как собаки с поливинилом с ума посходили.

— Получается, что тебя следует наградить?

— А то.

— Слушай, — говорю я.

— Да? — говорит он.

— Давай завтра сходим к нему. В его лачугу.

— Вот он обрадуется!

2

Есть города без лица, без исторической памяти, то и дело перестраиваемые своевольными правителями; ни с того ни с сего воздвигнутые посреди пустыни, вдали от моря или реки; почти не имеющие коренных жителей; с показной расточительностью тратящие свои скудные богатства; осчастливленные невероятным небом, заставляющим забыть почти обо всех их недостатках; довольные собой, словно пятнадцатилетние девушки; предназначенные лишь для того, чтобы поднять престиж какой-нибудь династии, и в то же время полные таких сокровищ, что о богатствах, некогда пропавших втуне, можно и забыть; задуманные без вдохновения, но устремленные в будущее; нелюбимые аристократами[6]; населенные наглым, глупым, ленивым народом, но иногда вдруг — неизвестно почему — проявляющим героизм (так деревенский парень одним

[6] Примечания: 6

Имеется в виду старинная испанская знать, не пожелавшая перебираться в Мадрид после объявления его столицей в 1561 году.

махом перепрыгивает реку)[7]; опьяненные собой (хотя то, что они пьют, не способно опьянить); необъяснимым образом бравшие верх над куда более могущественными иноземными городами с их величественными соборами, знаменитыми церквями и заколдованными дворцами (на каждый век — по дворцу, а то и больше); не умеющие говорить на родном языке с такой же ровной интонацией, как у тех, кто живет двумястами километрами севернее; удивляющиеся прибытию золота, которое может превратиться в камень, но, скорее, превратится в кареты, запряженные лошадьми в позолоченных черных попонах; страдающие от отсутствия еврейских кварталов[8]; населенные важными, серьезными людьми и простым, веселым народом; безразличные к природе — по крайней мере до тех пор, пока в других краях не изобрели электропоезд и кресельный подъемник; всерьез обеспокоенные вопросом передачи церковными судами своих полномочий светской власти; редко посещаемые истинными

---

[7] Примечания: 7

Аллюзия на стихотворение «Пролог» Федерико Гарсия Лорки: «Крепкий, с грацией // деревенского парня, // что одним махом перепрыгивает // реку».

[8] Примечания: 8

Намек на изгнание евреев из Испании в 1492 году, вызвавшее в стране экономические трудности.

представителями нордической расы; изобилующие глупыми богословами при отсутствии выдающихся мистиков; полные куплетисток и авторов комедий нравов, комедий интриги, комедий плаща и шпаги, комедий кофе, комедий чести, комедий с прекрасной незнакомкой под покрывалом, низкопробных комедий, комедий французских салонов, комедий кафе, но не комедий дель арте. Города, где много двухэтажных автобусов, изрыгающих дым (чем чернее, тем лучше) на тротуары, по которым в холодные солнечные дни ходят люди в габардиновых пальто; города, где нет собора[9].

Но не будем судить поспешно. Давайте дождемся того дня, когда вдруг (а может быть, постепенно, хотя в это трудно поверить) обретет окончательную форму то, чего мы пока не видим, но что (мы почти уверены в этом) уже существует; когда затвердеет субстанция, которая сейчас вяло ползет по земле, и когда те, кто сейчас грустно смеется, прозреют и примут решение покинуть огромные конструкции из железа и бетона, предпочтя уединение в тесном

---

[9] Примечания: 9

Кафедральный собор архиепархии Мадрида — Санта-Мария-ла-Реаль-де-ла-Альмудена — был заложен в 1884 году и закончен только в 1993 году.

пространстве собственных домов.

Отложив суждение до этого дня, давайте пройдемся по темным тавернам, где над полками с рядами бутылок висят бычьи головы со стеклянными глазами. Или пробродим всю ночь по улицам — Нунсио или Ла-Бола, — где еще можно отыскать следы прошлого и представить себе, каким мог бы быть этот город (а он мог быть совершенно другим). Или заглянем на большую площадь и понаблюдаем за гуляющими по ней солдатами. Или вечером проследим за тем, кто удаляется торопливыми легкими шагами — наверное, это миниатюрная нервная девушка; обнимемся с пьяными, отрешившимися от реальности и пребывающими каждый в своем раю; улыбнемся, глядя на то, как вытягивается полицейский, когда мимо проходит женщина ростом выше его; спросим таксиста с желтыми кошачьими глазами, как обжулить продавца в магазине тканей; станем завсегдатаями ночного клуба, где великан-швейцар в зеленой ливрее начнет нас узнавать и, отечески улыбаясь, пропускать бесплатно; проведем полдня в маленьком кафе, где официантка за все время ни разу нам не улыбнется; будем притворяться, что пьем, но делать совсем маленькие глотки; скажем всем,

что идем в кино, а сами отправимся в пансион, в свою комнату, где нас ждет кровать под красным покрывалом; поведем знакомую англичанку в музей живописи и обнаружим, что понятия не имеем, где висят картины, которые она хочет посмотреть, — знаем только, где найти «Менины»[10]; создадим новый литературный стиль и несколько вечеров подряд будем рассказывать всем в кафе, чем он отличается от остальных, пока сами вконец не запутаемся; станем заводить друзей не до гробовой доски и искать любовь меньше чем на одну ночь; будем ходить на студенческие балы, куда девушек пускают бесплатно; сосчитаем, сколько кремней продает за день карлик, что стоит на углу, и сколько билетов на метро продает холодным зимним утром женщина с младенцем на руках; выведем закон экономики, согласно которому торговка, что продает сигареты поштучно, получает достаточно, чтобы содержать любовников; задумаемся над тем, что́ заставляет слепых выходить на улицу даже в те дни, когда валит густой снег и дома свои покидают лишь

[10] Примечания: 10

«Менины» («Семья Филиппа IV») — картина Диего Веласкеса, написанная в 1656 году. Хранится в музее Прадо.

те, кто собирается на премьеру[11]. И попытаемся представить, как — боже мой! — как жили все эти люди в то время, которое они сами называют, хорошо зная почему, голодными годами.

И тогда нам станет понятно, что человек — это уменьшенная копия города, а город — это человеческое нутро, вывернутое наизнанку; что в городе человек не только находит свое предназначение и смысл существования, но и преодолевает множество преград на пути к его осуществлению; что отношения человека и города не сводятся к отношениям с людьми, которых он любит, или заставляет страдать, или эксплуатирует, — к тем, кто суетится вокруг него, запихивая ему в рот куски пищи, накидывая на его тело куски ткани, защищая его ступни изделиями из кожи, даря профессиональные ласки, смешивая для него изысканные коктейли за блестящей стойкой бара. Мы сможем понять, что думает город, мозг которого заключен в тысячах голов тысяч его жителей, объединенных общим стремлением: жаждой власти, благодаря

[11] Примечания: 11

Аллюзия на пьесу испанского драматурга Антонио Буэро Вальехо (1916–2000) «В пылающей тьме» (1950), главными героями которой являются слепые. В год премьеры пьесы в декабре в Мадриде прошел сильнейший снегопад.

которой продавцы фейерверков, мошенники, отирающиеся возле монастырей, содержатели публичных домов, владельцы каруселей без электромоторов, деревенские парни, которых жители пригородов нанимают для участия в боях быков, сторожа на автостоянках, мальчишки, собирающие мячи в гольф-клубах, и бесчисленные чистильщики обуви — все включены в эту лучезарную сферу. Лучезарную не потому, что ее проектировал Ле Корбюзье[12], а саму по себе, без помощи архитектурных ухищрений, благодаря лишь ослепительно сияющему солнцу и ослепительному порядку, такому безупречному, что число уголовных преступлений, согласно самым достоверным данным, с каждым годом сокращается, и никто никогда не потеряется — на то он и город, чтобы в нем никто не терялся; человек здесь может страдать или умереть, но потеряться не сможет, даже если очень захочет, потому что каждый уголок этого города — идеальное место для того, чтобы найти потерявшихся: тысяча, десять тысяч, сто тысяч пар глаз смотрят на него, оценивают, узнают и обнимают, знают его имя и спасают его, помогают найти себя, когда ему

[12] Примечания: 12

Имеется в виду проект архитектора Ле Корбюзье «Лучезарный город» (1935).

кажется, что он окончательно потерялся в самом подходящем для себя месте — в тюрьме, в приюте, в полицейском участке, в психиатрической лечебнице, на операционном столе. Человек в городе — уже не деревенский, ты больше не похож на деревенского, парень, но всякий скажет, что ты из деревни, и какая разница, из деревни ты или нет, если ты такой же, как все?

3

Жизнь в деревне нелегка. Но какая тугая плоть бывает у деревенских, какая стать, какая походка! И как они умеют от души хохотать, когда и смешного-то ничего нет, или вздрагивают всем телом, когда вокруг все спокойно — светит солнце и воздух чист. Обманчивая красота юности, глядя на которую забываешь обо всех проблемах, еще детская грация, налитое (потому что в бедности и трудах прожито всего лишь пятнадцать-двадцать лет) тело и сияющие глаза часто сбивают с толку и создают впечатление, что все не так уж плохо, как на самом деле. Иногда привлекательность заключается не столько в самой красоте, сколько в грации, в ловкости и быстроте движений, и нелегко заметить, как то, что казалось живостью, все больше походит на хищничество; зато легко можно ошибиться, предположив, что застывший гипнотический взгляд говорит о страстном желании, в то время как он выражает неудовлетворенность.

4

«Мой муж мог бы оставить мне и побольше, но оставил только воспоминания, довольно, впрочем, приятные. Эти его пышные усы, темные глаза, воинственный вид! У меня не было ни минуты покоя, потому что мой красавчик не пропускал ни одной юбки. Хотя, думаю, эти шлюхи сами ему на шею вешались. Я даже представить себе не могу, что он стал бы их добиваться. Но как бы то ни было, он всегда умудрялся подцепить кого-нибудь, особенно когда надевал мундир. И все деньги тратил на то, чтобы еще как-нибудь себя украсить. Кроме этих воспоминаний и дочки — она у меня красавица, вся в отца и такая же отчаянная, жаль только, над верхней губой у нее темный пушок, он мне напоминает усы мужа, — мне осталась небольшая (триста двадцать пять с половиной песет) пенсия, которую государство дает за павших на поле брани, и медаль, но, согласитесь, этого все-таки слишком мало для двух женщин. Еще есть несколько фарфоровых фигурок. Муж привез их с Филиппин. Когда он там воевал, он был совсем молодой. Там он медали

никакой не получил — из-за козней завистников. И хорошо еще, что перед тем, как отправиться на острова, он мне дочку заделал, ведь когда он вернулся, я уже не годилась для того, чтобы рожать. Нет, для любви — слава Господу! — я годилась, а вот забеременеть еще раз уже не могла. А мне так хотелось родить троих или четверых! Но этот кобель не удержался и спутался там с какой-то тагалкой[13] — думал, что она юная и чистая, а эта дрянь наградила его дурной болезнью. А там даже помыться негде было, не говоря уже о чем-то другом. Он делал что мог, а когда стало совсем плохо, пошел к знакомому судовому врачу — к нему все ходили, кто в такие истории попадал, и он всех лечил. Он бы и мужа моего вылечил, да было уже поздно. Вот и осталась у меня одна Карменсита. Ей было уже двадцать восемь, когда его все-таки убили в марокканской заварухе. Кроме фарфоровых фигурок и болезни, он привез с Филиппин пять вееров и три шелковые шали. На одной — райские птицы, на другой — диковинные цветы, а на третьей — узкоглазое лицо, что странно, конечно; такой рисунок на шали наверняка очень редко встретишь, потому-то он

---

[13] Примечания: 13

Тагалы (тагальцы) — народность, проживающая на Филиппинах.

мне ее и привез: муж был сумасбродом и обожал все чудно́е. Мне кажется, он вообще был немного чокнутый, и приструнить его было невозможно. Вечно торчал в казино, вечно пил больше, чем следовало, выставлял напоказ свою красоту, хвастался тем, что превосходит других почти во всем, а уж в постели ему точно не было равных, что я лично могу подтвердить, хотя уверена, что эти свои способности он гораздо чаще проявлял на стороне, чем дома, где он мне, законной супруге, врал почем зря, а я слушала его россказни и верила всему как дура. Я так и не смогла оправиться от этой потери, и дочка моя тоже: она, бедняжка, осталась без общества, потому что ее некому было представить, а когда с ней то несчастье приключилось, она еще и без мужа осталась, потому что не было у нее ни отца, ни старшего брата, которые заставили бы эту свинью, ее жениха, поступить по чести, хотя, правду сказать, я не жалею, что он бросил мою дочку, — этот мерзавец испортил бы ей жизнь и она скатилась бы на самое дно. Боюсь, он даже стал бы наживаться на доставшейся ей от отца красоте — не слишком женской, хотя мужеподобной моя дочка не выглядела, — так привлекавшей всех мужчин, которые ее видели. Времена тогда были ужасные, люди

совсем совесть потеряли: женились без церкви и разводились. А потом, в голодные годы, он стал бы подкладывать ее в постель то к одному, то к другому, да и она сама — чего уж тут скрывать, вся в отца — не могла бы спокойно жить одна, и я это понимаю, тем более что есть мужчины вроде моего мужа, перед которыми ни одна не устоит, и моя бедная дочка тоже не устояла бы — таким уж темпераментом наградил ее отец, да и ваша покорная слуга тоже, слава богу, не из камня. Так что, думаю, нам было легче вдвоем, к моей пенсии иногда еще что-нибудь перепадало — все лучше, чем если бы у нас на шее сидел этот паразит, отец моей внучки. Даже не знаю, как такая красавица могла родиться от такого отца, который и на настоящего мужчину-то не был похож — так, тряпка с манерами тореадора или цыганского танцора и, по-моему, даже немножко из этих, кому мужчины нравятся. Но может быть, моя дочь выбрала его как раз потому, что он не был похож на ее отца, которого она в детстве боялась, потому что не раз видела, как он меня колотил, а я, хоть и была сильная, не могла ему ответить — такую власть имел надо мной муж. Вот моя дочь и выбрала этого полумужчину, которого могла бы держать в кулаке или гнуть в дугу,

когда ей вздумается. Но его хватило только на то, чтобы лишить ее девственности — надо сказать, уже изрядно поеденной молью, — да произвести на свет это сокровище, мою внучку, которой уже девятнадцать и она такая красавица, что даже у меня сердце замирает, когда я на нее смотрю, потому что я всегда была очень чувствительна к красоте, да к тому же это моя кровь, и мне это очень приятно. Нужно признать, что быть дочерью женственного отца — совсем неплохо: моя внучка куда более утонченная, чем ее мать с сильными руками, горячим темпераментом и темными усиками. Ничего не скажу, она очень привлекательна, если не обращать внимания на фигуру, негибкую талию, жестковатые черты лица и походку. Кроме пенсии в триста двадцать пять с половиной песет, дочери и внучки, филиппинских безделушек и расписных шалей, четырех стульев красного дерева в столовой, платяного шкафа с зеркалом и высокой супружеской кровати в стиле ампир, муж не оставил мне ничего, так что мы решили открыть пансион, задешево арендовав большую квартиру в хорошем месте — в самом начале улицы Прогресо, а это близко от неблагополучных кварталов, однако все же не настолько, чтобы нельзя было найти

приличных жильцов. Но нужна была мебель, а денег у меня не было, и пришлось обойти всех друзей мужа, тех, кого не убили — а таких бедняг было немало, — когда случилось то несчастье; тех, кто нашел способ остаться в стороне. На их помощь я и рассчитывала, потому что они легко могли представить себя на месте убитого, а на месте одетой в черное, скрывающей лицо под густой вуалью безутешной вдовы (именно так я старалась выглядеть) — собственную жену, хотя я не была до конца уверена, что это произведет на них впечатление, потому как мало найдется семей, где муж и жена были бы так привязаны друг к другу, как мы с мужем. Он-то был мужчиной, уважал меня, понимал, что законная жена — совсем не то что грязные шлюхи, с которыми он не упускал возможности развлечься там, на островах, за тысячи миль от дома. Денег у друзей мужа было не много, почти все получали гроши, и я, чтобы разжалобить их, откидывала вуаль, и они могли видеть мое залитое слезами благородное лицо — глаза я слегка подкрашивала голубоватой сажей, а на кожу наносила толстый слой рисовой пудры, чтобы лицо было белым и казалось бескровным, потому что, к сожалению, цвет кожи у меня прекрасный, и мужу это нравилось: он

говорил, что это признак темперамента, — он был не такой, как эти извращенцы, жертвы моды, предпочитающие бледных девиц, которые пьют для этого уксус, хотя и без него были бы такими же, потому что у них у всех малокровие. Дочку я брала с собой и, хотя она была уже совсем взрослая, одевала ее, как девочку, в короткие юбки, и мужчины, глядя на ее икры, волновались — не потому, что у них возникало желание, а потому, что понимали: она привлекательна и, если нам случится впасть в нищету, может стать жертвой похотливых развратников. Сердца их смягчались еще больше, и некоторые даже обещали, вдобавок к сумме, которую вручали вдове хорошего друга, останавливаться только в моем пансионе всякий раз, как будут приезжать в город, и сдержали свое обещание, так что первое время — а оно всегда самое трудное — недостатка в клиентах у нас не было. Понятно, что многие из них давали очень мало, то, что им удавалось скопить или занять, в среднем примерно половину месячного заработка — ничтожные суммы для открытия пансиона, который я хотела сделать более-менее роскошным, чтобы в нем жили постояльцы, соответствовавшие моему тогдашнему положению вдовы героя, хотя после истории с моей дочерью

этот ореол начал тускнеть, а потом и вовсе исчез. Тогда же утратил престиж и пансион, что постепенно приходил в упадок. Мебель потеряла блеск, шторы и гардины выцвели, ковры истерлись, картины поблекли. И жильцы теперь были совсем другие. Из-за частых визитов тореадора-танцора-гомика, о котором я говорила, съехали две семьи служащих Министерства внутренних дел, которые до этого были самым надежным подтверждением престижа заведения. Это были две бездетные пары, и я показывала сеньорам альбом с фотографиями, оставшимися на память о муже, пропуская те, где он был снят с тагальскими шлюхами, — муж, шутник, подарил мне эти снимки, чтобы я понимала, какие женщины ему больше нравятся, и видела, как они все на него вешаются. К тому времени мой характер изменился. Я уже не была такой жесткой и решительной, как вначале, когда пансион процветал и я с легкостью убеждала друзей мужа давать мне, порядочной женщине, вдове героя, деньги на то, чтобы латать очередную дыру в бюджете, возникшую из-за моего неумения вести дела. Тогда же я начала пить и особенно пристрастилась к рому „Негрита“, и чем больше спиртного употребляла, тем менее бдительной становилась, и

все чаще в дом проникал этот подлец-жених, уверенный, что найдет здесь не только белые бедра моей дочери, но и тайник с парой-другой унций заморского золота, в чем он, конечно, сильно ошибался. А ведь он иногда казался мне неплохим парнем в то ужасное время, когда я каждый день заливала рюмкой-другой свое горе, — у меня тогда прекратились месячные, а это означало конец моей и без того незадавшейся женской жизни. Для меня это было большим ударом, и я искала хоть какого-нибудь утешения, даже этот танцор мне нравился, потому что он был такой любезный, кокетничал со мной, льстил и иногда приносил бутылку. Зная слабость моего характера и понимая, что у меня сейчас трудное время, он был уверен, что в моем доме всегда найдется что съесть и выпить и с кем переспать, как потом оказалось. Но как же больно мне было смотреть на дочь, любимую, цветущую, полную жизни, смотреть на свое повторение — потому что для меня смотреть на дочь было все равно что смотреться в зеркало — и видеть в ней собственную умирающую красоту! Мы уже не одевались в черное, как в те времена, когда ходили просить деньги на обустройство пансиона, и я, чтобы соблюсти приличия, сопровождала этих двоих,

когда мерзавец вел мою дочь туда, куда ее одну я с ним никогда не отпустила бы: в заведения с сомнительной репутацией, где, однако, так весело было, приняв стаканчик-другой, понаблюдать за жизнью мужчин, какую наверняка вел и мой покойный муж. Однажды, сопровождая дочь (не спасло ее это чертово сопровождение!), я попала на вечеринку фламенко. Танцор привел туда своих дружков, и некоторые из них, когда я была уже изрядно навеселе — хотя вдребезги я никогда не напивалась, — начали ко мне приставать. Щипали, говорили сальности, а у меня дрожь пробегала по спине, как в те времена, когда покойный муж возвращался тихонько ночью, забирался ко мне в постель и кусал меня за плечо, а я просыпалась не сразу и во сне видела себя нежной тагалкой, которую пожирает каннибал. Однажды я сделала глупость: показала женам министерских работников те самые фотографии тагалок с голыми сиськами. „Вы видите, — сказала я, — что им до меня далеко, но, хотя я и лучше, мой покойный муж…“ Они страшно возмутились, заявили, что немедленно покидают наш пансион, и начали читать мне нотации. А тут еще из спальни дочери донесся придушенный крик, дверь распахнулась, и на пороге показалась она сама в ночной рубаш-

ке. „Мама, мне плохо! Мне приснился ужасный сон, мама!“ Вот уж не знаю, что тут могло кого-то шокировать — обычная истерика сексуально неудовлетворенной (я по глупости тогда не обращала на это внимания) женщины, но обе дамы окончательно укрепились в своем решении съехать из пансиона. Все друзья танцора были, как и он, больше похожи на женщин, чем на мужчин. Все были невысокие, ниже меня ростом, говорили на андалузском диалекте и прекрасно умели отбивать ритм ладонями — единственное, что нам в них нравилось, потому что ни умом, ни воспитанием они не отличались. Но в заведениях, где танцуют фламенко, больше всего ценится как раз умение отбивать ритм, и именно оно доставляет посетителям наибольшее удовольствие. Моя дочь освоила это искусство очень быстро, а я так и не смогла. И все-таки это было хорошее время, хотя в глубине души я сознавала, что и пансион, и мы сами скатываемся все ниже. Но развлечения помогали мне забыть о желании, которое все еще вызывал у меня покойный муж, и о том, что я перестала быть женщиной, хотя раньше это казалось мне ужасной трагедией и я не представляла, как буду жить после этого, как буду переносить тяготы жизни, лишившись

единственного утешения. Я надеялась только на ром „Негрита“ или, если желудок выдержит, на что-нибудь покрепче. Теперь, когда все закончилось и я окончательно превратилась в бревно, я знаю, что все можно пережить. Я совсем не пью, я стала любезнейшей из хозяек, что немного утомляет и меня, и жильцов, но, возможно, принесет пользу нашему девятнадцатилетнему бутончику, которого я постараюсь уберечь от тех ошибок, от которых не уберегла дочь, потому что была занята переменами в своем организме, доводившими меня до безумия. Мир виделся мне в искаженном свете, а остатки разума рисовали пугающую картину: скоро дверь закроется, все закончится и жить дальше будет незачем. Моя бедная дочь наверняка понимала, что с ее матерью не все в порядке, но ей больше не на кого было опереться, и, когда танцор понял, что на заморское золото рассчитывать не стоит, что пансион опустел, а живот у моей девочки растет с каждым днем, он сбежал, оставив нас одних в тяжелую минуту. Но я была даже рада: я не хотела, чтобы он увел с собой дочку, к чему бедняжка наверняка была уже готова. Я напомнила ей, чем она обязана своей матери, которая жертвовала всем ради нее, и убедила, что лучше ей заняться воспитанием

нашей прелестной малышки и делами пансиона, который к тому времени изрядно обветшал и все, чем я так старательно украшала его, вышло из моды, но в котором честные люди все же могли найти кров, стол и покой. Жильцы теперь были другие, но мы с дочерью учли прошлые ошибки и старались во всем угождать им. Дочь тоже объявила себя вдовой и снова оделась в черное, что ей, кстати, очень шло, так что мужчины по-прежнему проявляли к ней интерес, только теперь ее успехи стали куда менее скандальными, куда более скрытыми и приносили гораздо больший доход, так что она имела право гордиться тем, что вносит вклад в образование и воспитание моей драгоценной внучки, которая, как я уже говорила, превосходит в женственности нас обеих, что неудивительно с таким-то отцом, и когда мы смотрим на нее — красавицу, как и мы, с такой же горделивой осанкой, как у нас, и притом такую женственную, не в пример нам, — мы льем слезы умиления и не знаем, кому из святых молиться, чтобы с этим чудом, дарованным нам, несмотря на все наши грехи, не случилось ничего дурного, чтобы нежный бутон раскрылся до конца и плод был бы великолепным, таким, какого она заслуживает».

5

О, в каком прекрасном настроении начали двое коллег свой путь к знаменитым трущобам, во владения кроликовода и мышеведа Муэкаса! Как слаженно двигались, пробираясь сквозь мадридскую толпу, молодой исследователь и его помощник — два друга, которым не было дела до обусловленных происхождением социальных различий. Им не мешала беседовать разница в уровнях культуры, их не смущали взгляды тех, кто удивлялся несходству их манер и одежды. А все потому, что у них были общий проект и общая цель (вот только интерес у каждого свой) — убедиться в том, что у Муэкаса действительно есть мыши из особого штамма, наследственные носители спонтанных раковых образований, возникающих в паховой складке и неизменно приводящих к смерти животного; хотя, прежде чем это произойдет, мышь, достигнув репродуктивного возраста, успевает произвести потомство — множество животных, наделенных, как и человек, печенью, поджелудочной железой, надпочечниками и Винсловым отверстием, что

впоследствии может стать поводом для научных размышлений, которые, возможно, приведут к выявлению причин страшного заболевания.

Было прекрасное мадридское утро, одно из тех, когда простодушное до цинизма небо пытается заставить всех забыть о том, что творится на земле. По улицам, недавно вымытым муниципальными рабочими, по сверкающему граниту, привезенному когда-то из далеких гор Сьерра-де-Гвадаррама и превращенному целой армией неутомимых каменотесов в квадратные плитки, уложенных затем сложным способом с помощью воды, песка и железного прута (позднее, когда это ремесло пришло в упадок, стали использовать жидкий цемент), текли людские потоки — люди разных профессий, плохо одетые, почти все небритые, в костюмах бледно-фиолетовых, нежно-коричневых и серо-зеленых тонов, которые кажутся в этом городе настолько блеклыми и унылыми, что это нельзя объяснить исключительно бедностью жителей, слишком редко обновляющих свой гардероб. Возможно, дело также в химическом воздействии богатого озоном воздуха и физическом воздействии слишком яркого света, который нечернокожим трудно переносить в течение долгого времени. Им следовало бы

носить одежду из хлопковой ткани, рубиново-красного, бирюзово-голубого или желтого цвета, с крупными пятнами или ярким рисунком, что подчеркнуло бы достоинства женской фигуры и сделало бы лица мужчин менее бледными. Вот о чем размышлял дон Педро. Но он не делился этими мыслями с Амадором, так как тот вряд ли смог бы участвовать в обсуждении хроматографических законов и предложил бы вместо этого выпить бодрящей жидкости в любой из многочисленных таверн, что встречались им на пути. Сознавая, что ученый не одобрит эту ненаучную идею, Амадор решил подождать более удобного момента — когда на лбу его спутника выступят капельки пота или у него начнется одышка.

Толпа, опровергая укоренившееся представление о лени и безответственности местных жителей, быстро двигалась по улице Аточа от площади Антона Мартина, неподалеку от которой находился пансион — темная берлога, куда каждый вечер забирался и откуда каждое утро выползал дон Педро. Этим утром, вытаскивая исследователя из полумрака пансиона, Амадор успел заметить, что о его начальнике тут очень заботятся: зажатая в белой руке щетка прошлась по его плечам, толстые губы на обеспокоенном

лице предупредили о том, что солнце особенно вредно на открытых пространствах и что нужно опасаться насекомых, с легкостью меняющих хозяев, а потом посоветовали, на каком трамвае лучше ехать; чей-то нежный голосок пропел модную песенку — слушая ее, исследователь мечтательно улыбался, причину чего он, как полагал Амадор, и сам пока не осознавал.

— У тебя там клетка? — спросил дон Педро, указывая на сверток под мышкой у Амадора.

— Да, — ответил Амадор, не задумываясь о бесполезности ответа, ибо какой еще продолговатый предмет такого размера и веса он мог нести под мышкой в это жаркое утро? Клетка была завернута во вчерашнюю газету, дабы скрыть от чужих глаз доказательства существования прародителей тех мышей, которые были сейчас так нужны и которые, как справедливо полагал Амадор, выжили только благодаря ему.

Женщины спускались и поднимались по склону, у подножия которого находилась площадь Глориета с ее всегдашним скоплением автобусов, трамваев, такси, ручных тележек, торговцев, регулировщиков, попрошаек и прочей публики, непонятно для чего собравшейся здесь: поезд, который вот-вот должен был подойти, их не инте-

ресовал, посещение расположенного неподалеку музея живописи в их планы явно не входило, да и санитаров, которые уложат их на носилки и доставят в монументальное здание близлежащей больницы, они совершенно точно не ждали. Ни на одну из встречных женщин дон Педро даже не посмотрел: казалось, он все еще был во власти воспоминаний о белой ручке и нежном голосе, принадлежавшем не одной, а двум особам женского пола, которых он по вине Амадора недавно покинул. Амадору же ничто не мешало смотреть на женщин. Он был уверен в своей тысячекратно подтвержденной еще в ранней юности мужской неотразимости, для которой ничто не могло послужить препятствием: ни его наряд, с точки зрения колористики еще более странный, чем одежда мужчин, заполнивших в этот час улицы, ни странный сверток под мышкой — тайна его содержимого даже усиливала интерес к владельцу, — ни явно подчиненное и даже подневольное положение по отношению к его задумчивому спутнику, ни некрасивое лицо с трехдневной щетиной. Поэтому он бросал многозначительные взгляды и отпускал комплименты каждой девушке, попадавшейся им по пути, даже если сразу было видно, что она намного образован-

нее, состоятельнее и привлекательнее его. Дон Педро не обращал никакого внимания на выходки подчиненного и, закончив бессознательно смаковать воспоминания о сокровищах, оставшихся в берлоге-пансионе, готовился к встрече с вожделенными «объектами эксперимента», размышляя о возможных последствиях вырождения штамма *MNA*, вызванных почти неизбежным неблизкородственным скрещиванием вместо близкородственного, а также условиями содержания, совсем непохожими на иллинойские, и невообразимой диетой, с помощью которой Муэкас поддерживал жизнь (если, конечно, у него действительно были живые особи) в этих замечательных животных. Состав диеты зависел от многих факторов: от доходов Муэкаса и членов его семьи, от аппетита Муэкаса и его супруги, от того, насколько добросердечны были его уже менструировавшие дочери, от того, какие растения преобладали в данной местности в каждое время года, а главное — от состава мусора, привозимого на расположенную неподалеку (всего в трех километрах от лачуги Муэкаса) свалку семейным кооперативом мусорщиков, с которым Муэкас договорился о передаче ему пищевых отходов. Порода суперживучих мышей-деге-

нератов, способных выжить даже в условиях провозглашенного Муэкасом нового курса[14] на жесткую экономию, — да таким мышам цены нет! Как все-таки пластична живая материя! Всегда преподносит сюрпризы тем, кто умеет видеть. Сколькими новыми породами скворцов мы могли бы заселить еще сохранившиеся леса архипелага! А какие невероятные возможности открылись бы, если бы одна (хотя бы одна) из половозрелых толедских девушек, ухаживая за мышами, заразилась бы пахово-подмышечным раком, несвойственным людям ее возраста и никогда не встречавшимся у человека! Это наконец-то доказало бы возможность передачи заболеваний через вирусы, тогда как раньше считали, что болезнь передается по наследству — только потому, что гаметы, зараженные *ab ovo*[15], еще до жизни, до размножения, до появления у родителей вызывающих тревогу опухолей, наделенные неограниченным латентным бессмертием, преодолевают пропасть между поколениями и привносят свое вещество со смер-

---

[14] Примечания: 14

Аллюзия на «новый курс» президента США Ф. Д. Рузвельта в 1930-е годы.

[15] Примечания: 15

Здесь: с самого начала *(лат.).*

тоносными включениями в оплодотворенную яйцеклетку.

Но пока неутомимый исследователь мог только воображать себе удивительных мышей: на улице Аточа, по которой шагали они с Амадором, не было ни одной мыши, здесь можно было увидеть лишь некрасивых мужчин и привлекательных женщин. Идти было легко — дорога шла под уклон, и это ужасно огорчало Амадора: слишком мало надежды на то, что мыслитель устанет и захочет остановиться возле какой-нибудь таверны внизу — там, где бурлит и шумит Глориета и откуда доносится пьянящий аромат жареных кальмаров, приготовленных в том же оливковом масле, в каком их жарили день, два, три, а то и пять дней назад. В результате интенсивного обжаривания вредные вещества, образующиеся поначалу при гниении кальмара, улетучиваются, и блюдо становится безопасным, а благодаря высокой калорийности кипящего оливкового масла — вкусным и питательным, превращаясь в деликатес.

По обеим сторонам улицы — магазины. Двери открыты, на витринах разложены товары. Здесь есть все, что душе угодно: от дешевого женского нижнего белья — белого, розового, фиолетово-

го, — сваленного в кучу прямо за витринным стеклом (якобы по случаю распродажи), до гвоздей с квадратными шляпками, пластмассовых стаканов, разноцветных тарелок и сувениров вроде серой фарфоровой статуэтки Дианы-охотницы, латунного Дон Кихота вместе с посеребренным Санчо Пансой, привинченных шурупами к кубу из черного стекла обтянутой кожей чернильницы, стеклянного пресс-папье, украшенного перламутровыми ракушками, портрета Авы Гарднер в рамке, обклеенной кусочками зеркала, и — наконец-то — набора из семи красных кастрюль разной величины, красиво поставленных одна на другую, от самой большой к самой маленькой. Куда менее привлекательно выглядели витрины аптек, где продавались все инсектициды мира, а также сиропы против кашля от тысячи различных лабораторий — кое-какие из них располагались, в нарушение всех норм фармацевтического производства, в одном и том же подсобном помещении. Над некоторыми аптеками, на кованых решетках балконов, были натянуты белые полотна с надписью, сделанной крупными буквами: «Фимоз, сифилис, венерические болезни. Консультация недорого». Дона Педро не раздражало то, что наука, к развитию

которой он имел отношение, использовалась для таких низких целей — простолюдинам она ни для чего другого и не нужна. Более того, он считал правильным применение науки подобным образом. А как иначе людям, шагающим по этим улицам, решать свои проблемы? Страховки у них нет (для этого нужно подтвердить свой высокий социальный статус), а гордость не позволяет обращаться в бесплатные клиники с болезнями, вызванными не бедностью, а избытком энергии и жизненной силы, распущенностью или даже деньгами. Хорошо, что есть консультации за пятнадцать песет и промывание марганцовкой в эпоху пенициллина — в конце концов, чем дольше длится лечение, тем лучше усвоят урок любители эротики, эти герои, демонстрирующие свою мужественность посредством самых низких и не самых неприятных проявлений человеческой природы.

Далекий от подобных гуманистическо-демонических размышлений, равно как и от мыслей о необходимости гигиены в интимной жизни, Амадор, переложив сверток в другую руку, продолжал спускаться на шаг позади хозяина, равнодушный к сокровищам в витринах. Он думал только о Глориете и ее тавернах. Они были всё ближе, но

шанс на остановку в одной из них был ничтожно мал. Он оправдывал свое желание тем, что если дон Педро всего лишь спустился по улице, то ему, Амадору, сначала пришлось по ней подняться, а до этого встать на рассвете, добраться от станции метро «Тетуан-де-лас-Викториас» до института этих вонючих исследований, чтобы забрать оттуда клетку, и пешком дотопать до пансиона, где обитает этот великий ученый, который, конечно, показал себя демократом и другом народа, лично отправившись в лачугу Муэкаса; он бы сделался еще большим демократом, если бы понял, как проголодался Амадор после стольких часов работы на него.

* * *

— Это и есть те самые лачуги? — спросил дон Педро, указывая на покосившиеся домишки, выбеленные известкой и имевшие каждый по два черных отверстия: из одного тянулась тонкая струйка сероватого дыма, другое было наполовину прикрыто куском мешковины. У входных дверей сидели на низких стульях старухи.

— Это? — переспросил Амадор. — Нет. Это дома.

И они молча зашагали дальше по дороге, ко-

торая теперь шла вдоль заросшего сорняками поля.

— Когда они заявились ко мне из деревни, — рассказывал Амадор, — я сразу сказал, что жилья им здесь не найти. А у него уже была жена и родились две дочки. Но он не отставал. Говорил, что его тянет в Мадрид с тех пор, как он был здесь со мной во время войны. В Мадрид многих тянет. Даже тех, кто родом из других мест. Но это не про меня. Я-то местный, родился в Мадриде, в Тетуан-де-лас-Викториас. А он прямо-таки рвался сюда. Хотя я предупреждал, что зря он это затеял, что жизнь здесь тоже не сахар, и если он не нашел работу в деревне, то и здесь не найдет, потому как профессии у него никакой нет, а начинать учиться уже поздно, все хотят молодых. Без профессии, говорил я, ему придется браться за все подряд и приличной работы у него не будет никогда, пусть даже не надеется. Я обо всем его предупредил. Но он не слушал. Хотел перебраться сюда, потому что в войну был здесь. И перебрался. Все проблемы пришлось решать мне. «Мы же с тобой как братья», «Наши матери рожали в один день», «Когда твоя мать уехала в Мадрид, моя работала у доктора, а не то они уехали бы вместе…» В общем, скоро вся семейка уже сидела на моей шее,

как говорится. Положили на пол в моей кухне матрас и спали на нем все вместе. Девчушки были худющие, на их ножки-соломинки больно было смотреть. Но я не дал себя разжалобить. Я ему все прямо сказал — что жизнь трудная, что я предупреждал: не нужно сюда ехать, что если он надеялся снять у меня угол, то зря. Как я мог сдать угол другу, если в наше время дружба ничего не стоит и рано или поздно дело кончится резней? И начну не я, а он. Потому что он — тупое и грубое животное. Именно животное. И чуть что, хватается за наваху. Чтобы избавиться от него, я пристроил его в лабораторию.

— Он работал в лаборатории?

— Нет. Я договорился, что он будет поставлять им животных. Потому что он не умел ничего. Вообще ничего. В деревне тоже ничем не занимался. К тому же он ленивый. Тот, кто не умеет работать, должен хотя бы уметь находить работу. Но он и этого не умел. Уж не знаю, как они не поумирали с голоду. Конечно, сначала он пытался как-то зарабатывать. Да и тесть за дочерью наверняка что-то дал — денежки у него, я думаю, водились. Но Муэкас все растратил, а потом завел свою песню: «Надо уезжать, надо уезжать…» В конце концов они собрались и приехали сюда. Его жену

жалко — настоящая мученица. А девочки ничего, окрепли со временем.

— Но что он делал в лаборатории?

— Я же сказал: поставлял животных. «Объекты для экспериментов», как говорил покойный дон Маноло. Шел в приют и покупал животных, которых никто не забирал. Или договаривался с приютами, чтобы животных не отдавали тем, кому нечем за них платить, сам их выкупал и на этом тоже зарабатывал несколько десятков песет. Институт всегда платил, и еще некоторые сотрудники добавляли от себя. Покойный дон Маноло денег не давал, но он научил Муэкаса ловить уличных собак. После этого Муэкас перестал тратиться на приютских животных. Больше всего он зарабатывал на стипендиатах-первогодках, которые хотели написать диссертацию за пару месяцев. Им были очень нужны собаки, и Муэкас этим пользовался. Он делал вид, что собак сейчас не найти в целом мире, и тянул время совсем как лавочник, пока стипендиаты не набавляли цену. А в лачуге плакали девочки, потому что весь хлеб — а он был для семьи деликатесом — скармливался собакам. С кошками было сложнее, но в конце концов он и их научился ловить. У него к этому делу оказался талант. В деревне

он браконьерствовал — его частенько видели с ружьем, которое он брал неизвестно где (купить его не мог). Ему нравилось ловить кошек и собак, нравилось собирать улиток в пойме Тахо, где их сколько хочешь, не то что в деревне, где даже улиток не найдешь.

— А ты почему не поставлял собак?

— Я этим занимался, пока он не появился. Но если бы я не нашел ему работу, они до сих пор жили бы у меня на кухне и спали на матрасе. Всех денег не заработаешь. У меня есть официальное жалованье, а с Муэкаса я беру комиссионные.

— Какие еще комиссионные?

— Понятно какие. За каждую проданную кошку или собаку он отстегивает мне определенную сумму. Я не задираю цену. Он благодарен мне и готов платить, потому что я в любой момент могу дать ему отставку и нанять другого. Хотя, ясное дело, так поступать не собираюсь. Во-первых, мы почти как родственники, а во-вторых, больно уж скверный у него характер. И мне совсем не нравится то, что он везде таскает с собой наваху и чуть что — хватается за нее. Так что я стараюсь с ним ладить. Неприятности начались, когда он начал делать то, чего не должен был делать. Эти, которые пишут свои диссертации и проводят

опыты на собаках, берут двух-трех, а пишут, что взяли тридцать или сорок и получили нужные результаты, хотя никто тех результатов не видел; потом забывают, что у них осталась кошка с проводками в голове или собака с резиновой трубкой в брюхе. Им уже все равно. Они загребают деньги. Плохо, что он тоже об этом забыл. И как-то продал новичку кошку с проводками в черепе. Тут все и пошло прахом. Он понимал, что мне придется свалить всю вину на него. Заместитель директора приказал, чтобы ноги его в институте не было, и для меня это тоже плохо, потому что теперь мы встречаемся и пересаживаем животных из клетки в клетку посреди улицы или в парке Ретиро, когда поблизости никого нет. Всякое может случиться, особенно если имеешь дело с кошками, от которых всего можно ожидать.

— А где он держит мышей? Они живут все вместе? Девочки играют с ними?

— Девочки уже не в том возрасте, чтобы играть с мышами. У них сейчас другие игры на уме.

— Но они могут заразиться?

— Откуда мне знать?

— А вдруг они уже заразились?

— Это вы сами проверяйте. Но по-моему, голытьбу ничем заразить нельзя. Они живут в

таком дерьме, что у них есть иммунитет ко всему.

6

Иногда после ужина Педро принимал участие в вечерних посиделках в своем пансионе, все три хозяйки которого были с ним чрезвычайно любезны. Впрочем, пансион давно стал для него домом. Это была его семья, заботливая, но подчинившая его себе. Хитроумная старушка собрала у себя целую коллекцию солидных одиноких мужчин среднего возраста, которые, покончив с десертом, тут же расходились по своим комнатам. Высокий человек с грустными глазами, который рекламировал лекарства. Лысый бухгалтер, или старший служащий, а может быть, даже один из директоров банка. Отставной военный — вдова следила за тем, чтобы в числе жильцов всегда был хотя бы один отставной военный, в память о покойном муже. Комнаты отставных военных были обставлены просто и строго, над никогда не зажигавшимся камином белого мрамора висели в качестве украшения два перекрещенных малайских криса[16], а на каминной доске стояли

[16] Примечания: 16

Крис — змеевидный короткий меч или удлиненный кинжал с двумя острыми гранями и колющей боевой частью.

два глиняных горшка, тоже привезенные покойным; в один из них был вставлен миниатюрный флаг Испании. Были еще молчаливые бездетные супруги — оба в черном, невысокие и бледные, с морщинистыми лицами и белыми руками, разглаживавшие скатерть и стряхивавшие крошки в ожидании десерта. Пара жила в худшей комнате — с окнами во двор и металлической колонной посередине. Женщина смастерила из темного бархата муфту и до половины закрыла ею железную колонну. «Так теплее», — объяснила она.

Из всех жильцов женское трио явно выделяло Педро. Он был любимцем, баловнем. Он был молод и потому оставался на особом счету у хозяек пансиона.

Первое поколение, чопорная старуха, сохранившая великолепную осанку, была энергичной и властной. Она прекрасно разбиралась в людях. Все еще могла расплыться в кокетливой улыбке. Носила бюстгальтеры, которые подчеркивали грудь, и корсет, утягивавший талию. Сильная и жесткая, она, несмотря на возраст, заправляла всем.

Второе поколение было не таким ярким: мать затмевала дочь, на которую к тому же падала тень прошлого. Вынужденная во всем подчинять-

ся властной матери, она стала похожа на кошку: такая же ласковая и загадочная. Она всю жизнь притворялась избалованной девочкой, маленькой девочкой, обманутой девочкой, девочкой, которая всегда слушается маму, — такого поведения требовала от нее деспотичная родительница. Она до сих пор не оставила попыток вырваться из-под контроля, но в этом уже не было смысла. Ее кокетство устарело лет на десять, как и одежда, которую она носила.

Третье поколение ни в чем не походило на первые два. Младшая девушка смогла перенять от матери и бабушки за девятнадцать лет совместного проживания лишь словечки и выражения. Она от природы была такой, какой всю жизнь пыталась казаться ее мать. Жизнь среди женщин сделала ее необычайно женственной. Казалось, ее переполняла, готовая в любую минуту выплеснуться наружу, удивительная субстанция — смесь нежности, разочарования и удивления. Следуя примеру матери, она двигалась, говорила и вела себя так, точно была невинной четырнадцатилетней девочкой, а не взрослой девушкой девятнадцати лет. Передвигалась по коридорам пансиона, проходила мимо сидящего мужчины так, словно не знала, что у нее есть грудь. Уда-

рившись бедром о дверной косяк, застывала в удивлении, словно раньше не подозревала, что ее тело наделено мягкой защитой. Чем объяснялось ее неведение, незнание собственного тела? Попытка найти ответ на этот вопрос стала одной из причин, по которым Педро позволил тримурти[17] этих непохожих друг на друга богинь потихоньку затянуть его в свои сети.

Как считали эти трое, Педро был послан, чтобы в корне изменить жизнь семьи: как по мановению волшебной палочки, она пойдет в другом направлении и наполнится новым смыслом. Внучка видела в нем ангела благовещения со светильником в руке, дочь радовалась за ту, которую выносила под сердцем, а престарелая мать ждала собственного триумфального преображения на вершине горы. Все трое — с разной степенью преднамеренности и цинизма — были готовы принести его в жертву.

Поэтому после ужина Педро иногда становился

[17] Примечания: 17

Тримурти — трое главных богов индуистского пантеона (Брахма-Создатель, Вишну-Хранитель и Шива-Разрушитель), понимаемые как единое целое.

участником тертулии[18], проходившей тут же, в столовой. Прислуга снимала скатерти, и холодная атмосфера третьесортного отеля сменялась не менее банальной, но более уютной атмосферой скромной гостиной, где витали воспоминания из жизни семьи.

Каждая из трех богинь всходила на свой пьедестал. В столовой имелись два кожаных кресла и обшарпанный трехместный диванчик, приобретенный вдовой на пожертвования товарищей погибшего героя. Кресла, уже продавленные, благодаря высокому качеству старых английских пружин все еще оставались удобными. В одно из них садилась главная богиня. Другое предназначалось для Педро, хотя он не раз пытался уступить его второму поколению — как даме и как второй по старшинству. Но та из уважения к бабушке и гостю садилась на обычный стул и застывала на нем в неудобной позе. Изредка, чтобы снять напряжение, она закидывала ногу на ногу, или обмахивалась веером, или позволяла себе подкрасить губы в присутствии постороннего мужчины, или даже — подумать только! — доста-

[18] Примечания: 18

Тертулия — в испаноязычных странах неформальные собрания людей с целью обсуждения каких-либо тем, например политики или философии.

вала сигарету (Педро тут же подносил зажигалку) и неумело ее выкуривала. Юная энергичная внучка плюхалась в кресло-качалку, предмет, который скоро исчезнет из обихода, потому что в современном мире двигатели внутреннего сгорания и реактивные самолеты позволяют куда более полно насладиться ощущением движения, и качалась в нем без передышки, так что любой, кто внимательно наблюдал за ней, мог видеть, как ритмично и быстро сокращаются мышцы на икрах ее длинных ног. Она откидывала голову назад, на низкую дугообразную спинку кресла, перебросив через нее волосы, гораздо более густые, чем у обеих матерей, и они ниспадали волнистым каскадом, порождая золотистые блики. Пока Педро любовался этим переливающимся золотом, которое то приближалось к его рукам, то удалялось от них, обе матери внимательно следили за ним самим. Они смотрели хозяйским взглядом и с удовлетворением отмечали проявления мужской чувственности и рождение той субстанции, которая пока означала лишь обещание, но обещала так много, что полутемная столовая казалась залитой светом, а невыветрившиеся запахи еды, которую подавали за ужином, и аромат очищенных апельсинов превраща-

лись в чудесные эссенции парижского банкета с дамами полусвета и диковинными фруктами — дарами влажных плодородных тропиков.

Они разговаривали, но произнесенные ими слова ничего не значили. Значение имели жесты, взгляды, улыбки, интонации. Девушка была так хороша, что иногда восхищенный Педро умолкал на середине фразы, не извинившись. Для обеих матерей это было сигналом к тому, что их гость решил полюбоваться профилем, или алебастровой белизной шеи, или вытянутой в воздухе ногой, с которой только что свалилась домашняя туфля; заметить, что юбка девушки поднялась чуть выше обычного и обнажился небольшой участок гладкого бедра, еще не изуродованного жиром.

Если кому-нибудь из жильцов доводилось в это время войти в столовую, чтобы забрать оставленную там вещь (зажигалку, письмо, розовую ленту), или если возвращалась толстая служанка, чтобы положить в шкаф столовый прибор, который она по ошибке унесла на кухню, все три богини обиженно вздрагивали, главная устремляла на незваного гостя гневный взгляд, юная красавица переставала качаться в кресле, а второе поколение прятало сигарету и меняло позу.

И даже счастливчик Педро, единственный, кого эти вульгарные, потрепанные жизнью женщины считали достойным того, чтобы выставить перед ним напоказ самое сокровенное, испытывал неловкость, начинал ерзать на стуле и раскрывал газету, словно действительно собирался ее читать. Так продолжалось до тех пор, пока нарушитель спокойствия не исчезал.

— Вы совсем еще ребенок, — сказала старуха, — вам не пришлось побывать ни на одной войне. Но не думайте, что это очень хорошо. Мне даже немного вас жаль. Мужчины становятся мужчинами на войне. Я прекрасно знаю. Помню, как это было с ее дедушкой. — Она кивнула на внучку.

— К сожалению, — улыбнулся в ответ Педро, — я пацифист. Единственные сражения, которые меня интересуют, — это сражения вирусов с антителами.

Непонятные слова произвели большое впечатление на женщин. Все три радостно заулыбались, увидев в них еще одно веское доказательство того, что их молодой человек принадлежит к разряду высших существ, о чем они давно догадывались и в чем сейчас, слушая его глубокомысленные рассуждения о науке, которую они не понимали, но которой тем не менее восхищались, оконча-

тельно убедились.

— Чарльстон и уанстеп уже не танцуют, — сказало второе поколение. — Вы — нынешняя молодежь — предпочитаете медленные танцы. По крайней мере, мне так говорили.

— Признаться, сеньора, я ужасно неуклюж и вечно наступаю на ноги бедняжкам, которым приходится со мной танцевать. Поэтому я почти никогда не танцую. Только на свадьбах.

При этих словах младшая — как и положено девятнадцатилетней девушке — покраснела.

— Поверить не могу, что вы танцевали только на свадьбах. Наверняка ходили с друзьями в какое-нибудь кабаре или на танцевальные вечера. Раньше молодые люди любили посещать такие места. Во время африканской войны они были благотворительными, на них председательствовали инфанты. Я тоже побывала на нескольких: собирала деньги. Видела пары, которые прекрасно танцевали чарльстон. Конечно, время было другое…

— Не прикидывайся старухой, Дора! — возмутилась старшая мать. — Если ты старая, то что обо мне говорить? Тебе нравится меня унижать? Вы не поверите, но нас с ней принимали за сестер.

Педро ужаснул тот факт, что Дора ходила на

танцевальные вечера, устраиваемые инфантами, как и то, что ее сопровождала мать, называя себя ее сестрой. Он понимал, что ему лгут, и не знал, какие притоны Дора на самом деле посещала вместе с матерью во времена своего первого позора, а потому воображал самое плохое, но это не вызывало у него ни насмешки, ни презрения. Он относился к этим вечерним разговорам как к своего рода произведениям искусства, в которых заключена некая важная истина (истина, имеющая отношение скорее к пылким желаниям, чем к обманчиво мерцающим фактам), подыгрывал женщинам и придумывал собственные истории в том же духе.

— Моя мать рассказывала о таких вечеринках в пользу Красного Креста. Возможно, вы с ней встречались. — И тут же, поняв свою оплошность, Педро добавил: — Она, разумеется, не танцевала, а сидела вместе с другими дамами и восхищалась тем, как танцуете вы.

Услышав это, Дора гордо выпрямилась и снова закинула ногу на ногу. Ноги были ее гордостью, и на неудобный стул она садилась не из скромности, а из нарциссизма: стул был высоким и она могла сколько угодно (за последние двенадцать лет ей нечасто выпадала такая возможность) лю-

боваться своими ногами. Памятуя об истинной цели разговора, она продолжила:

— Я танцую неважно, у меня спина негибкая. Кто у нас хорошо танцует, так это моя дочь. Вам бы сводить ее как-нибудь в клуб.

Она тут же пожалела о своих словах, обнаживших суть и тщательно скрываемую цель этих вечерних разговоров.

— И ты допустишь, чтобы девочка ее возраста посещала такие места? — вмешалась старуха.

— Я предложила это, потому что дон Педро слишком серьезен. Хотя, конечно, с такой малышкой ему может быть скучно.

— Вовсе нет, сеньора. Жаль только, что я не умею танцевать. Но если вы согласитесь дать мне несколько уроков, я научусь и почту за честь пригласить вас и вашу дочь туда, куда вы захотите.

— Только этого не хватало! Вы, дон Педро, слишком благородный человек, — опять воспротивилась старуха, которую больно задело сказанное: ей была неприятна мысль, что дочь и внучка станут веселиться без нее, хотя она понимала, как смешно будет выглядеть компания, если она к ней присоединится.

Девушка следила за нитью разговора, то краснея, то убыстряя движения кресла-качалки, то

останавливая его, то издавая смешок, то, в который уже раз, демонстрируя свой совершенный профиль.

Время идет, и обстановка в столовой становится все более интимной: скрипнула и закрылась кухонная дверь, щелкнул выключатель в коридоре, стих радиоприемник за стеной, и в доме воцарилась тишина. Четверо участников драмы тоже надолго замолкают. В этой тишине тайные намерения трех женщин, которые, как три парки, что-то бормоча, прядут нить его судьбы, становятся для Педро еще более очевидными. Когда после паузы кресло-качалка вновь начинает раскачиваться, Педро слышит голос первого поколения: «Вперед!» — и второго поколения: «Что касается меня…» — и третьего поколения: «Ты мне нравишься».

Сердце тревожно сжимается, но устоять перед искушением с каждым разом все труднее.

7

Вот они, трущобы! Взобравшись на пригорок, в который упиралась — и здесь же заканчивалась — разбитая дорога, подобно Моисею, некогда поднявшемуся на куда более высокую гору, Амадор, растянув в улыбке толстые губы, простер руку в направлении небольшой долины, зажатой между двумя величественными горами (одна — свалка строительного мусора и всякого городского хлама, другая — свалка, из которой аборигены уже извлекли все сколько-нибудь ценное, что можно было использовать или съесть), где лепились друг к другу горделивые цитадели нищеты. Долина была заполнена фантастическими сооружениями, материалом для которых послужили деревянные ящики для апельсинов и банки со сгущенкой, металлические листы, бывшие когда-то бочками для бензина или дегтя, неровно обрезанные асбестовые плиты, обломки черепицы, кривые сучья неизвестно каких деревьев из далеких лесов, куски одеял — бывшее имущество оккупационных войск, гранитные валуны, валявшиеся здесь со времен четвертич-

ного оледенения, кирпичи, которые по одному воровали на стройках, самодельные кирпичи из соломы и глины, плетеные кругляши, некогда бывшие шляпами, спинки кроватей в стиле ампир, золоченые украшения которых давным-давно были проданы на блошиных рынках, куски барьера арены для боя быков, окрашенные в цвет ржавчины или крови, желтые жестяные банки с черными надписями — из-под сыра, который присылали американцы, человеческая кожа, пот и застывшие слезы[19].

На окнах этих невероятных дворцов висели шторы, с потолков свисали, позванивая от легкого ветерка, люстры богемского стекла, в крохотных патио сушильные веревки прогибались от дорогой одежды, за «дверями» из армейских одеял прятались новенькие холодильники цвета слоновой кости, звук шагов заглушали толстые ворсистые ковры. Этому Педро не удивился: он знал о противоречивости человеческой натуры и о том, как глупо люди — даже те, кому следовало бы соблюдать режим строжайшей экономии, — порой распоряжаются своими средствами. Он не удивился бы, если бы обнаружил в ванной виз-

[19] Примечания: 19

Аллюзия на известную фразу из речи У. Черчилля от 13 мая 1940 года: «Я вам предлагаю только кровь, труд, слезы и пот».

жащих свиней, питающихся отвратительными объедками, или увидел юную деву, которая даже в проститутки не годится, в наколке горничной из хорошего дома, а ее мать — в красном шелковом халате, дорогих восточных пантуфлях и с обручальным кольцом (на которое у нее нет никаких прав) на толстом белом пальце. Многие здешние жительницы, вместо того чтобы заниматься полезным рукоделием, азартно играют в брискy[20], усевшись на жестяные бочки. И совесть их при этом так же спокойна, как совесть честных тружеников, собравшихся в таверне по случаю воскресенья. Альбомы с наклейками «Нестле» в золотушных руках; потерявшие стыд семейные пары, которые делят широкую супружескую кровать с уже подросшими детьми и у них на глазах занимаются любовью; множество образов святых, вынужденных с улыбкой выслушивать литании сочного мужского сквернословия; супница лиможского фарфора, такая же пузатая, как ночной горшок под кроватью.

Но как же прекрасен, несмотря на эти легко устранимые недостатки, весь ансамбль! Поистине волнующее зрелище! Сколько изобрета-

---

[20] Примечания: 20

Бриска — популярная в Испании карточная игра.

тельности проявили иберийцы при обустройстве этого места! Какой полет творческой мысли! Сколько новых идей! Как наглядно строители продемонстрировали духовные ценности нашего народа, создав из ничего, из мусора гармоничный и полный жизни город! Какой гордостью должны наполняться сердца соотечественников при взгляде на эту разрастающуюся, сверкающую всеми красками кипучую жизнь, которая не только ни в чем не уступает, но и во многом превосходит совершенные — в сущности, довольно однообразные и лишенные фантазии — творения более разумных созданий: муравьев, трудолюбивых пчел, американских бобров! Как не восхититься смелостью цивилизации, умеющей проявить творческую силу и на Месете[21], при полном отсутствии средств, и в изобильнейших заокеанских сельвах! Но если все, что другие — явно превосходящие нас — народы создали благодаря организованности, трудолюбию и (скажем честно) скуке, обуревающей жителей процветающих стран, то представшее нашим глазам скопище живописных лачуг — это источник вдохновения для художника и вместе с тем объект исследо-

[21] Примечания: 21

Месета — плато в Испании и Португалии, занимающее большую часть Пиренейского полуострова.

вания для социолога. Зачем ехать на далекий остров Тасмания, чтобы изучать там человеческие обычаи, если люди, с которыми мы говорим на одном языке, решают вечные проблемы куда более оригинально? Разве табу на инцест не нарушается здесь так же дерзко, как на любом из райских островов?

Разве здешние первичные институты не настолько же удивительны и сложны, как у народов, до сих пор живущих при родоплеменном строе? Разве такое изобретение, как бумеранг, не бледнеет, более того, не выглядит смехотворным на фоне множества гениальных ухищрений — на их описание мы сейчас не будем тратить время, — благодаря которым здешние обитатели выживают и растят потомство? Разве не доказано, что в январе температура внутри эскимосского иглу на несколько градусов выше, чем в лачуге вблизи Мадрида? Разве не известно, что средний возраст потери девственности в этих трущобах ниже, чем в племенах Центральной Африки с их сложными и причудливыми обрядами инициации? Разве стеатопигия[22] готтентотов не уравновешивается прогрессирующей липодис-

[22] Примечания: 22

Стеатопигия — повышенное отложение подкожного жирового слоя на ягодицах.

трофией[23] наших средиземноморских женщин? Разве вера в высшие силы не сочетается здесь с более позитивным благоговейным страхом перед столь же всемогущими силами закона и порядка? Разве люди не везде одинаковы? Одинаковы, сеньор! Везде одинаковы: их инстинкты всегда развиты меньше, чем у самых примитивных животных, а сами они лучше, чем выглядят в описаниях философов, изучающих разные цивилизации.

Амадор, все с той же улыбкой на толстых губах, смотрел на дона Педро, погруженного в созерцание лачуг, в одной из которых мыши с раковым штаммом выживали и размножались, несмотря на изобретенную Муэкасом диету без витаминов и минералов. По-новому взглянув на эти маленькие комочки жизни — объекты его исследований, Педро впервые подумал о том, что, возможно, он искал свое призвание не в том месте; что не только рак может уродовать лица и превращать их в раздутые звериные морды чудищ, которые являются нам в ночных кошмарах и которых, как мы наивно полагаем, не существует.

---

[23] Примечания: 23

Липодистрофия — полная или частичная потеря подкожного жира.

8

«Она что думала? Что я стерплю и приму этого ребенка? „Он твой! Он твой!“ — будто я не знаю, что она спала с другими. Даже если и мой, что с того? У нее и другие были. Я знал, что были. А она все: „Он твой, твой“. Уверена в этом с тех пор, как я пырнул ножом красавчика Гуапо. Этот Гуапо был тот еще отморозок. Все его боялись. Я тоже, когда был без ножа. Он знал, что она со мной. А тут на моих глазах начал ее лапать. Она, сучка, делает испуганное лицо и смотрит на меня. Знала же, что при мне нет пера. Сучка, так ее! А потом: „Он твой, он твой“. Знаю, что мой. Только мне на это начхать. Она думает, что я стерплю и приму ребенка. Осторожней надо было быть, сучка. Нечего было с другими связываться. Говорит: „Нет, нет, я только с тобой!“ А сама залетела еще до того, как у нас с ней началось. Я тогда сказал себе: „Смотри, Картучо[24], этот пирожок может быть уже с начинкой“. Ей я ничего не стал говорить, я тогда еще не хотел ее бросать. Но про начинку

[24] Примечания: 24

Патрон *(исп.)* — прозвище указывает на взрывной характер персонажа.

знал. А она: „Нет, нет“. Я решил, что стерплю. А тут Гуапо лапает ее на моих глазах, а она и рада — хочет, чтобы я ревновал. Дура. Я сходил домой за навахой. Возвращаюсь, смотрю — она уже от него отодвинулась. Только при мне давала ему себя лапать. Чтоб я ревновал. Дура. Все боялись на него смотреть — или ножей при себе не было, или не умели их в ход пускать. А я, когда с навахой, сильнее всех. Он говорит при мне: „Эта так и норовит под меня лечь“. Я не люблю, когда нарываются, но смолчал. А он видит, что я молчу, и давай еще: „Налейте и Картучо тоже!“ Ненавижу, когда кто попало зовет меня Картучо. Только друзья могут так меня звать. Но — молчок. Я стерпел, а она смотрит на меня, будто я ссыкло последнее. И он: „Не хочет? Тогда воды ему“. Приносит стакан воды из сифона и сует мне под нос. Я пью. И гляжу на него. Он смеется: „Чего ты мне зенки сверлишь?“ Цедит сквозь зубы: „Слабак! Яиц совсем нет“. А эта сучка смеет смотреть на меня как на ссыкло, после того как я ее трахал. Шлюха чертова! У нее уже живот видно, и она начинает все больше меня доставать. А Гуапо смеется — нравится ему нарываться! И остальные на меня смотрят. Там был ее брат, и он не мешал ее лапать. Когда я за ножом пошел, она отошла

в сторонку. Тут любому станет ясно, что у нее раньше кто-то был. Да черт с ней, они все такие. Расстраиваться из-за того, что девка с кем-то потрахалась! Главное — наваха теперь была при мне. Я ждал, пока он подойдет поближе. Держал перо наготове. Он шел так, будто весь мир ему принадлежал. Больше всего я хотел отомстить ему за „Картучо“. Я ударил сзади. Он рухнул в грязь. Как же он ругался! Богоматерь Сарагосскую припомнил, и Богоматерь Аликантскую, и Того, Кто един в трех лицах. Валялся в крови и в грязи. А я повернулся и ушел. Вымыл нож и спрятал под матрас. Тут полиция. Давай допрашивать. „Признавайся, Картучо!“ Но я от всего отрекался. „Мы нашли твой нож“. — „Докажите, что мой“. — „На нем твои отпечатки“. Но я-то знал, что отпечатков нет. И других доказательств нет. Так что я легко отделался. Посидел чуток за хранение. И нет больше красавчика Гуапо. Вот тогда она это и придумала. Когда я вышел, бросилась мне на шею — а пузо уже торчком. Я ей: „Пошла к черту“. А она: „Это твой“. А я: „Убирайся“. А она: „Это твой“. — „Ты спала с другими“. — „Нет“. — „Ты до меня еще залетела“. — „А кровь на простыне?“ — „Ты залетела до меня“. — „А кровь?“ Пока я сидел в тюрьме, я ее терпел. Она

денег приносила. И где только брала! Ну и что я должен был ей сказать? Сказал, что да, убил из-за нее. Но когда я вышел, она захотела большего. А я не хотел, потому что положил глаз на старшую дочку Муэкаса. Эта точно была что надо. А сучка: „Он твой“. Даже братца своего ко мне подсылала. Того, что не пикнул, когда Гуапо ее лапал. „Слушай, ты, вспомни красавчика“. — „Моя сестра — честная девушка. Ты ей сердце разбил“. — „Да она с другими спала“. — „Ты ей сердце разбил“. — „Вспомни красавчика“. А она с каждым днем все хуже. Как будто это могло помочь. Стала на улице на меня кричать. Потащила к судье за нарушение обещания. Я: „Нет доказательств“. Судья: „Вас видели вместе“. — „Она и с другими спала. Нет доказательств“. Судье надоело. Мне — еще больше. А живот растет. Она ко мне липнет. „Оставь меня в покое, сучка, или это плохо кончится“. Как-то вечером, вместо того чтобы кричать, бросается в темноте мне на шею: „Полюби меня, возьми меня“. И плачет. Ну я и дал слабину. Несмотря на живот. После этого сучка решила, что своего добилась. На следующий день снова. Только я ее уже не хотел. И опять она за мной по пятам, и утром, и днем. Я не выдержал, двинул ей кулаком, расплющил нос. От этого она мне стала

еще противнее. Врезал неслабо, но больше сил не было терпеть. Опять суд. Судья все понимал, но доказательств не было. Еще шесть месяцев ареста. Не так уж и много. Она тем временем родила. А мне какое дело? Я уже сказал Флорите, старшей дочке Муэкаса, что она мне нравится. Когда я вышел, сучка даже в мою сторону не глядела. Но как дети иногда похожи на отцов! Вылитый я. Но доказательств нет. Сейчас она оставляет ребенка этой уродине, своей старшей сестре, а сама — на улицу, клиентов искать. Со сломанным-то носом. Если бы я захотел, мог бы неплохо на ней заработать. Но мне нравится быть честным с женщинами. Даже если ради меня они готовы на все. На то они и женщины. Я думаю о грудях Флориты, которые она позволяет мне ласкать. Если ее отец нас застукает… Какой у Муэкаса характер, всем известно. Он тоже знает, за какое место держат наваху. Эти, из Ла-Манчи, они все бешеные. А она еще и несовершеннолетняя. Мне проблемы не нужны. Надо с этим завязывать. Но меня тянет к этой девчонке. Она не такая, как та. Боится меня. А я боюсь, что кто-нибудь нас увидит. Обжимаюсь с ней иногда, а дальше что? Если Муэкас узнает… Мне проблемы не нужны. Но я ее не брошу. Я не пью. Чашка кофе — и хватит. Играю в карты

и домино. Выигрываю по мелочи. Непыльное занятие. А потом на танцульки. Мне нравится танцевать. Иногда подцепляю там кого-нибудь. Но Флорита не идет у меня из головы. Я только о ней и думаю. И пусть только кто попробует к ней близко подойти! Будет как с Гуапо. Прирежу на месте».

9

Налюбовавшись издали видом запретного города, Амадор и дон Педро спустились с холма и с большим трудом, преодолевая многочисленные препятствия, осторожно прокладывая дорогу среди лающих собак, голых детей, навозных куч и жестяных бочек с дождевой водой, добрались наконец до главного входа в резиденцию Муэкаса. Достойнейший хозяин сидел спиной к ним, на полу, разбирая кучку каких-то непонятных и, по всей видимости, ценных предметов — трофеев со свалки, доступ к которой он приобрел согласно договору, заключенному несколько месяцев назад. После громкого покашливания Амадора он довольно грациозно вскочил, обернулся, и его лицо, изборожденное морщинами (следствие прожитых лет и тяжкого труда) и постоянно дергавшееся (следствие нервного тика, из-за которого он и получил свое прозвище)[25], вытянулось от удивления.

— Дон Педро! Рад, очень рад! Почему вы меня не предупредили? А ты почему меня не предупре-

[25] Примечания: 25
Muecas — гримасы *(исп.).*

дил? — Этот вопрос был уже адресован Амадору, его другу и почти родственнику. — Проходите, проходите, располагайтесь!

Ну чем не почтенный буржуа, рассыпающийся в любезностях перед почтенными господами, приглашающий их пройти в тихий полутемный зал, где обтянутые шелком кресла готовы принять вес гостей, таких же уважаемых и стоящих на той же ступени иерархической лестницы, что и хозяева, и создать для них комфорт на время беседы, сколько бы она ни длилась и какой бы скучной ни была? Муэкас усадил дона Педро на кровать, сделанную из ящиков и за неимением простыней застеленную грязно-коричневым одеялом. Потом, придав почтительное выражение лицу и добавив меда в свой грубый от природы голос, с некоторым усилием произнес:

— Сейчас вы выпьете лимонада.

После чего, уже обычным голосом, грубо крикнул:

— Флора! Флорита! Живо неси лимонад! Здесь сеньор доктор!

В той части лачуги, которая не была видна от входа — ее скрывала занавеска из застиранной красноватой ткани, — что-то ответили, коротко и неразборчиво. Несмотря на протесты дона

Педро и издевательский смех Амадора, Муэкас, решивший ускорить ход событий, просунул свою всклокоченную голову за занавеску и, понизив голос, так что ничего нельзя было расслышать, отдал какие-то распоряжения. Потом вернулся к гостям. Общаясь, он то и дело менял выражение лица, безуспешно пытаясь скрыть подергивания, тембр голоса и даже положение тела — время от времени подавался вперед, одновременно округляя спину.

Амадор сидел на перевернутой вверх дном ржавой кастрюле с большой дырой — одном из трофеев, добытых Муэкасом на свалке. Его широкая спина закрывала дверной проем, отчего лачуга казалась еще более темной.

— Эй, Амадор, подвинься! — велел ему хозяин. — Ты сеньору доктору свет загораживаешь.

Из-за занавески вышла дочь Муэкаса, вынужденная играть роль гостеприимной хозяйки. На ее круглом лице сияла глупейшая улыбка, открывавшая широкую красную десну над мелкими белыми зубами. Она несла стакан с водой, в которую, судя по плавающей в ней лимонной косточке, похожей на маленький дирижабль, только что выжала лимон.

— Дай ему, Флорита. Пусть сеньор доктор осве-

жится.

— Возьмите, сеньор доктор, — робко произнесла Флорита, покраснев, но не отведя взгляда, встретившись глазами с Педро, тоже смутившимся.

Ему очень хотелось посмотреть, как устроена лачуга внутри, но он не решался, боясь оскорбить владельца этих убогих сокровищ. В то же время он понимал, что, как гость, обязан сделать комплимент хозяину дома, похвалить его хоть за что-нибудь.

— Вкусный лимонад, — наконец нашел он, что сказать.

— Эти лимоны мне из деревни присылают, — соврал Муэкас тоном землевладельца, которому шлют дары управляющие его далеких имений. — Прекрасные лимоны.

— Хотите еще? — спросила Флорита.

Дон Педро решительно отказался.

— Мне принеси, — нагло потребовал Амадор.

— Обойдешься, — огрызнулась девушка, и стало понятно, что в ней, как и в ее отце, уживается несколько личностей и она выбирает то одну, то другую, в зависимости от ранга собеседника.

— Дай ему! — рявкнул отец, помнивший, что благоденствие почтенного семейства во мно-

гом зависит от экономических связей с одним из сотрудников института, который к тому же оказывал ему кое-какие услуги; с которым они были вместе во время войны и вообще почти что родственники. — И не груби дяде Амадору! — добавил он, выразив словом «дядя» свое уважение.

В этот момент дневной свет снова заслонило чье-то тело, и в лачугу вошла толстая, почти круглая женщина в черной одежде из той ткани, что постепенно становится в одних местах коричневой, а в других зеленоватой — такой цвет бывает у крыльев жуков-скакунов и у старых ряс.

— Сеньор доктор, это моя супруга, — представил ее Муэкас. — Вы уж извините, она у нас совсем простая, манерам не обучена, — а затем обратился к жене: — Рикарда, это сеньор доктор. Он почтил нас своим визитом.

— Многих лет, — поприветствовала она гостя.

Правой рукой жена Муэкаса придерживала задранный подол верхней из своих многочисленных юбок, заполненный какой-то жуткой смесью. Амадор решил, что это корм для мышей, и перешел к делу.

— Мы пришли поговорить, — начал он. — И дон Педро не может тратить время на ерунду.

— Слушаю вас, сеньор доктор.

— Сеньор доктор хочет понять, сажать тебя в тюрьму или пока нет.

— Ты о чем? — встревожился Муэкас.

Не менее встревоженный дон Педро отрицательно мотал головой и отчаянно размахивал руками.

— Ничего подобного! Наоборот, я хотел поблагодарить вас, если вы о них хорошо заботились и если они у вас размножались.

— А-а, мыши! — облегченно вздохнул Муэкас, немного успокоившись.

— Ах мышки! — расхохоталась Флоресита, забыв о своей роли застенчивой скромницы. — Размножаются эти негодницы, еще как размножаются! С ними столько хлопот! И кусаются еще! Вот, глядите!

Она расстегнула пару верхних пуговиц, и все присутствующие увидели в ложбинке груди два или три красных пятнышка, которые вполне могли быть следами укуса возбужденной мыши.

— Это все из-за холода, — сделав сокрушенное лицо, пояснил многомудрый Муэкас. — В Америке их наверняка в инкубаторах держат, не то что здесь.

Амадор, глядя на него, с трудом сдерживал смех, но Муэкас, не обращая внимания на реакцию

бывшего товарища по оружию, продолжил:

— Всем известно, что тепло — это жизнь. Как в сегидильях[26] про царя Давида. Его согревали две девственницы, а не то он умер бы. Или взять, к примеру, пруды и болота. Как только солнце прогреет воду у берега, там зарождается жизнь — всякие жучки-паучки. Или посмотрите на стариков, которые зимой прижимаются спиной к стене. Что с ними было бы, если бы солнце не нагревало эти стены, а? Ни одного старика не осталось бы. Вот так и мыши. Какое размножение, если они от холода шевелиться не могли? И у них раздувались эти, извиняюсь… яички. А потом они умирали, и вы голову ломали почему. А все из-за холода.

С изумлением слушая Муэкаса, Педро ждал, какие профилактические меры тот предложит. Что, по его мнению, поможет не только сохранить жизнь мышам, но и побудить их размножаться?

— Может, хватит, отец? Он у нас как заведется, так его не остановить. Ему бы проповедником быть или зубодером. А еще говорят, что он грубый и неотесанный! Это нрав у него грубый, а с мозгами все в порядке.

---

[26] Примечания: 26

Сегидилья — испанский народный танец, а также музыкальное произведение или песня, которая его сопровождает.

— Молчи, дурочка! — стыдливо запротестовал Муэкас. — Так вот, если мышам дать естественное тепло, они будут размножаться. Я понимаю, зачем вы ко мне пришли. Здесь у меня дети детей. Я не говорю «внуки» — животные такого родства не признают. И дети детей детей тоже есть.

— Правнуки, значит, — засмеялся Амадор, а с ним и Флорита, переставшая краснеть с той минуты, как показала ложбинку со следами укусов, возводившими ее в ранг мучеников науки.

— Это отец все придумал. А мы с сестрой теперь надрываемся с этими мышами.

— Цыц! Молчи, когда тебя не спрашивают! Посмотри на свою мать: сидит тихо и ни во что не вмешивается.

И действительно, округлая супруга Муэкаса, чье лицо, в отличие от лица ее мужа, было абсолютно гладким и неподвижным, слушала этот разговор, как слушают симфонию, наслаждаясь звуками слов, значения которых не понимала. Чтобы никому не мешать, она уселась на полу, и ее круглые белые ноги без лодыжек выглядывали из-под многочисленных юбок, а на коленях по-прежнему лежал корм для чудо-мышей.

— Позвольте спросить: как вы обеспечиваете мышам естественное тепло? — задал дон Педро

главный вопрос.

— Спросить можете, да только я вам не скажу. Из уважения.

— Он мне потом все расскажет, — вмешался Амадор. — А сейчас пойдемте смотреть на этих правнуков и выяснять, бастарды они или нет. Бастарды нам не нужны. Это должны быть брат с сестрой или в крайнем случае дочь с отцом.

— Так и есть, — заверил Муэкас.

Но на этом все закончилось. Муэкас не стал показывать, где держит животных. Он пообещал принести мышей, куда скажут и когда скажут, но не позволил проникнуть вглубь своего логова. Педро не спешил уходить. Его разбирало любопытство. Он должен был докопаться до сути, понять, как устроено это предприятие по производству мышей и одновременно людей, в условиях — это тоже касалось и людей, и мышей, — мало напоминающих те, которые принято считать приемлемыми. Запахи, доносившиеся из-за красной занавески, кроткая немая громада-жена у ног Муэкаса, укусы на груди девушки, вполне разумные рассуждения хозяина дома — все это было для Педро единым целым, вызывавшим жгучий интерес и желание познакомиться поближе; и в этом желании было столько же холодного любо-

пытства, сколько искреннего интереса. А главное — ему было совершенно необходимо заполучить мышей для опытов.

10

Мышиный питомник находился в маленькой комнате, в глубине лачуги Муэкаса. Каждая мышь сидела в отдельной птичьей клетке из ржавой проволоки. Клетки Муэкас нашел на свалке, в куче металлолома. Вместе с младшей дочерью, у которой были золотые руки, он привел их в порядок и развесил по стенам комнаты. Жена Муэкаса приносила в подвернутой юбке корм и наполняла им белые фаянсовые кормушки, стоявшие в каждой клетке. Стены комнаты были сколочены из досок, кое-где вздувшихся от сырости, но в целом гладких. Щели между досками заделали старыми тряпками, чтобы в помещение не проникала влага. Клетки были развешены в шахматном порядке, с равномерным распределением зазоров, света и тени — как картины в галерее, если их слишком много. На полу лежал большой квадратный матрас. Ночью на одной его половине располагались тела Муэкаса и его жены, а на другой — более стройные тела их юных дочерей. Был еще маленький гостевой матрас, на котором обычно спал двоюродный

брат. Сейчас он служил в армии, но Муэкас и его семья все равно спали на большом матрасе. Потому что четыре тела повышали температуру в комнате, и они меньше мерзли, да и для мышей, по теории Муэкаса, так было лучше. Потому что привыкли. Потому что Муэкасу нравилось, когда он во сне задевал ногу какой-нибудь из дочерей. Потому что так он мог их контролировать и быть уверенным, что они никуда не отлучались в ночные часы, самые опасные для девушек. Потому что так требовалось меньше простыней и одеял. Потому что запах тел, когда к нему привыкаешь, перестает быть неприятным и даже становится необходимым. Потому что Муэкас чувствовал себя библейским патриархом (хотя и не знал этого слова), которому принадлежали все эти женщины. Потому что супруга Муэкаса боялась мужа и не могла переносить вспышки его гнева без присутствия (пусть и молчаливого) дочерей. Потому что мышей перед спариванием нужно возбудить. Потому что Муэкас брал три пластиковых пакетика, сажал туда мышей и вешал на шею каждой из трех своих женщин, так чтобы пакет оказался между грудями. Потому что верил — человеческое тепло приведет мышей в нужное состояние в три раза быстрее, тем более тепло

самки. Потому что процесс созревания слизистой оболочки влагалища у самок мышей будет прерываться, если женщины будут спать в другой комнате, где щели заделаны не так герметично и через них в помещение может проникнуть холодный ночной воздух. Когда у мышей начиналась течка, Муэкас осторожно извлекал одну из пакета, в котором она провела несколько ночей, и помещал в особую клетку, куда затем сажали самца, всегда готового к совокуплению и еще больше распалявшегося от запаха течки. Клетка была обита мешковиной, ватой и другими материалами, пригодными для сооружения гнезда. Но когда самка беременела, Муэкас все это убирал: мышиная роскошь стоила денег и означала увеличение расходов, чего Муэкас допустить не мог, так что беременным мышам для обустройства висячих дворцов приходилось довольствоваться пучком соломы. Мышата заявляли о своем появлении на свет нежнейшим музыкальным писком, похожим на соловьиные трели, а их матери, в отличие от женщин, могли рожать без крика, в благоговейном молчании перед таинством природы. Если роды случались ночью, то утро семейства Муэкаса наполнялось писком мышат и звонким смехом девочек. Сидя

на матрасе в застиранных белых ночных рубашках без рукавов, они кричали отцу:

— Она родила! Та, наверху, она родила!

— Моя родила, которая меня укусила!

— Отец, я же говорила, что эта мышь обманщица. У нее внутри один только воздух. И еще она все время ест, а бедному Маноло ничего не достается, и он совсем загрустил.

Если накануне Муэкас пил слишком много, он не обращал внимания на эти крики, бормотал что-то в ответ и с головой накрывался одеялом, а его округлая супруга их вообще не слышала: она спозаранку отправлялась на свалку.

Весело проходили дни в этом доме! Разве что легкое облачко набежит на небо, почти всегда розовое. Джентльмен-фермер Муэкастоун по утрам посещает свой конный завод, где его кобылы редчайшей породы, выведенной путем сложнейшего инбридинга, приносят бесценное чистокровное потомство. Он отдает короткие приказания, которые хорошо обученный персонал понимает с полуслова и выполняет *ipso facto*[27]. В руке у него стакан. Он щелкает языком, когда бренди согревает нёбо. Бьет хлыстом по

[27] Примечания: 27

В силу самого факта *(лат.)*. Здесь в смысле: как само собой разумеющееся.

высоким кожаным сапогам. Потом беседует с людьми, пользующимися влиянием в тех местах, где раскинулось его обширное поместье.

Пастор, отправляющийся исцелять души, рассказывает о настроениях в своей деревне:

— Сдается мне, мы с этим выселением еще нахлебаемся.

Знахарь Петрикильо, презирающий невежественных женщин, которые берутся делать аборты, убеждает:

— Это зелье, что девушки пьют, чтобы у них был выкидыш, им не поможет. Они получат только расстройство желудка и испортят цвет лица. А потом станут хлоротическими и чахоточными, и дело кончится дезинсекцией[28]. Только хирургия. Все остальное — потеря времени.

Спекулянт из трущоб, обогатившийся за счет продажи продуктов, сетует, что настали плохие времена, что дефицит сахара на рынке породил дурную привычку пить кофе с молоком в любое время суток и что есть уже такие, кому сладкий картофель больше не нравится, подавай им обычную картошку — подумать только! — будто мы живем в богатой стране! Они прекрасно

---

[28] Примечания: 28

В данном случае персонаж путает дезинсекцию и диссекцию, то есть рассечение.

бы обошлись сахарином, а сладкий картофель, он не только питательный, он еще и помогает экономить сахар, но они уже сами не знают, чего хотят. Известный в трущобах архитектор-прораб-подрядчик, пребывая в блаженном неведении относительно предварительного планирования и муниципальных норм, строит, повинуясь исключительно своему художественному чутью и исходя из того, какие материалы имеются в наличии.

— Я бы им такое отгрохал, с камином и всеми делами, но они говорят «нет», потому что, видите ли, после дождя здесь будет лужа. А при чем тут лужа, если я сделаю им черепичный желоб, чтобы вода по нему утекала? Так нет, не хотят они, видите ли, луж в своем доме. У нас тут и дождей-то не бывает. Каких-нибудь три дождика в год. Скряги! Для чего им деньги копить, если они все равно живут как свиньи? Нищета, одно слово!

Муэкас разделяет его озабоченность.

— А давайте оставим вот здесь место для детской площадки? Пусть детишки играют! Выровняем, положим один из этих камней, даже герань можем посадить.

— Нет. Камни не трогать. Я их для себя припас. Если кто не понял, повторяю еще раз: они мои.

Никому не отдам.

У Муэкаса, кроме уже застроенных земель, имелись и земли под застройку — большой участок, окруженный чем-то вроде парка или сада. Согласно общему праву он был *res nullius*[29], но на него претендовал очень влиятельный человек из соседнего города, который уже долгое время не мог решить с агентами по недвижимости вопрос о его стоимости. Так что здесь в любой момент могли появиться бульдозеры и грузовики — и положить конец всем спекуляциям с недвижимостью. Продажи, аренда, выселения, переезды станут невозможны, как в условиях новой экономической реальности, когда мы наконец-то становимся цивилизованными людьми, становится невозможным использование земель, принадлежащих местным племенам, и охотничьих угодий аборигенов. Но старое право находило лазейки в вульгарном[30]: не «ничейные земли», а «земли, оставленные без присмотра», словно речь шла о превращенных в руины, подвергшихся радиации городах, в которых после окончания атомной

[29] Примечания: 29

Никому не принадлежащая, бесхозная вещь *(лат.).*

[30] Примечания: 30

Вульгарное право — упрощенная форма римского (квиритского) права, адаптированная к нуждам определенного общества.

войны чудом выжившим остаткам человечества придется устраиваться и начинать жить, используя материалы, не подлежащие использованию. Обитатели трущоб видели вдали совсем другие постройки, принадлежавшие к иному миру — порождением которого они являлись и на котором паразитировали. Такое положение не позволяло им участвовать в великом предприятии ни в качестве равноправных сотрудников, ни в качестве рабов. Они могли рассчитывать только на то, что было не нужно городу, от чего он хотел избавиться: мусор, отбросы, милостыни Общества святого Викентия де Поля[31], обломки снесенных домов, пустые консервные банки, ничтожное жалованье неквалифицированных работников, сбережения дочерей — честнейших служанок. Каждый день они были вынуждены отправляться в ту, другую реальность (как первобытные люди каждый день отправлялись на охоту), где их добычей становились выброшенные продукты на рынках, тарелка супа в бесплатной столовой, выручка от продажи кремней для зажигалок.

Муэкас, состоятельный человек, известный всему городу, пользовавшийся всеобщим ува-

[31] Примечания: 31

Общество святого Викентия де Поля — международное католическое движение, занимающееся благотворительной деятельностью.

жением, член городского совета и владелец процветающего животноводческого предприятия, свысока смотрел на голодранцев — одна тряпка спереди, другая сзади, — недавно прибывших в грязных вагонах третьего класса из далекой голодной страны в надежде начать здесь новую жизнь. Он с презрением относился к корейцам[32], считал их низшей расой и не сомневался, что ни один из них никогда не достигнет таких высот, каких достиг он, никогда не станет достойным свободным предпринимателем, ведущим дела с настоящим, легальным научным учреждением из соседнего города, еще не разрушенного бомбами. Глядя на них, он думал, что рано или поздно все эти недочеловеки или умрут, став кормом для местных червей (мало ли есть видов голодной смерти: туберкулез, золотуха, латиризм, кровавая сыпь, прогрессирующий тремор в пятке и много всяких других; острая боль в желудке — и конец, помрешь, не успев поесть), или будут кормиться за счет государства, не разрушенного бомбой, и жить в красноватых бараках с одинаковыми крошечными окнами, или униженно вернутся

[32] Примечания: 32

Корейцы — здесь: презрительное название жителей неблагополучных областей Испании, переселявшихся в Мадрид. Слово появилось в годы Корейской войны (1950–1953).

туда, откуда приехали, — в далекую голодную страну, которую уж точно не разрушить никакими бомбами.

Вот так весело проводил дни славный Муэкас, занимавший высокое положение, облеченный властью, согреваемый ночью несколькими телами, всегда имевший что выпить и пребывавший в уверенности, что всем этим он обязан лишь собственному уму и изобретательности, которые позволили ему усовершенствовать методы разведения животных, а также разработать принципы рационального использования кормов и пастбищ. А еще тому, что он был хотя и необразованным, но умным и к тому же удачливым — ему покровительствовали влиятельные люди из другого мира, а его дом удостаивали своим посещением квазиродственник Амадор и даже сам доктор, который говорил с ним как с равным и вел себя так, будто их не разделяла глубокая пропасть, будто они не различались цветом кожи.

Еще более несчастные, чем их собратья в других странах, сограждане Муэкаса, сам Муэкас и другие влиятельные люди республики не ставили принадлежность к тому или иному социальному миру (который составляет реальность каждого города, каждой нации, каждого континента) в

зависимость от случайных факторов, таких как цвет кожи или соотношение между мышечными и сухожильными волокнами икр, свойственное представителям той или иной расы. Здесь некоторая узость лба (который, если захотеть, легко поддается расширению) не могла служить достаточным основанием для того, чтобы признать кого-либо *другим*. Черный принц и сановник Муэкас, в жемчужно-сером цилиндре и красном жилете с петушиным пером в петлице, гордо вышагивал среди чернокожих малышей с огромными животами и бедных чернокожих женщин, покачивавших бедрами, едва прикрытыми набедренной повязкой. Когда он созывал компанию равных себе (из тех, что ходили если не в цилиндрах, то по крайней мере в котелках), они пили и играли в бриску во дворце Мор-А-Пио[33], прекрасно зная, что обычные люди могут рассчитывать только на сырой батат в качестве десерта и вареный батат в качестве основного блюда, но ни капли не сомневаясь, что этот мир хорош, хотя они, негры — богатые скотоводы, шахтеры, торговцы, поставщики слоновой кости и черного дерева для нужд далекого-могуще-

[33] Примечания: 33
Могарio (*исп.*). — дешевое красное вино. Имеется в виду таверна.

ственного-человека, — всегда будут оставаться черными-пречерными, в отличие от астральных существ, марсиан или венерианцев, которые, по данным их черной науки, должны быть белокожими блондинами с невероятно голубыми глазами. Уверенность Муэкаса в том, что мир прекрасен, становилась еще тверже, когда ночью, покинув дворец, он возвращался в свою летнюю резиденцию и, убедившись в присутствии на матрасе трех горячих тел, погружался в эту приятнейшую атмосферу, отчего чувствовал себя еще более счастливым и иногда засыпал сразу, без скандала, а иногда — если ему хотелось — надавав сначала тумаков, которые никогда не считал лишними и которые позволяли еще раз показать, кто в доме главный. И если потом, в сладчайший миг засыпания, ему случалось услышать нежный младенческий писк, он погружался в сон со счастливой улыбкой, от которой приподнимались уголки его губ, огрубевших от времени.

11

Как и всегда по субботам, Педро ужинал торопливо. В столовой он сидел позади морщинистой пары, между двумя столиками, за которыми расположились двое одиноких мужчин. На ужин подали рыбу. Мерлан, кусавший себя за хвост, был так хорош сам по себе и так символичен, что Педро не удержался от улыбки, взглянув на свою тарелку. Поедая эту рыбу, он, можно сказать, окончательно принимал условия жизни в пансионе и присоединялся к мученикам полного комфорта, ставшего впоследствии жизненным принципом всей неевропейской части страны. Маленький уроборос, казалось, иронически улыбался. Он кусал свой хвост без всякой злобы, просто держал его зубами, чтобы тот не вырвался и тело не вытянулось снова во весь свой немалый рост. Благородная морская рыба, еще не совсем протухшая — мясо было белым, и только в тех местах, где уже началось гниение, виднелись небольшие фиолетовые пятна. Лимон, выжатый на мерлана, чтобы отбить подозрительный запах, напомнил Педро о кислом лимонаде, вы-

питом несколькими днями ранее. Пансионеры негромко обменивались замечаниями по поводу фиолетовых пятен. Прислуга двигалась быстрее, чем обычно, — явно спешила улизнуть. Покончив с ужином, Педро собрался уходить — на этот раз в его планы не входило участвовать в странных посиделках с тремя глупыми поколениями. Он почти дошел до входной двери, когда его остановила старшая хозяйка — хотела попрощаться. Заодно она посоветовала надеть теплый шарф, хотя до зимы было еще далеко, и попросила не задерживаться слишком долго, хоть завтра и воскресенье.

Педро спустился с третьего этажа по темной лестнице, освещенной тусклыми лампочками. Старые деревянные ступени пахли пылью, некоторые скрипели. На площадке первого этажа в углу обжималась парочка — служанка со второго и солдат в гражданском, ее односельчанин. Педро вышел на улицу. Быстро прошагал мимо таверны, где над заставленными бутылками полками висела бычья голова. Дошел до площади Тирсо-де-Молина. Перед входом в дешевое кабаре толклись несколько типов, по виду — сутенеры, ждущие первых клиентов. Он свернул на полого спускавшуюся улицу. Большинство второсортных

лавок на ней уже закрылось, лишь в нескольких слабо брезжил свет. Миновав какой-то склад с подержанными кофемашинами, подсвечниками и плетеной мебелью, он вышел на освещенный перекресток неподалеку от станции «Антона Мартина». Два такси дожидались пассажиров, еще одно медленно разворачивалось. Девицы известной профессии стояли на тротуарах или пили кофе с молоком в сомнительных заведениях с фальшивой позолотой. Уличные торговцы, несмотря на поздний час, предлагали свои товары. Из дешевого кафешантана доносилась цыганская песня — кто-то распевался, пока посетителей еще не было. Дул резкий восточный ветер, и Педро свернул с широкой улицы Аточа налево, в узкие извилистые переулки. Они были безлюдны, и Педро, не торопясь, направился кружным путем в район больших отелей. Когда-то здесь жил Сервантес. Или Лопе де Вега? Скорее всего, оба. На этих самых улицах, сохранивших провинциальный вид, который резко контрастирует с обликом большого города. Сервантес, Сервантес… Неужели такой человек мог жить в подобном месте, на этих убогих узких улицах? Гуманист, веривший в свободу, разочарованный меланхолик, далекий от всякого героизма, от

всякого преувеличения, от всякого фанатизма. Неужели он тоже дышал этим чистейшим воздухом и размышлял, как видно из его сочинений, над природой общества, в котором вынужден был существовать, собирать налоги, убивать турок, терять руки, добиваться благосклонности, сесть в тюрьму и писать книгу с единственной целью — рассмешить людей? Почему человек, который с самым меланхоличным видом нес свою трезвую голову на сгорбленных плечах, желал кого-то насмешить? Чего он хотел на самом деле? Создать новую форму романа? Проникнуть в мелочные душонки себе подобных? Посмеяться над своей чудовищной страной? Заработать денег — много-много, чтобы не быть озлобленным сборщиком недоимок? Он не из тех людей, которых можно понять, зная только обстоятельства их жизни. Подобно тому, другому — господину художнику, — он никогда не любил своей профессии и, возможно, предпочел бы использовать перо лишь для того, чтобы оставлять витиеватые подписи под векселями генуэзских банков. Как никто другой понимавший людей своей эпохи — что он хотел сказать нам? Прекрасно зная, что безумие — это ничто, дыра, пустота, он утверждал, что лишь безумец может быть высоконравственным

человеком. Почему?

Непростые вопросы. Пока Педро, негромко стуча каблуками, шагает по улицам, помнящим безрукого рыцаря, его собственный болезненный рационализм закручивает спирали, одну за другой.

Первая спираль. Существует общепринятая мораль — простая и понятная, — согласно которой хорошим, благоразумным и здравомыслящим является тот, кто, читая рыцарские романы, допускает, что они лгут. Рыцарский роман пытается наложить на реальный мир совсем другую реальность — прекрасную, но, увы, фальшивую.

Вторая спираль. Появляется, однако, человек, решающий поверить в то, чего на самом деле не существует. И с появлением этого человека зло из потенциально возможного становится реальным.

Третья спираль. Того, кто поступает так, сограждане называют Добрым[34].

Четвертая спираль. Вера в существование благого мира не мешает ему преследовать зло в мире, где он живет. Он помнит, что этот мир полон злобы. Его безумие — если вдуматься — состоит

---

[34] Примечания: 34
Прозвище, данное Дон Кихоту.

лишь в убеждении, будто мир можно изменить к лучшему. И здесь мы можем начинать смеяться, потому что даже последнему дураку известно: мир плох и сделать его лучше невозможно.

Ну что ж, посмеемся.

Пятая спираль. Посмеявшись, задумаемся: достаточно ли того, что мы посмеялись над безумцем? Не правильнее ли было бы его распять? Ведь самое возмутительное в его безумии — стремление утвердить ту самую мораль, в которую, по их собственным заявлениям, верят те, кто над ним смеется. Если кто-нибудь перестанет смеяться и задумается, он может прийти к выводу, что безумец прав. Разве это не угроза для общества?

Шестая спираль. Не будем преувеличивать. Не нужно доводить это предположение до крайности. Не стоит забывать, что безумец действительно безумен. Это и есть главная мысль автора. Он показывает, что мир нельзя изменить к лучшему, если за дело берется сумасшедший, и ясно дает понять, что на самом деле его герой лишь прикидывается таковым, желая посмеяться над священником и цирюльником, так как иначе люди не стали бы терпеть его выходки и приняли бы меры: создали бы, к примеру, небольшую местную инквизицию, оборудовали маленькую

камеру пыток или занялись бы благотворительностью — стали бы помогать беднякам своего прихода. А на безумца, не подтвердившего свое безумие, надели бы смирительную рубашку и провели ему двадцать два сеанса электрошоковой терапии.

Но кто знает, кем был на самом деле человек, звавшийся доном Мигелем и ходивший когда-то по этой тихой и чистой провинциальной улице? У него не случалось яростных вспышек безумия, но оно дремало в нем. Изгоняя призраков из своей больной головы, он создавал своих героев. Так он избежал превращения в мессию. Он не хотел быть мессией. Он хотел зарабатывать деньги, собирать налоги, выдать замуж дочь; хотел, чтобы его осыпали милостями, хотел смягчить сердца великих мира сего и пробудить в них кротость. История о безумце и остальные замечательные истории были для него лишь забавой, а их герои — маленькими раскрашенными куклами, фальшивыми детьми, рожденными лишь для того, чтобы он — не сумевший заработать денег и собрать налоги, неудачно выдавший замуж дочь, не удостоенный ни наград, ни милостей, презираемый и забытый, охваченный предсмертною

тоскою[35] — и в самом деле не сошел с ума.

Он уже далеко. Идет по хмурому ночному городу — городу закрытых церквей и открытых таверн, качающихся электрических фонарей, машин, что мчатся в этот час по широким улицам с такой скоростью, словно ими управляют сознательные самоубийцы: кабриолетов с опущенным, несмотря на ночной холод, верхом, чтобы все видели белокурую голову сидящей в автомобиле шикарной женщины и норковое манто на ее плечах; серебристых автомобилей дорогих марок, закрытых, чтобы никто не заметил выражения жестокости на лицах сильных мира сего — огромные мощные машины, элегантные и обтекаемые, медленно движутся, покачиваясь от вожделения, вслед за очередной женщиной, вышедшей из знаменитого бара и ждущей лишь наступления темноты, чтобы без усилий открыть маленькую дверцу с автоматическим управлением. И автомобиль, словно выпущенный из пушки снаряд, устремится в будущее, полное чувственных удовольствий. Из дверей отелей, словно из огромных ртов, вырывается теплый

[35] Примечания: 35

Цитата из посвящения герцогу Лемосскому, предшествующему роману Сервантеса «Странствия Персилеса и Сихизмунды». Перевод Н. Любимова.

воздух, но он не замечает этого, погруженный в свои мысли. Но вот он доходит до площади, где стоит фонтан со львами. Останавливается. Здесь движения почти нет, и, когда мимо проезжает случайный автомобиль, можно услышать тот особый шелест, который ночью производят дорогие шины на мощенной булыжником дороге. Он идет в сторону кафе. Там тоже тепло, но если тепло гостиниц — это тепло тела куртизанки, то здесь — тепло шумной молодежи.

Войдя в кафе, он сразу понимает, что ошибся, что не стоило сюда приходить, нужно было остаться на улицах, по которым бродили призраки людей, изливавших когда-то свою боль на бумагу. Но он уже вошел, и липкие щупальца осьминога не выпустят его обратно. Крик осьминога переходит в пение. Он смотрит на Педро. Его мягкое, сложносоставное лицо непрерывно обновляется. Присоски цепляются за исследователя, и тот больше не сопротивляется: он уже машет кому-то рукой и вливается в сообщество, частью которого, несмотря ни на что, является и которое не сможет так просто покинуть. Как только Педро пришел сюда, город сделал для себя пометку: он здесь, он существует.

12

Словно вынесенные веселой бесшабашной волной во время прилива на крохотный кусочек пляжа, все они, раздраженные, но довольные, стремились максимально заполнить доставшееся им ограниченное пространство, занять ту его крохотную часть, которую еще можно занять. Каждый жаждал показать себя во всей красе, но хвастались они не перегретыми бронзовыми телами, а теориями, стихами, остроумными критическими статьями. Молодые интеллектуалы, теснившиеся на своем пляже, были намного счастливее купальщиков на настоящих прибрежных полосах, потому что там для всех светило только одно далекое солнце и наслаждаться его теплом и светом можно было лишь тогда, когда оно присутствовало на небе; здесь же солнцем был каждый, и они наслаждались собой непрерывно, чувствуя себя как в солярии, где ультрафиолетовые лучи, проникающие в кожу на глубину в четыреста микрон, пробуждают дремлющие провитамины, капилляры и меланофоры. Только, в отличие от солнечного морфия, от

которого человек тупеет и становится инертным, ночной наркотик литературного кафе повышает активность мозга, стимулирует его, заставляя порождать идеи, которые потом будут волновать лучшие умы, обсуждаться в аудиториях и на научных конференциях. Крохотные фиолетовые искорки, которые субботними вечерами видны на висках учителей, перекочевывают в головы болтливых учеников с темными кругами под глазами, оставляя на них розовый след, — и это то, без чего немыслимо развитие культуры. Так пыльца, разносимая обычными мухами, а иногда, как в случае с мадагаскарской орхидеей, ночными бабочками, снабженными для этого особым хоботком, создает огромные возможности для распространения и сохранения видов. Это совсем не означает, что некий учитель (которого никто не считает учителем) внушает своим ученикам (ни одному из которых не придет в голову считать себя учеником): «Вы должны сделать это», «Запомните, что я сказал», «Не злоупотребляйте герундием», «В каждое произведение, о чем бы вы ни писали, обязательно включайте любовные сцены», «Наблюдайте за проявлениями человеческой природы в том скромном пансионе, где вы обитаете», — и все это с умным видом, настави-

тельным тоном, четко выговаривая каждое слово; напротив, произнося фразы типа: «Вы — полные идиоты», или «Вы понятия не имеете о том, как надо писать», или «Вы не читали Хемингуэя», они создают коллективный гумус, который служит удобрением для всех; именно так, никогда не хваля и всегда критикуя, презрительно поднимая бровь до середины лба, одобрительно похлопывая по плечу самого бесталанного, рассуждая о футболе, не забывая ущипнуть мимоходом студентку философского факультета, восхищаясь черным бархатным костюмом и длинной косой вульгарной девицы, не имеющей ни малейшего представления о литературе, насмехаясь над хромым художником, ковыляющим к их столу, позволяя себе неслыханно нагло разговаривать с официантом, написавшим уже семь комедий, принуждая новичка-провинциала угощать их кофе и платить за выпивку, беспрестанно куря, безостановочно болтая и никогда никого не слушая, они обеспечивают преемственность поколений и заполняют вакуум, который принято называть испанской литературой.

Педро помедлил, ища глазами какой-нибудь ориентир или хотя бы крохотный незанятый кусочек пляжа, на золотом песке которого он мог бы

разместить свои мысли и недавно прочитанные книги. В дальнем конце зала поднял руку Матиас, и Педро начал пробираться к нему. Разделявшее их пространство было заполнено хаосом звуков, рифмами, остатками почившего ультраизма[36], высокомерными девушками в черном — теми, что красят только глаза, когда модно красить губы, и рисуют себе кроваво-красные рты, когда модно красить глаза, — дымом тысячи и одной сигареты, ногтями, покрытыми черным лаком, нищетой, тратящей последние пять песет на чашку кофе, дающую право оставаться сколь угодно долго в храме, где мраморные столы стали липкими от меда мудрости.

Когда он наконец добрался до Матиаса, тот указал на девушку в очках, одетую, в отличие от других, не в черное, а в лимонно-желтый свитер, подчеркивавший ее формы, и посоветовал Педро познакомиться с ней:

— Посмотри на эту. Она кое-чего стоит. Читала Пруста.

— Не врет?

— Не врет. И перестань едва касаться ее взгля-

---

[36] Примечания: 36

Ультраизм — литературное направление, возникшее в Испании после Первой мировой войны, представители которого уделяли особое внимание метафорам.

дом[37], она смущается. Выпей лучше джина.

Тут Матиас, словно забыв о Педро, повернулся к девушке и начал подробно рассказывать ей об особенностях американской новеллы, объяснять, почему лучшие произведения выдающихся американских писателей превосходят отставших от времени европейских новеллистов, которые, завершив один литературный цикл, не смогли начать другой, осознав неизбежность конца и последующего упадка, а значит, и бесполезность прежних художественных приемов. Теперь только шовинизм заставляет тупиц из галльских лицеев и недоумков во всем мире верить в то, что они по-прежнему создают великие романы, хотя в них нет ничего, кроме французского остроумия. Ни политической остроты, ни отражения действительности, ни подлинного величия. Это упражнения в каллиграфии, графоманство худосочной девицы из швейцарского интерната. Хуже только вышивка крестиком. Девушка смеялась, свитер на ее груди подрагивал.

Подкрепившись джином, Педро, едва дождавшийся, когда ему дадут слово, заговорил.

---

[37] Примечания: 37

Искаженная цитата из книги испанского поэта Хуана Рамона Хименеса (1881–1958) «Камень и небо» («Красота исчезает, едва касаюсь взглядом розы»).

Эстетические игры. Волны, набегающие на берег и убегающие обратно. Приливы и отливы мысли. Абсолютно безвыходные ситуации бывают… Да, конечно. Читайте «Улисса». Истоки американского романа — это «Улисс» и Гражданская война. Глубокий Юг. Вы же понимаете. Американский роман сейчас лучший. Он влияет на Европу. Зародился там. Именно там. И ты тоже, дочь моя, ты тоже. Если не станешь читать, ничего хорошего из тебя не выйдет. Будешь перечитывать историю Евгении Гранде и рыдать над судьбами несчастных сирот. Аминь. Да будет так. *Ainsi soit-il*[38].

Девушку в желтом свитере как волной смыло, после того как высокий бородатый парень взглянул на нее сквозь свои круглые очки. Исчезла. Не существует. Накрашенный красный рот. Испарилась.

Ну и пусть. Они отнеслись к этому равнодушно и продолжили разговаривать. Они давно образовали симбиоз, сбились в плотную массу чувственной материи. Город, эпоха, в которую им выпало жить, жесткие рамки, в которые заключено их существование, бессознательное соблюдение запретов, отказ от догм, возведенный

---

[38] Примечания: 38
Да будет так *(фр.)*.

в догму, греховное принятие паразитического образа жизни, неопределенность эстетических норм, отсутствие цели, для достижения которой потребовалось бы мужество, сделали их (хотя они были уверены, что достигли этого сами) такими, какими они были. И другими они стать не могли. Недореализм[39] их жизни не привел к созданию нового стиля. Ничего у них не вышло.

[39] Примечания: 39

Недореализм (*исп.* bajorrealismo) — термин, придуманный писателем Хуаном Бенетом и Луисом Мартином-Сантосом для юмористического литературного течения, которое они пытались создать в 1940-е годы.

13

Вторая порция джина и чашка черного кофе немного взбодрила Педро. Голова его была ясной, желания — неопределенными. Беседа его воодушевила, и в сознании снова возник образ Сервантеса. Так постоянно вспоминается какая-нибудь мелодия. Но Сервантес не вписывался в шумную и дымную атмосферу кафе, а Матиас нес такую литературно-сентиментальную галиматью, что стало ясно: пора уходить. Однако этот парень обладал удивительной способностью притягивать и не отпускать людей, и Педро понял, что ему придется задержаться — скорее всего, надолго. Был ли Матиас уже пьян? Скорее всего, нет. Вероятно, он находился в том промежуточном состоянии, когда человек может не только разговаривать, но и высказывать умные мысли.

А Матиас уже представлял ему немецкого художника со странной фамилией, похожей на ту, которую носил один швабский философ. Художник был высоким и худым, с острой рыжей бородкой и глазами изнеженного ребенка. Он держался скованно, смотрел робко и производил

впечатление человека, нуждающегося в постоянной опеке. Педро настоял на том, чтобы немец сел за их столик, и заказал для него большую порцию джина, чтобы тот сразу выпил и немного расслабился. А Матиас, только из человеколюбия, решил взять немца под свое крыло и для начала завел с ним разговор на общие темы, не имевшие отношения ни к живописи, ни к войне, ни к тревожной меланхолии, в которую был погружен его собеседник. Но этот рыцарь печального образа хотел говорить только о живописи. О том, что он будет выставляться у Бухгольца[40], о том, что пишет в стиле неоимпрессионизма, и о том, как было бы здорово, если бы они прямо сейчас отправились в его студию, посмотрели на полотна и убедились, что картины, передающие трагедию побежденного и сознающего свою вину народа, не обязательно должны быть приятны глазу.

— Но сначала выпьем еще, — поставил условие Матиас.

– *Bono*[41], — согласился немец.

Он сгорал от нетерпения. Ему было совершенно

---

[40] Примечания: 40

Имеется в виду известный мадридский магазин, где продавались книги на немецком языке и устраивались художественные выставки.

[41] Примечания: 41

Искаженное испанское *bien* (хорошо).

необходимо, чтобы новые знакомые судили о нем не только по внешнему виду и плохому владению языком, не позволявшему точно формулировать мысли. Он жаждал признания, восхищения, не сомневаясь, что его работы будут высоко оценены, а сам он — заслуженно возведен на пьедестал. А потому, протянув официанту-драматургу несколько крупных купюр — неслыханно щедрая плата для подобного заведения, — он велел немедленно принести еще три убийственные порции. Бармен так ловко жонглировал бокалами, выполняя заказ, что немец, единственный из присутствующих, пришел в полный восторг и потребовал еще несколько раз повторить — за его счет — понравившийся ему номер.

— Сейчас это здесь, — сказал художник, перед тем как сделать первый глоток, — а сейчас — не здесь, — и поставил на стол пустой стакан. — Перешло внутрь тела.

Подобный юмор вызывает не смех, а желание повторить предложенный эксперимент, что и сделал Матиас.

— Сейчас этот стул здесь, внизу, — Матиас взялся за стул, на котором сидел, — а сейчас — наверху, — и поставил стул на черную мраморную столешницу.

— Но твой тело не там, где был, — возразил немец, представитель расы, более искушенной в строгой метафизике.

— Там же, — не согласился Матиас и, взобравшись на стол, с торжествующим видом уселся, не обращая внимания на неодобрительные, но не лишенные восхищения взгляды тех, чей уровень опьянения мог быть оценен как средний или нулевой.

К нему уже спешили три официанта, и Матиас вынужден был свернуть свой эксперимент, результатами которого он, впрочем, был вполне доволен. Внизу три или четыре странные женщины, одетые в черный бархат, с длинными косами, и две-три актрисы с накрашенными глазами снисходительно улыбались, решив, что Матиас просто дурак. С легкостью нарушив привычный ход вещей, он уверовал в свою непогрешимость, как верили в нее те, кто много веков сидел не на стульях, а на папских престолах, завоевание которых давалось намного тяжелее и требовало соблюдения строго оговоренных ритуалов, самым неприятным из которых Матиас считал целомудрие с сохранением целостности желез. Когда он спустился со стола, пока-еще-не-сумасшедший-художник продолжал применять свой

метод констатаций к более серьезным вещам.

— Это совсем не оплачен, — с улыбкой сказал он официанту, указывая на счет. — А теперь совсем оплачен, — и он положил на стойку купюру, достоинство которой намного превышало сумму счета.

— Минутку, сеньор! Минутку, сеньор! — попытался возразить честный официант, но все трое, опьяневшие от алкоголя и гордости, порождаемой сумасбродными поступками, уже шагали к дверям, готовые нырнуть в туман и сырость улицы, жаждущие взойти на корабль экспрессионизма и пересечь на нем безбрежную ночь.

— Мой тело сейчас внутри, — объявил Матиас и толкнул вращающуюся дверь кафе. — Теперь мой тело на улице.

— Твой тело сейчас не твой тело, — возразил Педро. — Твой тело сейчас — это тело Бахуса.

Немец понял не сразу, но когда понял, то в первый — и не в последний — раз разразился громким хохотом, напугав ночного сторожа, дремавшего на углу. Отголоски этого смеха еще долго были слышны на пустынных улицах.

— Это очень *bono*, очень *bono*! — похвалил художник. Потом неуверенно: — Хотите в студию?

– *Bono*, — передразнил немца Матиас. — По-

шли.

Художник снова расхохотался, на этот раз без всякой причины, и они зашагали в ночи к улице Инфантас, где в одной из мансард их ждали увядшие порождения его великой души.

14

Держась друг за друга, чтобы не споткнуться, они поднялись по темной лестнице. После нескольких неудачных попыток художник, перепробовав множество ключей, все-таки открыл дверь, и они наконец оказались внутри, в пропахшей свежей краской темноте. Ощупью нашли выключатель и, когда зажегся свет, увидели множество картин, висевших на стенах большой студии. На всех были изображены обнаженные женщины, пухлые и розовощекие.

— Нет, нет, нет! — завопил художник-неоэкспрессионист. — Не мое! Ничего тут мое! Это другого!

Матиас между тем склонился над одним из полотен и внимательно его рассматривал, словно подсчитывал, сколько может стоить фунт такого мяса.

— Неплохо, — оценил он. — Здесь есть магма.

— Пожалуйста, — настаивал немец, — моя другая.

И указал на дверь, скрытую за двумя большими мольбертами.

У владельца студии и коллеги художника Боно, похоже, были четкие представления о собственном эстетическом идеале и не было ни капли стыдливости. Он изображал розовощеких дам с одинаковыми улыбками в самых разных позах, следуя вульгарным рецептам комбинаторного искусства. Несомненно, размещение на каждом холсте двух тел вместо одного позволило бы многократно увеличить количество комбинаций и перестановок, но и без этого художнику удалось с помощью элементарных средств дать приблизительное представление о бесконечности.

– *Jubilatio in carne feminae*[42], — заметил Матиас.

– *Pulcritudo vastissima semper derramata*[43], — продолжил Педро.

— Пожалуйста! Не мое!

— Не твое, но очень *bono.*

— Не *bono*! Противно для меня. Это не искусство. Не говорит. Нет экспрессия. Немецкое искусство — другой.

— Число обнаженных тел на его картинах свидетельствует о размахе репрессий в стране, —

---

[42] Примечания: 42
Празднество женской плоти *(лат.).*

[43] Примечания: 43
Красота обширнейшая, широко разлитая *(лат.).*

смущенно заметил Педро, вспоминая о тех репрессиях, которым подвергался сам. Находиться в просторной оранжерее, полной роскошных пионов, было приятно, и совсем не хотелось идти туда, где, как он предполагал, их ждало что-нибудь вроде сцены мастурбации в Дахау.

Матиас, как оказалось, думал о том же:

— Все это наводит меня на мысль о газовых камерах.

— Нет камера! *Shocking!*[44] — запротестовал было художник, но вернулся к своему методу логических объяснений и продолжил: — Эти картины не я рисовать. Я рисовать картины, они там.

И он махнул длинной рукой в дальний угол просторной студии.

— Перед тем как они входили в камеру, их заставляли раздеться донага и давали полотенца и мыло, чтобы они думали, будто идут принимать душ. Но они были гораздо более худыми.

— Ужасный образ смерти, перестань тревожить мой покой[45]. — процитировал Педро. — Я не

---

[44] Примечания: 44

Возмутительно! *(англ.)*

[45] Примечания: 45

Неточная цитата из сонета испанского поэта Луперсио Леонардо де Архгенсолы (1559–1613).

умер там тогда. Я здесь, и я живой.

— Я говорить, мои картины там.

— Этим не хватает куска мыла в руке.

Потеряв терпение, немец бросился к маленькой двери в мастерскую, открыл ее и исчез из вида. Вскоре до слуха Матиаса и Педро донеслись возмущенный возглас и ругательства, отнюдь не метафизические, а чуть позднее появился и сам художник с пятном свежей зеленой краски на рукаве и с картиной в руках. Он не мог сразу показать все свои шедевры, поскольку в силу определенных причин работал только при дневном свете, и электричества в его мастерской не было, но он принес ту, ради которой они пришли сюда. Ради нее они оказались здесь, в немом кубическом пространстве, окруженном крепко спящими соседями, вдали от шумной субботней ночи, бурлившей на окрестных улицах. И теперь художнику предстояло держать за это ответ. Он противопоставил этой ночи, бурлящей жизни, газовым камерам, отвращению к наготе и к самому себе свою любимую работу — последнюю картину, на которой еще не просохла краска.

Картина была плохая. Очень плохая. На темно-коричневом фоне были изображены — светло-коричневые с вкраплениями адски-красного

— ужасающие руины разрушенного бомбежками города. Слишком высокие горы камней громоздились по обе стороны заваленного обломками ущелья — бывшей улицы. Главным элементом композиции была огромная толпа существ, по виду — людей, но крохотных, как муравьи. Эта толпа, подобно бурлящей реке, текла на передний край картины. Беспорядочная жестикуляция, по мысли автора, должна была выражать коллективное отчаяние — сплав страдания с осознанием справедливости понесенного наказания. Фекальная гамма картины и схожесть персонажей с насекомыми не мешали автору смотреть на нее с тем же восторгом, с каким мать (не отец) смотрит на новорожденного. Этому пьяному, едва освоившему чужой язык юмористу, щедрому плательщику, чародею субботней ночи, чтобы полюбоваться своей картиной, потребовалось непременно лишить их удовольствия от вечной истомы розовых тел, особенно сильного благодаря контрасту.

— Что он там раньше говорил?

– *Shocking*…

Таким был комментарий двух иберийцев-неэкспрессионистов, которые не изобретали газовых камер — разве что кричали во время

корриды, пока рог быка не входил в бедренный треугольник какого-нибудь манолете[46]; не устраивали погромов, хотя, возможно, в их генах осталось что-то с далеких веков — времен инквизиции, пыток и костров, на которых горели еретики в санбенито[47] и высоких бумажных колпаках.

– *Bono*. Посмотрели, — сказал Матиас.

— Ты думать, это *bono*? — спросил художник, равнодушный к материальным благам этого мира.

— Очень *bono.*

– *Bono.*

— Но что ты этим хочешь сказать? Твоя картина повествует о крахе европейской цивилизации или о необходимости избавиться от никому не нужной девственности, которую ты бережешь ценой огромных усилий? — спросил Матиас, верный своей теории о происхождении произведений искусства.

— Что ты иметь в виду?

---

[46] Примечания: 46

Мануэль Лауреано Родригес Санчес (1917–1947), известный как *Манолете* — легендарный испанский матадор. Погиб от ран, нанесенных разъяренным быком.

[47] Примечания: 47

Санбенито — одежда осужденных инквизицией, прямоугольный кусок желтой ткани с отверстием для головы в центре.

— Нет магмы.

— Что такой магма?

Матиас обвел взглядом студию с сияющими электрическими лампочками, с диваном, на котором, вероятно, позировала натурщица, когда коллега немца искал новые возможности размещения человеческого тела в трехмерном пространстве.

— Объяснить?

— Да, пожалуйста.

— Ты — художник, однако ты не написал картины, которые висят в этой комнате. Ты написал вот эту картину, которая висела там. Если бы ты писал не картину, которая там, а те картины, которые здесь, то не написал бы картину, которая там. Вместо того чтобы показывать друзьям картину, которая там, ты показывал бы картины, которые здесь. Зная, что ты не написал картину, которая там, ты не привел бы нас сюда. Ты забыл, что на самом деле хочешь писать такие картины, как здесь, поэтому привел нас сюда, иначе мы не оказались бы здесь. Понятно?

Немец молчал. Потом робко повторил вопрос:

— Но что такой магма?

— Магма — это все. Из нее все рождается. Протоформа жизненной силы. Это липкая сперма.

Расплавленная горная порода, до того как она затвердеет и превратится в камни. Магма — это евреи, живущие в гетто и рожающие детей, не зная, какое будущее их ждет.

— Я еврей.

— Что?!

— Да. По матери. Моя мать — еврейка.

Педро склонился над картиной, словно хотел лучше рассмотреть крохотных людей, спускающихся по каналу между руинами. Может, Матиас не прав? Может, это и есть та самая магма? Всегда одно и то же. Всегда человек, который появляется субботним вечером в нужное время и произносит нужные слова, затрагивающие самые чувствительные струны души, оказывается евреем, масоном или бывшим иезуитом.

— Уходим! Быстро! Прочь из этого храма искусства! Бросим прогнивший корабль на произвол судьбы! Пусть шторм разнесет его в щепки! Шлюпки на воду! Все в шлюпки! Я слишком давно не пил!

И Матиас, внезапно охваченный робостью, побежал вниз по лестнице, даже не бросив прощального взгляда на соблазнительных розовых женщин. За ним последовали Педро и сам капитан-корабля-давшего-течь: как и положено

капитану, он покинул тонущее судно последним, а перед тем как покинуть его, некоторое время печально и задумчиво смотрел на бушующие волны, словно все еще надеялся, что корабль можно спасти с помощью смолы и пакли.

15

Улица немного успокоила их, освежила, заверила, что ночь, со всеми ее возможностями, все еще существует, несмотря на насекомообразность человечества и неоэкспрессионистскую живопись народов Центральной Европы, не имеющих понятия о настоящей жизни. Холодный ветер, бивший в лицо, вернул Педро чувство свободы, Матиасу — пошатнувшуюся было уверенность в том, что он знает все на свете, и укрепил обоих в желании пьянствовать и дальше, вплоть до апофеоза и логического конца. Они тут же зашли в какую-то забегаловку, прочтя на вывеске заманчивое предложение: «Большая рюмка коньяка — 0,50». Зашли не потому, что их привлекла возможность почти даром получить хорошую выпивку, а потому, что им было интересно узнать на собственном опыте, какую гадость могут продавать за такие деньги. Рюмка действительно оказалась большой, и янтарная жидкость выглядела как орухо, «испанский коньяк», но остальные ее свойства к коньяку отношения не имели. Глотнув ее, они сразу опьянели, к тому же странная консистен-

ция оставила после себя мерзкое послевкусие и отрыжку, что могло бы испортить ночь кому угодно, но только не тем, чьи желудки поддерживает героический дух. Содержимое большой рюмки имело привкус древесной стружки, а стойкий неприятный запах предупреждал об опасности, грозившей любителям ночных приключений.

Но как же убедительно этот напиток — смесь колы, гуталина и виноградных выжимок — уверял, что они способны на все, абсолютно на все в эту сумасшедшую ночь! Немецкий художник выпил яд и исчез, проглоченный всасывающе-нагнетательной газовой камерой, что промчалась по улице Инфантас: пробормотал не к месту два-три *bono*, безуспешно попытался обнять своих спутников, улыбнулся, проводил взглядом женщину, спешившую к ближайшему, ярко освещенному заведению, и умчался на огненной колеснице.

Следом исчезла и сама забегаловка с ее металлической стойкой, отупелыми лицами пьяных посетителей и ночным барменом в рубашке с закатанными рукавами, обнажавшими сильные руки. Вся эта фантасмагория, и без того казавшаяся нереальной, качнулась назад и провалилась во внезапно разверзшуюся пропасть. Чтобы удержаться на ногах, им пришлось положить руки

друг другу на плечи. Страдая от неоднократной и неизбежной дегустации отвратительного напитка, держась друг за друга и поддерживая друг друга, напрочь забыв о розовых женщинах на картинах, они чувствовали себя полными сил и готовыми к новым испытаниям.

Такси пугали прохожих, громко сигналя, несмотря на поздний час; мимо проходили смуглые женщины с бордовой помадой на губах, казавшиеся толстыми в своих шубах из темно-золотистого мутона; смысл неоновых реклам кое-как доходил до помутненного сознания друзей, и они понимали, что через какое-то время, перепробовав все развлечения и испытав все мыслимые и немыслимые удовольствия, им придется вернуться в тихое место — свой обычный ночной приют, и после короткого отдыха их разбудит звонок, страшнее которого только трубы ангелов Судного дня; они очнутся в привычной реальности, где каждый является частью целого, как винтик в механизме или как деталь машины, пусть и не очень надежной, но все-таки работающей. Но это потом. А сейчас они живут другой жизнью: где нет жестких рамок, где дружба — это не духовное родство, а животное тепло чужого плеча и центр тяжести в те трудные минуты,

когда ноги не подчиняются мозгу, утратившему способность действовать с полной отдачей.

Но даже самые трудные минуты — это всего лишь минуты. Настолько ограниченна человеческая природа! Когда человеку — будь то атлет, совершающий прыжок, или балерина, исполняющая фуэте, или верующий в религиозном экстазе, или просто пьяный в состоянии эйфории — кажется, что он вот-вот превзойдет самого себя, возникает уверенность, что это чувство восторга останется в его душе навсегда. Но это лишь мгновения, лишь искорки вечного, скоротечные и преходящие. Прыжок атлета еще раз подтверждает, что главное — правильно приземлиться, мягко сгибая колени; кружение балерины завершается в сильных, хотя и нежных, руках партнера; приятные ощущения внизу живота, сопровождающие мистический экстаз, доказывают его сублимационную природу; алкогольное опьянение обычно кончается рвотой или криком.

Вот и для двух друзей трудные минуты закончились. Благодаря черному кофе без сахара, двойную порцию которого они заказывали в каждом попадавшемся им на пути баре или кафе, и холодному ветру, неизменно встречавшему их на улице, им стало лучше, и необходимость под-

держивать друг друга, чтобы не упасть, отпала. Как только действие ужасного коньяка немного ослабело, они поняли, что обязательно должны заглянуть на расположенную неподалеку улицу Сан-Маркос. Крепкие желудки выдержали удар: не было ни рвоты, ни явного дрожания пальцев, только лица приобрели зеленоватый оттенок.

Вскоре они уже сидели на обитых красным плюшем стульях маленького кафе с никелированными стойками и музыкальным аппаратом, бесконечно повторявшим одну и ту же андалузскую песню, что-то вроде канте хондо[48], сопровождаемую звуком старой иглы, царапающей эбонитовую пластинку. Кроме них, в кафе было еще несколько посетителей. Неподалеку сидели толстая торговка арахисом и старик, похожий на слепого, однако внимательно наблюдавший за ними сквозь темные очки. На барную стойку опирался ночной сторож, обмотанный несколькими шарфами. За дальним столиком расположилась женщина, похожая на ночную бабочку, но с очень печальным и целомудренным лицом. На галерее молча пили латте несколько старичков — скорее всего, билетеры из соседнего

[48] Примечания: 48
Канте хондо — жанр музыки и поэзии фламенко.

кинотеатра. Дверь туалета скрипела, и в покрытом ржавчиной зеркале на ее внутренней стороне отражалась единственная лампочка. Все в этом старом кафе, одном из немногих, оставшихся с прежних времен, дышало такой меланхолией, что находиться в нем долго было совершенно невозможно. К музыкальному автомату подошли, чтобы в очередной раз поставить ту же пластинку, двое молодых людей, одетые в темное. Они негромко постукивали каблуками в такт мелодии, но в ладоши не били, молча улыбались друг другу и тщательно следили за тем, чтобы их белые шарфы постоянно находились на одном и том же месте: между воротниками пиджаков и длинными сальными прядями на затылке.

16

«А этот мальчик наверняка проводит время так же, как мой покойный муж, хотя на самом деле он совсем другой и очень подошел бы нашей девочке. Глупая Дора, кажется, уже дала ему понять, чего мы от него ждем. Уж слишком прозрачно намекнула, что девочка — просто конфетка, сочная груша для рта, который еще почти ничего не пробовал. Другой мужчина сразу бы оценил, но этот бедняга — а он и впрямь бедняга, этот мальчик, которого я люблю, как родного сына, — оценить не способен. Он смотрит на нее как на ребенка и, если на него давить, занервничает и переедет в другой пансион. А наша девочка так и будет качаться в качалке или, что еще хуже, достанется одному из этих ничтожеств, картофельных капитанов[49], у которых за душой ни гроша. Как будто мы ее для них растили. Лучше уж пусть поступит как ее мать. Но нет. Отчаиваться рано. Рыбка еще может клюнуть. Наверняка клюнет. Просто он

[49] Примечания: 49

Так в Испании называли офицеров, ведавших продовольствием и расквартированием войск, но не участвовавших непосредственно в военных действиях.

немного рассеянный, как все эти интеллектуалы, ученые и кто там еще. Не видит того, что для других яснее ясного, потому и нашу девочку еще не оценил. Но если его скомпрометировать, защититься он не сумеет и деваться ему будет некуда: придется пойти на дно со всей командой или поступить как джентльмен, а он и есть джентльмен — это то, что мне в нем всегда нравилось. Он поступит так, как должен поступить, а не так, как другие, у которых ни стыда ни совести. Как этот ее папаша, чтоб ему пропасть! Когда юноша уходит по вечерам, я места себе не нахожу. Уснуть не могу. В моем возрасте и так мало спят, а тут еще это. Когда его нет, я представляю, что он сейчас в одном из этих кафе с официантками, если такие еще остались. Или представляю, что друзья затащили его в ужасный дом со шлюхами, которые могут научить его всему, развратить его и открыть ему глаза. Не то чтобы он был дурачком и ничего не знал — он все-таки изучает биологию, но иногда он меня удивляет, потому как мне кажется, что ни один другой мужчина не прошел бы мимо такого бутона, а он к ней даже не прикоснулся, хотя я поместила его в комнату рядом с ее комнатой, а глупая Дора еще возьми да скажи: „Так как девочка спит одна…“ Мужчины сами это

выясняют, их не нужно громко оповещать. Если он до сих пор не воспользовался случаем, значит он или девственник, или слишком уж порядочный. В мое время таких мужчин не было. И она ему нравится, конечно нравится, это же видно. У него делаются телячьи глаза, когда плутовка без всякой задней мысли — тоже дитя невинное — качается перед ним в своем кресле и искоса кидает на него взгляд. Ну не могу я его понять! Они мне его испортят, тут и думать нечего. А еще я боюсь, что раз девочка спит одна, то любому из них — хоть тому же фармацевту — может взбрести в голову, что это для него тут приготовили лакомый кусочек, как говорил покойный муж про мое бедро, потому что оно было и остается таким белым и гладким. Он даже делал вид, что хочет откусить от него. Шутник! Вот уж был мужчина так мужчина! Но этот мне тоже нравится, хотя я и не знаю, как заставить его вести себя по-мужски. Не могу же я сводничать, да и лучше мне за это не браться, после того как я так „успешно“ пристроила дочь. Эта дурочка, когда танцор ее бросил, плохо кончила бы, если бы не я с моим сводничеством, за которое мне не стыдно, потому что Бог создал наш мир таким. Я нашла ее через несколько месяцев, вытащила с самого дна; я не

знаю человека, который так мало ценил бы себя и настолько не умел бы себя преподнести, как говорил тот шутник, француз, который хотел ее „преподносить“ в Париже, во Франции, и если бы я там не оказалась и не взяла дело в свои руки, то осталась бы без дочери, а ведь она — своего рода капитал. Но как бы не так! Я к тому времени уже пришла в себя, возрастные неприятности закончились и больше меня не волновали, и что такое кафе-шантаны, я знала прекрасно, да только знала еще, что товар лучше всего продавать у себя, в приличном и честном доме, где каждый считает, что имеет дело с воплощенной добродетелью, которую жестоко обманули, и становится как мед, и уже готов заговорить о браке, хотя до этого все-таки не доходит, потому что в конце концов все становится понятно. И вот я сижу тут и волнуюсь, потому что в субботу вечером он опять ушел. Вечером. В субботу. Да что он мне, сын, что ли? Да даже если бы был сыном. Должны же мужчины где-то набираться опыта, тем более этот, который на войне не был. Вот проблема нынешних мужчин: они не попали на последнюю войну. Из-за того, что всегда жили в мире, и из-за того, что в детстве недоедали, они плохо представляют себе, что такое женщина. Думают, что это бриллиант,

который берут пинцетом, а чтобы понять ее, надо говорить с ней по-французски. О наступлениях, захватах, изнасилованиях нынешние мужчины только в книжках читали; о трофеях и священном праве грабить захваченные селения только слышали. А вот попробовали бы сами — по-другому бы запели. Совсем по-другому бы себя вели, и этот дурачок давно бы забрался в спальню к нашей девочке и был сейчас уже далеко, а мы в ужасе смотрели бы ему вслед. Вельзевула узна́ют не по медовым речам, а по шуму, который он производит, и по запаху гари, который он после себя оставляет. Но конечно, если бы он был таким негодяем, девочка все еще спала бы в моей комнате, и мы бы строили совсем другие планы, и ему удалось бы разве что рассказать пару-другую скабрезных анекдотов глупой Доре, которая всегда смеется над такими вещами, и тогда я нахмурилась бы, напомнила бы ему, как ведут себя в приличном доме, и выставила его из пансиона. Так ему и надо. Но вся беда в том, что он — вылитый святой Алоизий Гонзага[50], только без молитвенника и лилии. Терпеливо слушает наши беседы, по вечерам часами сидит с нами в

[50] Примечания: 50

Алоизий Гонзага (1568–1591) — итальянский монах, канонизированный в XVIII веке. Считается покровителем молодежи.

столовой, и я совсем не удивлюсь, если однажды он явится ко мне в темно-синем костюме и с букетом фиолетовых цветов — этот цвет больше подходит моему возрасту, хотя я совсем неплохо сохранилась — и попросит руки моей внучки».

17

На близость священных мест — храмов, где совершались ночные орфические обряды, — указывал ряд безошибочных признаков. Муниципальные власти стараются навести порядок на этой территории, одновременно заботясь об уменьшении ее освещенности и не менее благоразумном увеличении числа ночных сторожей с ничего не выражающими лицами, тонущими в толстых шарфах, и связками блестящих ключей в руках[51]. Молодые рабочие в габардиновых пальто, студенты-либералы и кое-кто из людей постарше, гораздо лучше обеспеченных биологически, чем финансово, составляют ядро участников этого коллективного марша, требующего порой героических усилий — так много на нем встречалось препятствий и неожиданностей. Некоторое облегчение приносит лишь стыдливое чувство товарищества, выражающееся большей частью в том, чтобы дружески похлопать по плечу незнакомца, не глядя ему в глаза. Они не

[51] Примечания: 51

Ночные сторожа имели при себе ключи от подъездов и открывали двери тем, кто возвращался поздно.

встречались раньше, но их объединяет общая, бесстыдно-земная, человеческая природа.

Уже с первой минуты сложные действия, которые предстоит совершить тому, кто отважится перешагнуть порог подобного заведения, отмечены печатью случая. Почему мы входим в номер 17, а не в номер 19? Кто может угадать, в каком из них мы решим остаться? Кто знает, не спит ли сейчас, равнодушный к нашему возможному визиту, объект нашего инстинкта, о котором мы храним приятные, но смутные воспоминания? Кто может гарантировать, что, даже если она не спит, ее не переместили в номер 21 или в номер 13 на той же улице? Кто поручится, что при встрече мы узнаем предмет нашего вожделения, если он предстанет перед нами в слегка измененном образе: обтягивающая черная юбка вместо красного купальника, желтоватый халатик вместо небесно-голубого бикини, черная шевелюра и ослепительные зубы вместо обесцвеченных волос, сморщенного рта и искусственной челюсти на ночном столике, напудренная смуглая кожа вместо темной полоски густых усов над верхней губой, тугая грудь в черном французском бюстгальтере вместо обвисших грудей под зеленой шелковой блузкой? Кто может быть уверен, что

неугомонная бабочка желания снова взлетит, а не будет распластана молотом тошноты при виде того, как та, ради которой мы пришли, спускается по лестнице, сопровождаемая другим мужчиной, которого обслуживала в наше отсутствие? Но довольно болезненных вопросов. Ясно одно: этими удивительными играми управляет не столько любовь, сколько случай.

Донья Луиса играла непростую роль шлюза. Когда субботний поток посетителей, превосходивший все расчеты и планы по размещению клиентов в различных частях дома, заполнял коридоры, она одним движением надежно перекрывала проход через ключевой перекресток, направляя тех, кому предстояло ожидать своей очереди, либо в салон, либо в комнату ожидания, куда не заходили женщины, либо обратно, на мрачную полутемную лестницу, в царство ночных сторожей и верной помощницы доньи Луисы — морщинистой старушки, которая, когда это требовалось, открывала дверь изнутри, а все остальное время смирно сидела на стуле, похожем на те, что стоят в церкви. Полностью перекрыв проход и превратившись из шлюза в дамбу, или даже в волнорез, донья Луиса чувствовала себя всемогущей. Дракон желания яростно

хлестал ее красными крыльями, языки огня опаляли ее благородные седые локоны, но она, не дрогнув, продолжала отказывать во входе тем, кто этого не заслуживал. Лишь иногда особая кротость, нежный взгляд, давнее знакомство, мужская красота или совсем юный возраст потенциального клиента несколько умеряли ее рвение. Именно поэтому Матиас и Педро смогли без промедления проникнуть в чертог наслаждений, тогда как остальные были отвергнуты и напрасно тянули мозолистые руки, сжимавшие честно заработанные купюры достоинством в двадцать пять песет.

В небольшом салоне нечем было дышать. Испарения человеческих тел, копившиеся с полудня, табачный дым (проветрить помещение не было никакой возможности: открывать окна категорически запрещалось), пыль, поднимавшаяся после того, как высыхала грязь, принесенная посетителями на обуви, дешевые духи, тысячи микроскопических частиц, разлетавшихся при кашле, бриллиантин, стекавший со многих мужских голов, — все это слилось в густую пелену, и только сквозь нее теперь можно было смотреть на товар, на выставленные вдоль длинной стены стройные тела белых красавиц, едва прикры-

тые самыми невероятными и очень короткими одеяниями. По сравнению с лестницей, где стояли шум и гвалт, обстановка здесь была почти литургической: разнообразие запахов, тактильных ощущений и визуальных впечатлений, стыдливая тишина. Во взглядах — их бросают почти украдкой, почти незаметно, почти искоса — читается немое желание. Иногда два-три слабонервных клиента заводят между собой разговор, чтобы защититься от откровенных взглядов женщин, каждая из которых пытается как можно быстрее определить, кто станет ее жертвой-палачом. Провокации здесь сводятся к самым простым вещам: прямой откровенный взгляд (так никогда не смотрят незнакомые женщины), наивно-извращенно полуоткрытый рот, покачивание плечами и бедрами (возможно, в попытке навеять образ далеких островов), трепещущие груди (трепет заметен лишь благодаря легкой ткани). Все происходит в тишине, и порой начинает казаться, что красавицы за туманной пеленой — не живые женщины, а призраки, которые вот-вот исчезнут. При этом любой из самцов может многозначительно кивнуть, пристально глядя на добычу, и она, подчиняясь неуловимой магии твердой мужской воли, немедленно пре-

кратив пантомиму и приподняв одной рукой слишком узкую юбку, или подобрав волосы, или устранив еще какое-нибудь препятствие для движения, быстрым шагом направляется в свой любовный эргастул[52] вместе с покупателем, который прямо на лестнице может положить руку на недавно покачивавшееся бедро и убедиться в том, что арендованный объект — не призрак, что он вполне реален. За этим следует ритуал вручения купюры достоинством в двадцать пять песет и мелочи для служанки, несущей полотенца и ведро с водой.

— Неплохо заработали сегодня, — довольно улыбнулась служанка, вручая очередной алюминиевый жетон хозяйке заведения, по непонятной причине трепетавшей перед этой злобной старухой.

Донья Луиса опустила жетон в матерчатый мешочек у себя на поясе, и тот, тихо звякнув, присоединился к своим собратьям. Кучка жетонов. Цена эксплуатации и надежд, которым не суждено сбыться.

Матиас был здесь своим, и правила описанной выше церемонии выбора не могли быть приме-

---

[52] Примечания: 52

Эргастул — в Древнем Риме тюрьма, чаще всего подземная, где содержали провинившихся рабов.

нены к нему в полном объеме (тем более в такой день, как сегодня — после обильных возлияний и речей, доказывающих его всезнание). Он мог позволить себе более изысканный способ подготовки к встрече с незнакомым телом. А потому, нарушив благоговейную — как и положено — тишину, царившую в салоне, он разразился речью, совершенно неуместной в дешевом борделе:

— Дщери Иерусалима! Не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших! Как лилия среди ирисов, ищу тебя, о ночная странница. Где избранница сердца моего? Где теплая грудь, чтобы приклонить мою усталую голову?

В ответ потрепанная ветеранка, которая стояла в углу, не предпринимая попыток привлечь к себе внимание и надеясь только на то, что у нее появится шанс, когда разберут всех более привлекательных товарок, улыбнулась, подняла белые руки, обвила ими шею Матиаса и, нарушив драконовские законы заведения, крикнула:

— Эй, красавчик! — Затем, понизив голос: — Хочешь, я тебя приласкаю?

Словно истомившаяся львица, она боролась за возможность прикоснуться к молодому телу, которой, несмотря на ее профессию, не имела уже много лет.

Приспешницы доньи Луисы яростно набросились на святотатственную пару, дерзнувшую нарушить благостность места, предназначенного лишь для простых зрительных волнений, и втолкнули Матиаса с дамой — а вместе с ними и Педро — в маленькую гостиную, предназначенную для клиентов слишком важных, чтобы выставить их на улицу, но слишком скандальных, чтобы позволить им оставаться в зоне выбора и мешать тем, кто предается увлекательной игре.

18

Сфероидальное, фосфоресцирующее, звенящее, темно-светящееся, волокнистое на ощупь, собранное в складки, ласкающее, успокаивающее, парализующее, остро пахнущее, материнское, пропитанное алкоголем, пролившимся изо рта, стеганое, нежно-голубое, иногда золотистое в свете анемичной лампочки, больно бьющей по ночным сонным глазам; убаюкивающее; унизительная чаша презрения проститутки к пьянице; место, где можно только шептать, где хозяйка превращается в снисходительного падре, который исповедует и дает ясные и четкие указания, как избежать плотского греха; туннель, по которому поднимается тошнота, когда тело-червяк погружается в массу, берущую его в ласковый плен; опровергающее закон притяжения, не подчиняясь его силе, чего до сих пор не удавалось добиться ни одному экспериментатору; гироскопическое, ориентированное на север; выбранное для тайного путешествия; стигийский отстойник, оборудованный металлической скамьей, с которой вытянутое безвольное тело

падает в податливое и мягкое; купе спального вагона, со скоростью сто тридцать километров в час мчащегося по просторам борделя; бревенчатый домик на Диком Западе; каюта, сотрясаемая штормами Индийского океана, когда тайфуны препятствуют полету желтого баклана; корзина из ивовых прутьев, подвешенная к воздушному шару братьев Монгольфье; лифт, взмывающий на верхний этаж небоскреба; тюремная камера, где человек познает, что такое одиночество; корзина с отбросами; грязная яма, обитатель которой, превратившийся в дерьмо, ждет черной волны, что унесет его к морю через клоаки, кишащие серыми крысами; и снова камера, и гвоздь медленно, с трудом царапает по стене, откалывая кусочки известки, и на стене появляется силуэт русалки с удивительным рыбьим хвостом, а рядом — фигура большой мягкой женщины, которая ее оберегает, ласкает, кормит грудью; колыбель, плацента, меконий, децидуальные оболочки, матка, яйцевод, чистый пустой яичник, обратная аннигиляция, когда яйцо в антипротонной вселенной распадается на две свои первичные сущности — и Матиас возвращается. Маленькая гостиная снова становится тем, чем ей положено быть: местом уединения, местом свиданий,

местом для отбросов, для пьяных мужчин из хороших семей; в ночь наводнения они являются сюда и садятся на мель возле единственной шлюхи, которая свободна и смотрит непонимающим взглядом, пока они, барахтаясь среди апельсиновых корок и картофельных очисток, обретают мир и спасение.

* * *

— Нежная жрица ночи, утоляющая мои печали, скажи, где удалось тебе найти секрет вечной молодости? Как твой рот после стольких поцелуев остался алым? Почему после стольких восхождений на ложе любви твое тело не стало похожим на губку, пропитанную детской мочой? Скажи! Открой секрет!

— Сама не знаю. Удалось как-то. Вот, потрогай! — Она ткнула пальцем в свое бедро. — Еще твердое. А видел бы ты, какой я раньше была! Ты такой глупый! Зачем вы столько пьете? Вечно напьетесь и вытворяете черт знает что.

— Не могу понять! Кто создал эту плоть? Какая еще материя способна, пройдя через адское пламя, остаться свежей и цветущей?

— Дурачок! — расхохоталась она, и сразу стали видны глубокие морщины, до этого незаметные

благодаря тусклой лампочке и толстому слою запекшегося крема для бритья, которым было покрыто ее лицо.

— О красота, вечность, сладострастие! О богиня, побеждающая время! О блудница! Рассказывай, рассказывай! Открой душу! Ты подписала договор с дьяволом?

— Замолчи! — испуганно крикнула она. — Что ты говоришь!

Она подавила (почти непроизвольно) желание (почти неосознанное) осенить себя крестным знамением, защищающим от богохульства.

— Когда она смеется, мне приходится отворачиваться, — сказал Педро.

— Смеяться полезно, — сказала старуха.

— А ты можешь смотреть на ее лицо?

— Я ее люблю! Люблю! Хочу обладать ею! — заверил Матиас и рванулся к дряхлому телу, но, не удержавшись на все еще нетвердых ногах, рухнул на пол, на кожуру апельсинов, съеденных неизвестными посетителями этой гостиной в не столь далекую геологическую эпоху. Он не пытался подняться, но продолжал действовать единственной свободной рукой — вторая была придавлена его собственным телом.

— И зачем вы столько пьете? — снова угрюмо

спросила она, словно жалела о том океане наслаждений, которого лишалась из-за физической несостоятельности засыпающих юнцов. — Зачем столько пить? Потом не можете ничего.

Матиас расхохотался в ответ.

— А что ты, ученый муж, делал бы, если бы не пил?

— Я?

— Да, ты. Я к тебе обращаюсь.

— Оставь ее в покое. Не надо над ней смеяться.

— Я ее хочу. Я готов на все.

— Пойдем, дорогой, — сказала старуха. — И зачем ты столько выпил?

— Давай позови стражницу. Пусть нам дадут лучшую спальню в этом доме. Я иду с тобой, и пусть меня прикончат, если я не буду самым счастливым мужчиной в эту ночь. Глупцы! Разве вы не знаете, что жизнь коротка? Что вы делаете со своим временем? *Postume, Postume labuntur anni!*[53] Разве вы не знаете, что тело умирает, а душа отправляется в вечность?

Женщина села рядом с ним на ворсистый ковер, усыпанный апельсиновой кожурой, положила его голову на свое бедро, не потерявшее упруго-

---

[53] Примечания: 53

Постум, Постум, быстро ускользают годы! *(лат.)* (Гораций, «Оды», II, 14, 1–4.)

сти, одной рукой обняла его, а другой взъерошила спутанные волосы, вороновым крылом падавшие на зеленоватый лоб пьяного Матиаса, и, забыв о Педро, удивленно и отстраненно наблюдавшем эту сцену, ласково спросила хрипловатым голосом:

— Ты правда на всю ночь остаешься?

— Да, чаровница, — подтвердил ее возлюбленный.

Донья Луиса, женщина-шлюз, уже приближалась. Ей хотелось поговорить. Все дела на сегодня были закончены, входную дверь она заперла изнутри, а оставшихся на улице неудачников грубо разгоняли муниципальные служащие. Оказавшись внутри магической сферы, в которой путешествовали наши герои, она восстановила там равновесие; царство разума объявило войну царству необузданной страсти, и по одному тому, как она села на металлическую скамью, стало ясно, что, несмотря на все свое знание жизни, она собиралась разрушить мистическую атмосферу, царившую в маленькой гостиной до ее прихода.

— Добрый вечер. Как вы тут? — Но они словно оцепенели и не смогли ничего ответить. — Ну и ночка! Не стоило вам приходить в такой вечер: все девочки заняты, все в спешке. Суббота хороша

для каменщиков. А вам приходить не стоило. Конечно, мы здесь всегда вам рады. Не знаю, как я все это выдерживаю! Люди становятся грубее. Ах, если бы все были такими, как вы! Вы и представить не можете, какие типы сегодня здесь побывали! Какая наглость, какой язык! Боже мой, какой язык! Все пьяные… Это тоже о многом говорит. Пить надо уметь, вы же понимаете. Не гожусь я уже для таких хлопот. Ух! Даже взмокла! Чаро, детка, принеси мне газировки с кухни!

— Секундочку, донья Луиса! — очнулась старушка и быстро поднялась с пола, уронив лежавшую у нее на коленях голову Матиаса. — Сейчас принесу!

В ее голосе слышался страх, который донья Луиса внушала всему персоналу.

— Неужто покинуло меня утешение моей старости? Неужто остались без посоха мои нетвердые шаги? Увижу ли когда-нибудь свет солнца? Увы мне, бедному Эдипу! Электра, дочь моя, не оставляй старика-отца! — Матиас пытался показать донье Луисе глубину своего сомнамбулического состояния.

— Наверное, все уже спят, — сказал Педро, чтобы не молчать.

— Да, все легли. Кроме тех, кто будет занят всю

ночь, и этой бедняжки, — любезно подтвердила донья Луиса. — Она вконец измотана, но очень уж любит это занятие.

— Да, это заметно.

— Заметно… Чаро не такая, как другие, не как девочка, которую вы видели раньше, — та высокая худая блондинка, кости просвечивают. Не помните? Она здесь, и ее как будто нет. Непригодна к этому делу.

— У каждого свое призвание.

— Та девочка даже в монахини не годится. А Чаро совсем другая.

— Ваша газировка, — подобострастно произнесла Чаро. — Я взяла самую холодную.

— Хотите? — предложила донья Луиса перед тем, как сделать первый глоток.

— Не беспокойтесь о нас, — ответил печальный Эдип. — Я ничего не чувствую и ничего не знаю.

— Почему вы столько пьете? — спросила донья Луиса.

— Потому что мы молоды, — ответил Педро.

— Тогда понятно.

— Если бы я не был пьян, разве я стал бы спать с этим небесным созданием?

— Молчи, дурачок!

И старушка вновь обняла своего обожателя, все

еще лежавшего на полу.

— Думаю, вам пора уходить, — сказала донья Луиса, обращаясь к более трезвому, но менее разговорчивому Педро. — Если не остаетесь на ночь, придется уйти сейчас. Уже четыре часа. Точно не хотите? — Она протянула ему бутылку с остатками газировки. — В этот час так жарко.

Педро поднялся с места:

— Пойдем, Матиас.

– *Dieu et mon Droit*[54], — ответил тот отказом.

— Нужно идти.

— Ладно, не спорьте. Уйдете, когда захотите. Только ведите себя прилично.

— Я такой, какой есть.

— Если бы это зависело только от меня… Но вы же знаете, у нас есть правила.

Тусклая лампочка погасла, и в маленькой комнате стало совсем темно — начиная с этого часа подачу электричества ограничивали.

— Опять отключили, — вздохнула донья Луиса. — Пойду схожу за светом.

В темноте послышались шарканье мягких тапочек и негромкий стук: донья Луиса постукивала по стенам костяшками пальцев, чтобы

---

[54] Примечания: 54

Бог и мое Право *(фр.)* — девиз английских, а затем британских монархов со времен Генриха V (1413–1422).

лучше ориентироваться.

Без света и без доньи Луисы маленькая гостиная, пропахшая блевотиной и апельсинами, снова стала идеальным местом для мечтаний.

— Я знал! Знал, что боги меня накажут! — с чувством воскликнул Матиас. — Настал час моей жестокой слепоты!

— О чем ты, милый? — спросила ненасытная Чаро, пытаясь в темноте отыскать губами его губы.

— Бедный Эдип! Никогда больше не видеть тебе солнца! Своими ногтями вырвал я оба глаза свои: правый — правой рукой, а левый — левой. Вот они в моих руках — еще теплые, но уже бесполезные. Электра, Электра, приди ко мне!

— Зови не зови, раньше шести не придет. Зато донья Луиса сейчас принесет свечи. Но у нас достаточно времени, чтобы сделать то, что мы хотим.

Педро воспользовался моментом и выскользнул из гостиной. Вдали брезжил свет, указывавший ему путь ко входной двери. Он ощупью добрался до лестницы. На каждом этаже можно было видеть живые картины в мерцающем свете: женщина провожает своего кавалера-на-час — левая рука все еще обнимает мужскую талию,

правая держит свечу, поднимая ее как можно выше, чтобы круг света увеличился и нога ступила куда нужно. Еще не отошедшие после кувыркания в постели, раскрасневшиеся и покорные, они вежливо прощаются, в то время как мужчины, мрачные и угрюмые, с пылающими ушами, уходят молча, запахнув поношенные плащи и не оглядываясь, словно их преследует проклятие и лишь черная холодная ночь может смыть его, как океан смывает и очищает все.

19

Ноги были как ватные. Тошнило. Было страшно даже подумать о том, что́ он оставлял позади. Он пытался забыть об этом. Говорил себе: это интересно. Успокаивал себя: во всем есть смысл. Убеждал себя: я не пьян. Думал: я одинок. Признавался себе: я трус. Чувствовал: мне холодно. Чувствовал: я устал. Чувствовал: во рту пересохло. Сожалел: почему я не жил? Почему не встретил женщину? Почему я не могу быть как другие? Желал: не быть одному, найти человеческое тепло, быть желанным, чувствовать рядом бархатистую плоть и родную душу. Опасался: завтра будет бесполезный день и я опять стану ругать себя за то, что напился. Опасался: я никогда не научусь жить, всегда буду за бортом. Надеялся: и все-таки не… все-таки я, возможно… Убеждал себя: я не виноват. Утверждал: зло есть, но это не только я. Утверждал: зло там. Вопрошал: кто объяснит, в чем заключено это зло? Размышлял, вспоминая: женщина, которая была там, но не должна там быть, поскольку она ни на что не годится, так что ее там как будто и не было. Язви-

тельно прощал: она не ангел не только потому, что у нее нет крыльев; ее единственная цель — разрушение. Ангел может восстать против своего бога, но этот полуангел восстает лишь против своей матери. Обвинял: она ужасная старуха, всего лишь ужасная старуха. Пришел к выводу: я несчастный человек.

Он двигался по пустынным, едва освещенным улицам. Встречавшиеся ему одинокие мужчины в надвинутых на глаза шляпах отворачивались и ускоряли шаг. Машин уже не было. Лишь иногда вдалеке проплывала бесшумная квадратная тень. Ночные сторожа ушли спать, и больше некому было помочь попавшим в беду. Возможно, за выступом дома на улице Рейна пряталась от ветра продавщица сигарет или нищий с тростью, от которого несло перегаром; он пытался заработать, используя методы, совсем непохожие на те, что применяет обычный попрошайка на церковной паперти. Смуглая, красиво причесанная женщина в каракулевой шубке предложила ему анис, как предлагают наркотик. Она улыбалась так, словно была готова в неурочное время предложить ему также другой товар. Но время было неурочным уже для всего, оставалось только поднять воротник пальто, сделать вид, что ты совсем

не устал и совсем не пьян, и шагать — быстро, очень быстро — к далекому пансиону на улице Прогресо. Пройти по слишком широкой и слишком хорошо освещенной улице Севилья, затем — с облегчением — свернуть в узкие переулки, где уже витают запахи фританги[55] и чуррос[56], которыми скоро начнут торговать героические уличные торговцы; чтобы добраться сюда к этому времени, им приходится ложиться спать в пять часов вечера. Благодаря материнской заботе хозяйки пансиона у него были свои ключи. Сначала огромным ключом — алюминиевой копией неподъемного железного оригинала, хранившегося у консьержки, — открыть тяжелую дверь подъезда, а после закрыть ее, нарушив тишину лязгом, который ночью, казалось, был громче, чем днем. Потом подняться на несколько ступенек, держась за прогнившие перила, нашарить на стене кнопку выключателя, убедиться, что это не кнопка дверного звонка; если остались сомнения, свет лучше не зажигать и поднимать-

[55] Примечания: 55

Фританга — общее название блюд, при приготовлении которых продукты обжариваются в большом количестве масла.

[56] Примечания: 56

Чуррос — жаренные во фритюре продолговатой формы изделия из сладкого заварного теста. Чуррос с шоколадом — традиционный испанский завтрак.

ся по лестнице в темноте, ведя рукой по стене — обшарпанной, грязной, изрисованной карандашами и испещренной загадочными надписями. И наконец войти, проявив чудеса осторожности. Главное — ухитриться открыть входную дверь с первой попытки. В нос сразу ударят знакомые резкие запахи дома: испарения кухни и прачечной, смешанное дыхание фармацевта и бездетной пары, дешевые духи прислуги и более дорогие — но мало чем отличающиеся от них — духи хозяйской внучки и духи старухи, аромат которых напоминает запах фиалок. Он снова дома. Прислоняется к дверному косяку и погружается в вязкое домашнее тепло. Все обитатели пансиона спят. Тихое сопение, слабое посвистывание. Храпа не слышно. Звуки спокойные, приглушенные, словно все прислушиваются, сдерживая дыхание, — ждут его возвращения. Здесь его место. Его простыни, его толстое одеяло, подушка, на которой ему опять придется спать; стакан с водой, которая наверняка уже стала мутной и похожей на бульон; его старые книги. Некрасивые и неудобные вещи — уродливая вешалка, сервант с ужасными фарфоровыми статуэтками, горшок с зеленым растением, вышитая салфетка на низком столике, обитый клеенкой

стул, на котором никто никогда не сидит, искусственный кактус, который не нужно поливать, потому что он из пластика, подставка для зонтов из позолоченного металла с греческими рельефами, стеклянный шар на подставке, скрывающий батарею отопления, которую включают один раз в году, на Рождество, — ждут его. Он видит их даже в темноте — он не зажигает свет, чтобы никого не разбудить, — видит мысленным взором. «Третий глаз», — думает он, еще плотнее закрывая два других, сейчас бесполезных. Но стоит векам сомкнуться, как воображение рисует волнующий образ спящей Дориты. Она в своей спальне. Упругое тело покоится на лучшем матрасе, какой есть в этом доме — старшая хозяйка разрешает пользоваться им лишь этому телу, и никакому другому. Тело, которое обычные глаза не могут увидеть — оно скрыто под простынями, одеялами, ночными рубашками и, возможно, каким-нибудь еще предметом одежды, надетом для тепла, — в воображении предстает таким, какое оно на самом деле. «Третий глаз» видит ее всю — она тянется к нему, полулежа в кресле-качалке, она ждет его, без устали раскачивая свое кресло.

В доме по-прежнему стоит тишина, плотная, словно невидимый футляр. Фиолетовый бархат

полутьмы так мягок, что, ударившись о дверной косяк, а потом о стол, Педро почти не ощущает боли. К тому же он помнит, что где-то здесь, в параллельной реальности и в его возбужденной памяти, ждет она. Образ юной девушки раздваивается, как стереоскопическая картинка: первый окуляр — череда ночных посиделок: многозначительное молчание, намеренные оговорки матерей, яркие разноцветные халаты — каждый раз новые — на юном цветущем теле; другой окуляр — неподвижное изображение того, чего он никогда не видел, обнаженного тела, подобного нераспустившемуся бутону. Зов его, словно безмолвный призыв сирены, слышится в мировой литературе, всегда эротичной, угадывается в лукавой усмешке официанта, в безвестной натурщице художника, писавшего розовых дам, в конвульсиях неоэкспрессионистского богомола, в округлостях вспотевшей мадам, в прощальном взгляде проститутки, тешащей себя напрасной надеждой. И это называется любовью? Неужели любовь — это случайный набор смыслов? Неужели любить — значит сделать некое символическое существо центром вселенной? Отказаться от собственной индивидуальности, чтобы обнажить другую, совершенно непости-

жимую реальность, которую мы тем не менее настойчиво пытаемся сделать частью нашего зыбкого существования?

Нет. Это не любовь. Он знает, что это не любовь.

Все вместе: впечатления, накопившиеся за эту гротескную ночь, магия знакомых предметов, домашнее тепло, еще не прошедшее опьянение и не нашедший выхода эротизм — могло подействовать лишь на одну из граней его личности, самую низменную и в то же время самую поэтическую. Так растения бесстыдно выставляют напоказ свои половые органы, эстетизируя непристойность и одновременно убеждая нас, животных: то, что представляется нам уродливым, на самом деле прекрасно и ради него можно забыть обо всех своих планах: о том, что мы хотели совершить что-нибудь важное, хотели двигаться вперед, хотели вырваться из унылой реальности этого города, этой страны и этого времени. Он не такой, как все. Он не имеет ничего общего с пассивными конформистами. Он живет в другом мире, и в этом мире девушке нет места уже потому, что у нее томный взгляд и тугая плоть. Он выбрал более трудный путь, и в конце его ждет совсем другая женщина, в которой важны не красота

и пышные формы, а свободный и смелый ум. Нельзя, подобно мухе, соблазниться этим полураскрытым цветком — в нем можно увязнуть.

Но когда его правая рука (та, в которой ему предстоит держать весь мир) уже собирается открыть дверь комнаты, обители ученого аскета, левая злорадно и сладострастно приоткрывает чашу желанного наслаждения.

Дорита почти не удивляется, чувствуя на своем теле нерешительные руки. Вздрогнув, она шепотом спрашивает:

— Это ты? Милый!

Педро опускается рядом с ней, уже не в силах понять, где тело, а где просто уютное тепло. Но Дорита тут же ранит его главным вопросом, который не может предварительно не задать ни одна женщина, даже если ее ранним утром собирается изнасиловать нерешительный пьяный мужчина: «Ты меня любишь?»

— Люблю! Люблю! Люблю! Люблю! Люблю! — повторяет Педро.

Его губы произносят, обещают, но какая-то часть его сознания еще светла, и через эту узкую щелку он видит, где-то далеко от себя и от нее, их тела — покинутые, одинокие, одержимые суккубами и инкубами, такие далекие, чужие,

потерянные… Но и там, в крохотном уголке, где затаились остатки свободного духа, его настигает величайшее из удовольствий, дарованных человеку, и его сопротивление длится недолго — он сдается, отказываясь от свободы. Он погружается в бездонную пустоту, плывет в ней, тонет, ищет, не находит дна у своего сна, но приходит в себя от ее слов:

— Тебе пора идти.

И возвращается тошнота от выпитого коньяка, наполняя рот соленой слюной. Но это еще не все. Обвив его шею горячими руками, Дорита целует его и задает главный вопрос:

— Ты всегда будешь меня любить?

— Всегда. Всегда. Всегда. Всегда.

Шатаясь, он выходит в темный коридор, полный знакомых вещей и запахов из спален, где старые тела продолжают ритмично вдыхать и выдыхать воздух.

20

Старуха не ошиблась в расчетах. Ловушка захлопнулась. Женственность обернулась коварством, когда плоть перестала быть плотью и превратилась в не поддающуюся описанию субстанцию. Сводня стала сводней, чтобы не умереть с голоду. Чтобы не пришлось снимать занавески с окон. Чтобы ей — благородной вдове — не пришлось мыть полы.

Охота куда лучше продажи или аренды. Мы получили его целиком. Теперь он в нашей власти. Он попался и никуда не денется. И сделает то, что должен сделать. Как хорошо, что я не спала! Старухи должны быть крепкими. Им не нужен сон. Зачем усталому телу спать, если вы уже не чувствуете разницы между усталостью и отдыхом? Зачем смыкать веки, под которыми набрякли синие морщинистые мешки, если вы все еще способны видеть в темноте и напугать того, с кем столкнетесь лицом к лицу и поймете: он знает, что вы все знаете, что вы все видели. Он такой наивный! Его плоть уже не на костях, а на лучшем в доме матрасе.

Ее собственная плоть тоже помолодела. Сейчас она была готова вновь испытать те же чувства, что и когда-то, пережить еще раз то, о чем до сих пор помнила и что могла себе представить. Наконец-то! Месть мерзавцу-танцору, этому полумужчине! Возмездие толстому банкиру в очках, умелому оценщику товара! Наконец-то! Радуйся в своей могиле, высокомерный вояка, любитель шлюх, собиратель фотографий с голыми аборигенками, отравивший кровь собственной жены, виновный в том, что дочь опозорена, а жена едва не спилась! Смейся, потому что твоя пошатнувшаяся репутация теперь восстановлена и твое имя, больше не запятнанное, будет передаваться из поколения в поколение, заверенное печатями и подписями свидетелей.

* * *

— Доброй ночи! — услышал он надтреснутый голос старухи. — А который час?

— Да… я… уже очень поздно… спокойной ночи.

И он захлопнул дверь своей комнаты чуть резче, чем следовало бы. Красный, с горящими щеками и трясущимися руками, он злился на самого себя и сгорал от стыда перед старухой, перед всем миром, перед самим собой и перед будущим,

где будут соседствовать неоткрытые виды рака и девушки, мимоходом и в нарушение его собственных правил лишенные девственности.

Он задвинул щеколду. Наконец-то он один. На мгновение им овладела радость торжествующего самца, он почувствовал себя петухом, взлетевшим на забор и посылающим свое пронзительное «кукареку» бескрылым животным, которые кружат внизу и насмешливо смотрят на него: коту, лисе, опоссуму. И что значит это «кукареку»? Да я же пьян! А как там она? Спит. Уснула. Она спала и так и не проснулась до конца. Это был лишь сон, сладкий сон. Она спит, а я — почему я здесь? Что за кукареканье и вой на луну? Зачем думать о том, что я сделал? Зачем злиться на пылающие щеки, на проклятый коньяк, из-за которого у меня до сих пор отрыжка, на всю эту ужасную ночь? Зачем? И зачем я это сделал? Ведь я всегда считал, что любовь — это ясность, понимание, знание. А теперь стою тут пьяный и кукарекаю. Я похож на убийцу с окровавленным ножом в руках. Или на матадора, который вонзает шпагу один раз, а потом в ночных кошмарах вынужден вонзать ее снова и снова, и так всю жизнь. Даже если ему прикажут перестать, даже если на арену выедет поливальная машина, он будет вонзать шпагу в

быка, а бык, вместо того чтобы умереть, станет расти, расти, расти и наконец лопнет, забрызгав матадора своей черной материей. А люди будут смеяться и требовать возврата денег за билеты.

Налил в таз холодной воды из кувшина. Ополоснул лицо. Намочил всю голову. Посмотрел в маленькое треснувшее зеркало. Потряс головой. Вода стекала с блестящих черных волос, попадала под ворот рубашки. Снял красно-синий галстук в косую полоску, который так и не ослабил за всю ночь; тот упал на пол. Образ прекрасной Дориты по-прежнему не выходил из головы, но она представлялась ему не любимым или потерянным существом, а существом обезглавленным. Она осталась там, в своей спальне, их разделяла лишь перегородка, соединяло же глупое происшествие, которое не стоило бы даже принимать во внимание, но которое теперь неизбежно будет его преследовать. Голова плыла, словно отрезанная, над изголовьем кровати. Она была так прекрасна! Она спала. Все в ней было естественно. Она ждала, сидя в кресле-качалке, и ее ничем нельзя было удивить.

Он еще раз ополоснул лицо водой. На рассвете нет ничего лучше холодной воды. Голова сразу делается ясной, все возвращается на свои места.

Вода снимает похмелье. Лоб снова становится лбом, а не крепостной стеной, которую пробивают тараном. Холодная вода. Примитивные снадобья: паутина на рану, простыня между ног, слюна на место укуса, распластанный голубь — при воспалении легких, пиявки при апоплексии, клизма при коликах… очистительные ванны, крещение, воскрешение мертвеца, упавшего с повозки, когда его перевозили через реку, Силоамская купель, горбатая девочка с болезнью Потта, погружающаяся в целебные воды грота Лурдской Богоматери, тавроболий[57], река Иордан с раковиной, добытой из моря, которое не мертво, голос с Небес, говорящий: «Это Сын Мой возлюбленный»[58], дождь, дождь. А в этом городе никогда не бывает дождя. Здесь нет воды. В какой реке утопиться, если спрыгнувший с виадука самоубийца падает на римскую черепицу? Виадук самоубийц[59] — совсем рядом с тем местом, где

---

[57] Примечания: 57

Тавроболий — обряд жертвоприношения быков, введенный в Риме в связи с распространением культа сирийских и персидских божеств и в особенности персидского бога солнца — Митры.

[58] Примечания: 58

Евангелие от Матфея, 3: 17.

[59] Примечания: 59

Имеется в виду виадук Сеговии — место, которое часто выбирали для сведения счетов с жизнью. В овраге под ним находились старые дома с черепичными крышами.

должен был бы стоять собор[60].

Вот и я, возбужденный, как мыши Муэкаса во время течки, ласкаемый шлюхами, балуемый старухами, обкраденный, оставшийся без подопытных мышей, размышляющий над проблемами рака, и при этом — друг литераторов, живущий в скромном пансионе, напивающийся субботними вечерами, зависящий от этакого мешочка на шее, государственной зарплаты. Но все это до тех пор, пока не обрушится на меня дамоклов меч президентского указа, и я, как человек чести, выступающий за защиту семьи и *status actualis situationis*[61], выполню свои обязательства и позабочусь о том, чтобы все, чему предстоит свершиться, свершилось по всем правилам, установленным для блага человека и народов теми, кто в далекой средневековой ночи, обнажив сабли, изгнал мавров с полей Толедо и из низин, где они начали возделывать сады, и приступил к созданию новой нации, избранного народа, стерильных городов без садов и огородов, где человек столетиями питается духом и чистым воздухом. Во веки веков. Аминь. Еще воды, еще,

---

[60] Примечания: 60

Имеется в виду недостроенный собор Альмудена (см. примеч. на с. 20).

[61] Примечания: 61

Текущее положение дел *(лат.)*.

чтобы смыть воспоминание об этих губах. Вода приходит из далеких гор по длинным каналам, и множество людей там, на севере, трудятся в поте лица, чтобы она пришла такой вот чистой, чтобы не повлияла плохо на живущих здесь мужчин, не отняла у них желания командовать и приказывать, не превратила их головы в губки. Чтобы эти мужчины всегда оставались прозорливыми и воинственными, были готовы взбодрить мечом вялые инертные тела далеких вице-королевств. Вода не для помывки, только для питья; вода, которая не обволакивает, подобно туману или облаку, а проникает в тело через мелкие поры, чтобы очищать, но не пропитывать насквозь, чтобы не утолщать кожу, чтобы не огрублять жесткий, почти роговой профиль засушливой империи.

И он пил эту воду, словно был орлом, которому предстояло лететь в далекие края.

21

Та субботняя ночь была на редкость богата событиями. Она растянулась, словно резина, и прихватила часть воскресного утра, заразив и его субботним духом. Педро не успел лечь, он все еще смотрел в треснувшее зеркало на свое лицо, освеженное кастильской водой (а может быть, только что упал, не раздевшись, на неразобранную постель или лежал, уже раздетый, пытаясь бороться с похмельем или думая о Дорите — о ее теле, которое ему довелось больше осязать, чем видеть), когда обитателей пансиона разбудил громкий стук во входную дверь — видимо, кто-то из полуночников забыл запереть дверь подъезда, — и уже через минуту хозяйка в сопровождении служанки появилась в комнате Педро. Вместе с ними вошел посланец ночи, потребовавшей от Педро вернуться в ее грешное лоно, поскольку уготованная ему одиссея еще не была завершена. Тот, кому доверили передать этот приказ, счел поручение достаточно важным, чтобы, преодолев множество препятствий — неурочный час, расстояние, запертые двери, — выполнить его и

ворваться в убежище изнемогавшего от усталости Педро. И был это не кто иной, как Муэкас.

— Дон Педро! Ради всего святого, дон Педро! — прокричал он.

Голос его срывался, лицевые мускулы ужасно дергались. Педро снова почувствовал себя доном, хотя, как ему казалось, за эту ночь он утратил право на такое обращение.

На лице Муэкаса-мужчины был написан ужас Муэкаса-родителя, отца двух дочерей, жизнь одной из которых была сейчас в опасности, и сердце его разрывалось от боли; и ради ее здоровья, ради спасения ее жизни он, прибегнув к различным механическим средствам перемещения, начиная с ржавого велосипеда, принадлежавшего соседу, и кончая такси (водитель уже закончил работу, но Муэкас уговорил отвезти его, объяснив, почему эта поездка — вопрос жизни и смерти), явился сюда.

Причиной, побудившей Муэкаса искать новой встречи с мудрым и благодетельным покровителем доном Педро, была необходимость просить ученого вновь протянуть руку помощи несчастному семейству Муэкаса, главным богатством которого были две его дочери. Интерес, проявленный вышеупомянутым многомудрым доном

к разведению мышей, ставшему возможным благодаря этим самым девочкам и их природному теплу, позволяет надеяться на то, что и здоровье этих инкубаторов, ценных для науки пород, высокочтимому дону Педро тоже небезразлично. И он, Муэкас, решился побеспокоить такого уважаемого человека в его богатом доме и причинить неудобства хозяйкам, которые, как он прекрасно понимает, имели полное право испепелять его взглядами, наказывая за дерзость, — что, должно быть, абсолютно нормально и естественно в тех кругах общества, с обычаями которых он, Муэкас, очень мало знаком, — только по причине большой потери крови у старшей из тех, что должны послужить ему утешением в старости; из-за отсутствия жизненно важной жидкости она сейчас лежит вся белая и дрожит, поддерживаемая лишь сестрой и матерью, которые тоже не знают, что делать в таких случаях, и их помощь сводится к обвязыванию больной шнурками святого Антония, ограждающего от болезней, прикладыванию к вискам ломтиков сырого картофеля, приготовлению сока из сельдерея, бесконечному чтению молитв и попыткам остановить кровь наложением рук. И хотя в непосредственной близости, несомненно, можно

было бы найти практикующего врача, повитуху, цирюльника или еще какого-нибудь специалиста — неподалеку от просителя жил один знающий человек, который понимал в таких делах, — но серьезность положения дочери и глубокая привязанность к ней не позволяли Муэкасу прибегнуть к помощи этих профессионалов, не озаренных тем высоким светом, который, несомненно, освещал внутричерепные полости такого блестящего исследователя, как присутствующий здесь…

Педро уже натягивал нейлоновые носки, собираясь по велению сердца продолжить свои ночные странствия. Он сознавал, что нужно спешить, что с каждой минутой единственные две простыни, имеющиеся в доме, все больше набухают от крови несчастной девушки, которой становится все труднее дышать. Гораздо разумнее было бы обратиться в пункт неотложной помощи, дежурное отделение какой-нибудь больницы или любое другое учреждение — из тех, что заботливое общество создает для помощи самым обездоленным из своих детей. Муэкас знал, что в подобных местах обучаются и начинают практиковать многие из тех сукиных сынов, которые впоследствии становятся знаменитыми мастерами ножа и иголки, но пока они совсем зеленые,

а в субботнюю ночь полагаться на них вообще опасно. А потому он, не колеблясь, решил довериться рукам дона Педро, который, вне всякого сомнения, найдет способ справиться с последствиями длительного кровотечения в условиях гораздо меньшей стерильности, чем в любом из вышеперечисленных мест.

Но если сам дон Педро полагает, что со стороны отца было ошибкой или даже злым умыслом выбрать для спасения дочери основателя новой, еще не сформировавшейся науки, необязанного заниматься такими низменными вещами, как непосредственная помощь представителям низших классов сообщества (а именно об этом и просил Муэкас), пусть он обрушит на этого бесчестного отца и недостойного слугу свой справедливый гнев, чтобы потом поразмыслить о ранее согрешившей, но теперь умирающей девушке, судьбу которой этот безрассудный отец осмелился взять в свои неумелые и грязные руки, и из незаслуженной любви, христианского милосердия или просто по доброте душевной снизойти к ее страданиям и отправиться туда, где в этот час плавает в луже крови ее пока-еще-не-труп.

Напротив подъезда урчало, сжигая дорогое топливо, доставляемое из-за океана, такси с невы-

ключенным мотором. Автомедон[62], которого нечестивец и голодранец Муэкас за баснословные деньги, рискуя вконец разориться, уговорил дождаться его, стоял тут же, в компании ночного сторожа, которому несчастный отец наверняка тоже дал на лапу, и пары-тройки зевак из тех, что ни днем ни ночью не упустят случая сунуть нос в чужие дела. Одним из зевак оказался возвращавшийся с работы пекарь, и белое пятно его одежды было здесь, по мнению присутствующих, совершенно неуместным, но что поделаешь — таковы люди. А насчет того, хватит ли хирургических инструментов, шовного материала и перевязочных принадлежностей, дону Педро беспокоиться не нужно, поскольку своевременный телефонный звонок мобилизовал дальнего родственника, имеющего отношение к науке — гордость семьи, всеми любимого Амадора, — и в эти минуты он уже пересекает ночное мадридское болото, торопясь в институт (ключи у него есть), где он возьмет все необходимое. Если эти материалы пригодны для собак и других высших животных, что служат науке, они подойдут и для представителей семейства недостойного Муэкаса, который

---

[62] Примечания: 62
Автомедон — знаменитый возница Ахилла.

еще раз просит простить его за дерзость.

Поскольку поведение и быстрые сборы дона Педро явно свидетельствовали о том, что он готов следовать за Муэкасом к ложу его страждущей дочери и покончить со всеми болезнями, какие только есть в мире, благодарному отцу оставалось лишь с радостным криком подбросить вверх свою пыльную кепку.

22

Картучо колобродил так, словно единственный шабаш ведьм проходил теперь не в Сан-Маркосе, Рейне, Вилларосе, Тудескосе или Эчегарае, а в местах настолько бедных, что несколько жителей, сложив все свои сбережения, не наскребли бы и на один жетон в мадридском борделе. В местах, где всем заправляет голод, который сильнее страха смерти, который движет людьми и днем и ночью. Прячась в закоулках, Картучо наблюдал за тем, как по колдобинам, которые здесь считались дорогой, движутся — будь он проклят! — тени, и ему казалось, он знает, куда — будь он проклят! — они направляются и что — будь он проклят! — всех их интересует товар, на который, по его мнению, он имел исключительные права. Но полной уверенности не было, поэтому он зашел в убогое питейное заведение, которое здесь играло роль таверны, и стал накачиваться анисовой водкой, а когда денег почти не осталось, перешел на орухо.

— Что там делается у Муэкасов? — спросил он у того, кто исполнял обязанности официанта,

но был не в смокинге, а в вельветовой куртке с поднятым воротником из черного меха.

— Что-то у них стряслось, — ответил меховой воротник. — Недавно *этот* приехал.

Картучо не спросил, кто такой «этот», но заволновался еще больше, когда округлая жена Муэкаса выкатилась на улицу, что-то визжа и непонятно к кому обращаясь — наверное, к Богу-Слушающему-Женщин, — а затем вернулась в лачугу вместе с другой толстухой, которую Картучо не знал. Потом явилась еще одна. И все они исчезли внутри лачуги, где наверняка уже не осталось места ни для людей, ни для мышей.

— Все. Мое терпение лопнуло, — заявил Картучо псевдоофицианту. — Пойду разберусь.

— Оставь их в покое. Без тебя справятся, — остановил его разливатель орухо. — Это не твое дело.

— Ты меня учить вздумал?

— Успокойся.

— Они меня довели.

— Флорита не твоя.

— Не родился еще тот, кто будет мне указывать.

Пора было закрываться, и человек в вельветовой куртке начал складывать в деревянный ящик, служивший одновременно прилавком,

реквизит заведения — десять бутылок, шесть стаканов и один бокал, — объявив, что собирается выключить чахоточную лампочку.

— Она у меня всю выручку съедает.

Картучо, не отрывая глаз от французского окна с кроваво-красной надписью «Таверна», спокойно приказал:

— Не выключай.

Прошло достаточно времени, прежде чем Картучо вернулся на прежний наблюдательный пункт. Одной рукой он поглаживал наваху в кармане, другой — согревал (было холодно, и у него все замерзло) свое мужское достоинство. «Достали…», «Не родился еще…», «Пусть только попробуют мне ее изуродовать…», «Узнаю кто — прирежу», «Муэкас, может, и зверь, но я…», «Проклятье! Проклятье! Проклятье!». И снова ужасные проклятия, и отрыжка после орухо, и мысли о Флорите. Он вспоминал ее нежную кожу — она была нежной, и он прекрасно это помнил, потому что его не знавшие труда ладони тоже были не шершавыми от цемента, как у дураков, что работают на других, а нежными, как у младенца, и хорошо чувствовали, что мягкое, а что нет. Вспоминая о том, как он ласкал тело Флориты, которое ему так и не довелось увидеть,

Картучо возбуждался, и рука между ног начинала двигаться еще быстрее. «Прирежу того, кто ее обрюхатил, ясно же, что ее обрюхатили, а теперь пытаются исправить это дело. Но ребенка ей заделал не Картучо, так что, если они сейчас его не вытащат и он там застрянет, то этот чертов священник останется без лица».

Была еще глухая ночь, но вдалеке, слева, уже обозначилась едва заметная розоватая полоска, безнадежно соперничавшая с сиянием, которое заливало находившийся справа город, словно для того, чтобы были лучше видны все совершаемые в нем грехи. Воздух был настолько чистым, что проникал глубоко внутрь, прохладно щекотал затылок и шею, холодил грудь. Но для мужчины такой воздух — друг, ему достаточно вдохнуть поглубже и, не разжимая губ и сдвинув брови, ждать, пока туман не рассеется и все, что пока непонятно, не прояснится.

23

В последнее время шведские архитекторы, проектируя операционные, придают им форму шестиугольника или даже круга, что облегчает передвижение вспомогательного персонала и дает возможность быстро подносить хирургам материалы и инструменты. Но помещение, где лежала Флорита, совсем не походило на такие операционные. Это был вытянутый прямоугольник с потолком, высота которого постепенно снижалась от одного конца комнаты к другому. У почти-роженицы не было ни никелированного стола, ни стола из нержавеющей стали с опорами для бедер, позволяющими пациентке принять позу, предпочитаемую почти всеми гинекологами, а был деревянный стол, сбитый из ящиков, которые когда-то использовались для перевозки цитрусовых, а позднее служили основанием кровати. Лежавшие на нем пружинный матрас и простыни набухли от крови. Бестеневую хирургическую лампу успешно заменили двумя ацетиленовыми, источавшими запах пороха и леса, более приятный, чем запах эфира и

двуокиси азота, и дававшими, несмотря на присутствие множества постоянно перемещавшихся посторонних людей (ни на одном из которых, к великому сожалению, не было медицинской маски), достаточно света. Поскольку пациентка была здоровой самкой толедской породы, наркозом можно было пренебречь: он отравляет пациенток и те впадают в забытье. Именно в этом заключается близость к современным канонам, согласно которым рефлексотерапия, занятия по подготовке к родам, расслабляющая гимнастика для мышц промежности и сжатие челюстей в трудные моменты иногда позволяют достичь прекрасного результата: крика без боли. Невоспитанная девица, вместо того чтобы издавать тихие, слабые вздохи, лишенные эсхатологического смысла, выкрикивала грязные ругательства, что еще больше огорчало столпившихся вокруг нее людей, которых, в зависимости от применяемых критериев, можно было разделить на «родственников» и «не родственников», «членов семьи» и «не членов семьи», «специалистов по прерыванию беременности» и «людей, не сведущих в абортах», «соседей, тоже родом из Толедо» и «приезжих из других районов засушливой Испании», «высоконравственных личностей» и «циников,

полагающих, что такова жизнь», «женщин, объединенных чувством солидарности» и «мужчин, объединенных желанием увидеть груди пациентки»; наконец, на «тех, кому было доподлинно известно, что Муэкас готовился стать отцом-дедом» и «тех, кто об этом лишь догадывался».

Вместо того чтобы принять описанную выше позу, способствующую исторжению содержимого матки, девушка лежала, свернувшись клубком, на матрасе. Ее крики становились все более слабыми и все менее осмысленными. Прошло уже несколько часов с того момента, как Маг Иглы начал операцию. С самого начала все пошло не так. Вероятнее всего, Маг неправильно выбрал траекторию движения инструмента, или кончик иглы из-за слишком частого использования утратил свою столько раз доказанную эффективность. А возможно, виной всему был возраст пациентки — она была слишком юной, и ее ткани оказались намного более эластичными, чем те, с которыми Маг привык иметь дело. А может быть, сокращения матки, которые обычно помогали в таких случаях, на этот раз расширили кровоточащие вены и вызвали ритмичные боли, сопровождавшиеся громкими стонами и криками. Хуже всего было то, что Маг очень расстроился из-за своей

неудачи (к тому же ему стало стыдно) и отказался продолжать начатое, заявив — в духе лучших медиков семнадцатого века, — что дальше природа должна справиться сама. Духи, к которым он обращался, снизошли к его просьбам, но взялись за дело слишком рьяно.

Прежде чем заявить о том, что он передает дело в руки природы, Маг сделал попытку дополнить разрушительное действие иглы еще несколькими проверенными средствами. Он велел толстой супруге Муэкаса сесть на живот дочери, надеясь таким образом достичь сразу двух целей: получить необходимую тяжесть и соблюсти приличия. Завязав на тонкой талии девушки веревку, Маг начал обвивать ею живот, спускаясь от пупка к пышным бедрам и делая каждый новый виток туже предыдущего. Потом, сняв веревку, начал быстро, энергично двигать обеими руками сверху вниз, массируя нужную область, пока не выдавил остатки экскрементов и скопившуюся мочу. Он дал пациентке выпить горячее питье, приготовленное по секретному рецепту и обжегшее (правда, несильно) нёбо ни-матери-ни-девственницы, полил холодной водой ее живот и окатил нижнюю часть бедер горячей водой с добавлением горчицы. После

чего, вспотевший, но не побежденный, объявил, что вытащит плод рукой, но потерпел очередную неудачу, и это вызвало гнев супруги Муэкаса, чего прежде с ней никогда не случалось, а самого Муэкаса побудило немедленно отправиться на поиски спасителя.

Супруга Муэкаса все же позволила положить между ног дочери зеленую веточку фенхеля, запах которого привлекает ребенка. Но вскоре зеленая веточка потеряла цвет, или ее утащили, или маленький ребенок во чреве еще не умел чувствовать запахи. Не возражала она и против молитвы, обращенной к святой Аполлонии, — эту молитву знала наизусть одна старушка, которая, по ее словам (на самом деле она все придумала), в молодости была ризничей. В силу своего преклонного возраста старушка уже не помнила, что эта молитва помогала при зубной боли. Помимо этих остатков примитивной медицины, характерных для анимистических обществ, применялась терапия, указывавшая скорее на активистско-эмпирическое *Weltanschauung*[63], свойственное охотничьим и скотоводческим народам и, следовательно, весьма подходящее

[63] Примечания: 63
Мировоззрение *(нем.)*.

для племенного хозяйства лачуги. Неудача Мага могла быть объяснена только фатальным стечением обстоятельств. Разве в самых современных больницах, которыми гордятся промышленные города Северной Америки, не бывает летальных исходов — смертей, иногда мучительных и неожиданных? Да. Они случаются даже там. Даже там, несмотря на дюралюминий и кобальт, умирают девушки, которых перед этим убеждали (а вместе с ними и их любящих матерей), что никакой опасности нет и что такая операция — минутное дело.

Прибыв на место, дон Педро прежде всего велел освободить помещение от посторонних, как требуют правила, и поставил инкубатору для подопытных мышей диагноз — было очевидно, что девушка потеряла очень много крови. Пока они ехали, он лелеял надежду, что сожительство отца с дочерью могло привести к вирусному заражению, и даже пожурил джентльмена-фермера за способ, каким он увековечил свой род. Но представшая глазам картина ошеломила его. При виде девичьей крови — второй раз за ночь — его затошнило. Он все понял, и ему стало страшно. Объятый гневом, он обернулся к Муэкасу, чтобы сказать ему: «Мерзавец!», или крикнуть: «Вы-

зывай неотложную помощь!», или потребовать: «Переливание!» — но тут открылась дверь и вошел Амадор: он принес инструменты, с помощью которых Педро, несмотря на отсутствие опыта, должен был выполнить свой долг. Он склонился над неподвижной девушкой. Она больше не кричала. Спала или была мертва. Он обнажил ее грудь и приложил к ней фонендоскоп. Следы от мышиных укусов еще не зажили. Сердце билось — еле слышно. Вынув из ушей оливы фонендоскопа, он стоял в нерешительности, не зная, что делать.

Амадор подошел и прошептал ему на ухо:

— Надо делать выскабливание.

Он был прав.

24

Прежде всего нужно было придать телу правильное положение, чтобы расширить шейку матки, которую предусмотрительная природа сделала узкой, а потом кюреткой вычистить матку изнутри. Выскабливание сопровождается грубым, царапающим звуком, который, по-видимому, указывает на то, что разорванный материал — не мягкий и живой, а жесткий, древесный, каменистый. Этот звук каждый раз напоминал Педро о том, что и сама девушка, пока еще живая, в любую секунду могла стать неживой. Кровотечение могло прекратиться как в результате успешной терапии, так и вследствие полного истощения вен. Работая, он хотел видеть лицо умиравшей и то и дело спрашивал Амадора:

— Есть пульс?

Амадор, натренировавшийся на собаках и мышах, держал четыре толстых пальца на хрупком запястье мертвой девушки. Пальцы не ощущали никаких толчков, но он утвердительно кивал, и обнадеженный дон Педро продолжал работу.

«Трубные углы, трубные углы», — повторял он про себя, вспоминая то, что изучал когда-то: именно в этих углах могли находиться остатки живой, не материнской, материи, которые впоследствии начинают разлагаться и становятся причиной новых опасных кровотечений и воспалений. Инстинкт, вопреки кивкам Амадора, подсказывал Педро, что его дотошность, тщательное исследование всех уголков, через которые жизнь покидает свое первобытное логово, уже бесполезны. Бедра девушки опали, как большие лепестки, и тонкая струйка крови иссякла.

— Есть пульс? — снова спросил он, и Амадор, не осмелившись на этот раз солгать, ответил:

— Продолжайте, продолжайте. — И повторил: — Продолжайте, осталось уже немного.

Амадор верил, что дону Педро будет спокойнее, если в оставшиеся ему дни, месяцы и годы он, вспоминая эту ночь, будет думать, что действительно сделал все, что мог, и так, как полагается. Поэтому дон Педро старательно и осторожно, словно орудовал не инструментом, а собственным пальцем, проверял, не осталось ли в бархатистой слизистой оболочке, из которой шла кровь, какого-нибудь фрагмента, который мог стоить жизни — если она еще теплилась в ней

— мертвой девушке. Время шло, а он все проверял темную внутреннюю поверхность, представляя себе полость, теперь уже чистую, прислушиваясь к треску рвущейся материи. Мертвой девушке было не больно, и она равнодушно позволяла делать с собой все, что угодно, удовлетворяясь скромной ролью учебного пособия для человека, который когда-то прилежно изучал теорию, а теперь впервые должен был применить ее на практике. Кивки Амадора не могли обмануть Педро. Он все понимал («В следующий раз я справлюсь лучше», «Вовремя сделанное переливание крови могло ее спасти»), но машинально продолжал выскабливание, а закончив его, сделал тампон из чистой марли, предназначенной для мышей, наложил повязку, вытер руки, придал телу девушки более пристойную позу и повернулся к ее матери, которая наблюдала за его действиями. Потом перевел взгляд на Амадора. Все ждали знака: ждали, что у него изменится выражение лица, что он швырнет инструменты на землю или разразится проклятиями и это станет сигналом для хора плакальщиц…

— Когда я приехал, она была уже мертва, — было первое, что он сказал.

Все знали, что это неправда, и он сам покраснел

от стыда. Этими словами он хотел смягчить гнев матери, но та была рождена не для ненависти. Она даже попыталась утешить его.

— Вы сделали все, что могли, — сказала она ему, прежде чем закричать, повалиться на труп дочери и начать целовать ее губы (чего, наверное, не делала с тех пор, как кормила малютку грудью — после кормления на детских губах оставался вкус ее собственного молока), прежде чем ударить стоявшего рядом с ней мужчину и расцарапать ему лицо: сегодня он позволит бить и царапать себя, а завтра опять почувствует себя хозяином в доме и начнет помыкать ею.

25

Когда мать начала кричать, вместе с ней запричитали и все плакальщицы. Всегда готовые к ранним несвоевременным смертям, они, заранее одевшись в черное, набились в помещение, где лежала умершая девушка.

— Негодяй! — крикнула одна из них хирургу, вздымая сжатые кулаки, словно хотела его ударить, и уже почти дотянулась до него, но ударила по лицу не его, а себя. — Что ты сделал с моей Флореситой?

— Посмотрите на нее! Она как ангел! — воскликнула женщина с засученными рукавами, — возможно, она считала себя причастной к созданию этого шедевра, поскольку помогала Магу производить его манипуляции.

Действительно, утратив излишнюю упругость, причинами которой были юность и грубая пища, бедняжка похорошела. «Как будто спит…» — произносил то один, то другой из собравшихся, пока обезумевшая от горя мать повторяла без остановки: «Дочка! Дочка! Дочка! Дочка! Дочка!» Слова вырывались из ее рта, как икота; расцарапав

лицо Муэкасу и сказав доктору то, что полагалось сказать в этом случае, она предалась безысходному отчаянию.

Муэкас, как всегда рассудительный и спокойный, регулировал поток любопытствующих и для большего удобства вынес в прихожую одну из ламп, служивших для освещения «операционной». Потом, решив, что света оставшейся лампы недостаточно, зажег еще две стеариновые свечи — всего должно быть в достатке, все погребальные почести должны быть возданы. Потом он начал снимать со стен любовно обустроенные им мышиные клетки-дворцы и выставлять их на улицу, не заботясь о том, что у некоторых мышей из-за утренней прохлады прервется беременность.

Закончив плакать, женщины расселись на полу и начали тихонько бормотать молитвы, а помощница Мага и еще одна, тощая, как нитка, начали заворачивать покойницу в саван.

Педро и Амадор наблюдали за всем этим с некоторым изумлением, еще раз убеждаясь в том, что смерть не изменяет все непоправимо и навсегда, что после того, как она свершилась, достаточно предпринять необходимые шаги, и жизнь вернется в привычное русло. Однако *эта* смерть

была для Педро и Амадора не только человеческой трагедией, но и технической проблемой. Дон Педро все еще сжимал в руке подозрительный металлический инструмент, а Амадор держал вскрытую упаковку стерильной марли. «Дочка, дочка, дочка» безутешной матери превратилось в глухое бормотание, похожее на звук работающего мотора или шум водопада, к которым быстро привыкаешь и перестаешь замечать, а когда ее вывели из дома на заваленное расплющенными жестяными банками, асбестовыми плитами и украденными со строек досками пространство, что служило здесь улицей или площадью, голос матери перестал быть слышен. Муэкас не смотрел в глаза дону Педро. Он даже не сказал ему (хотя лучше жены знал, когда и что следует говорить) «вы сделали все, что могли», а его младшая дочь, напротив, неотрывно смотрела на отца и обеими руками прикрывала свой живот, словно хотела защитить его от беды. Она не плакала. Смотрела на отца, который так деловито всем распоряжался, пока он не обратился к ней:

— Принеси попить сеньору доктору.

Она принесла тот же горьковатый, чуть подслащенный холодный лимонад, и Педро с жадностью его выпил.

— И мне принеси, — попросил Амадор, и она принесла.

Дон Педро не уходил: он чувствовал, что нужно сделать что-то еще. И наконец вспомнил, что именно.

— Кто делал аборт? — спросил он Муэкаса.

— Но, сеньор доктор… вы же сами видели… Вы сами сделали то…

— Кто делал аборт?

Женщины перестали молиться и пристально смотрели на Педро. Укутанная в саван покойница присутствовала при этой сцене. Двое или трое мужчин, до этого безучастных наблюдателей — они не помогали и не плакали, — тихонько покинули помещение и исчезли.

— Кровотечение у нее началось, — произнес Муэкас, — по воле Божьей. Никто ее не трогал, кровь сама начала вытекать. Сначала понемногу, потом все больше, потом хлынула рекой. Потому-то я и отправился за вами, сеньор доктор. Сам-то я невежда, ничего в этом не смыслю. Я только видел, что ей плохо, и она сама это говорила. Бедняжка истекала кровью.

Младшая дочь по-прежнему в упор смотрела на Муэкаса. Рот у нее открылся, губы дрожали, дыхание стало быстрым и прерывистым, кожа

побледнела. Вдруг она резко поднялась и с перекошенным лицом бросилась к отцу:

— Это вы! Это вы! Вы, отец! Вы тот, кто…

Пощечина Муэкаса повалила ее на пол. Упав, девушка начала кричать еще громче, но постепенно крики сменились невнятными жалобами, она забилась в конвульсиях, и все кончилось ужасной истерикой: девушка царапалась, кусалась, рвала на себе одежду, обмочилась, а Муэкас в бешенстве пинал эту живую дергающуюся массу, не в силах остановить припадок. Дон Педро наконец выпустил из рук никелированный инструмент, запачканный красным, быстро вышел из лачуги и зашагал прочь. Он словно пытался убежать от этой ночи и от всего, что с ним приключилось. Он хотел спать. Хотел остаться один. Забраться в теплую постель, где больше не будет никого и где, проснувшись утром, он поймет, что все события этой ночи — просто сон, длинный и слишком яркий, похожий на те, что снятся после хорошей дозы алкоголя людям, не привыкшим пить.

Светало. За углом соседней лачуги, утешаемая другими женщинами, плакала изгнанная мать. Плакала без слез, повторяя прерывистое «дочка, дочка» и не замечая быстро удалявшегося при-

стыженного врача. Холодный воздух и утренний свет резали глаза. В этом свете лачуги казались розовыми, словно на несколько минут — пока солнце не поднимется высоко и не явит их истинный неприглядный вид — украсились перламутровым блеском. В конце улицы его ждало такси. Он сел и назвал адрес. Машина тронулась, и он не услышал, как Амадор, выбежав из лачуги Муэкаса, кричит ему: «Дон Педро! Дон Педро! Свидетельство…»

26

Он проспал до обеда. Хозяйки следили, чтобы никто не нарушал тишины. Дорита тоже залежалась в постели. Пока ее глупая мать ходила к мессе, а потом, возможно, гуляла по Пасео-дель-Прадо и даже пропустила в одном из киосков парка Ретиро рюмку вермута в компании старой подруги, с которой они вспоминали былые времена, бабушка осторожно вошла в спальню, где накануне побывал Педро, и долго шепталась с внучкой. Расспрашивала, выслушивала — где-то улыбнувшись, где-то всплакнув, — давала советы, но делала все это со сдержанностью мудрой женщины, знающей примитивные мотивы поведения мужчин и способной довести начатое до благополучного конца, если только ей не встретится какой-нибудь безнравственный цыган-танцор или женщина, пристрастившаяся к рому «Негрита» и не умеющая пускать в ход свои чары.

Подошло время обеда, вернулась домой болтушка-мать, и, после того как обитатели пансиона покончили с картофелем фри, а те, кому поз-

воляли финансы, даже с креветками на гриле, старшая хозяйка строго-настрого приказала членам семьи, прислуге и пансионерам не шуметь и не нарушать покой того, кто ночью был вызван для проведения срочной операции и теперь восстанавливал свои драгоценные силы, чтобы завтра продолжить блестящую профессиональную карьеру — для чего, как она полагала, ему следовало немедленно бросить отнявшие у него много времени исследования, работу в лаборатории и углубленное изучение теории, оставив эти неблагодарные занятия тем, кто недостаточно одарен, чтобы преуспеть в жизни, и раскрыть объятия блестящей клиентуре, которая ждет не дождется того момента, когда сможет осыпать его щедрыми дарами. Слушатели согласно кивали: все разделяли мнение хозяйки о том, что именно такая судьба уготована юноше, который в их глазах был кем-то вроде ее крестника и вел себя как честный, порядочный, серьезный и хорошо воспитанный человек с того самого, уже далекого, дня, когда впервые перешагнул порог пансиона — одетый по провинциальной моде, с большим деревянным чемоданом, набитым книгами и одеждой, которую он, следуя советам расположенной к нему хозяйки, постепенно сме-

нил на другую, более соответствующую блеску его будущей карьеры.

Обед закончился, прислуга убрала со стола, а Педро все спал. Хозяйка, помня о том, что молодой организм с хорошим метаболизмом для восстановления сил нуждается, кроме сна, еще и в пище, набрала целый поднос еды, чтобы будущее светило медицины могло удовлетворить эту вторую потребность, не вставая с постели. Она уже собиралась отправить служанку с подносом в комнату Педро, когда в пансион явился еще один молодой человек, которого здесь знали и к которому относились настороженно. Это был Матиас, как всегда, элегантно одетый. Он потребовал немедленно провести его к Педро. Хозяйка подозревала, что именно Матиас толкает покойного исследователя и новорожденного практикующего хирурга на скользкий путь, но ее подкупали свойственный людям другого круга притягательный запах, исходивший от безупречно отглаженного костюма, шелкового галстука и идеальной стрижки Матиаса, а также его изысканная речь и богатый лексикон. Поэтому она не стала препятствовать встрече, надеясь в том числе на то, что дружба с Матиасом даст молодоженам (после того, как пройдет опьянение

медового месяца) возможность попасть в высшее общество, что, в свою очередь, откроет дорогу к роскошному медицинскому кабинету, куда повалят толпой — как мы уже говорили — богатые клиенты, чтобы отдать себя в умелые, заботливые руки того, кто сейчас мирно спит в своей постели, но готов в любой момент проснуться и начать действовать.

Итак, разрешение было дано, и участники экспедиции выстроились на пороге комнаты Педро в таком порядке: впереди — мудрая старуха, чуть кривящая в улыбке верхнюю губу, за ней — Матиас, уже придумавший, чем занять друга вечером, за ним — хмурая служанка, не понимавшая, почему в воскресенье, в день, когда ей по правилам заведения полагался отдых, приходится задерживаться в пансионе. Открыв дверь и почувствовав неприятный кислый запах, смешанный с алкогольными парами, они сразу поняли, что сейчас увидят. На залитой рвотой постели храпел перепачканный собственными выделениями архангел — не божественный образ, завещанный нам праотцами, а жалкий человек.

— Бедняга! Он же простудится! — воскликнула хозяйка. — Приготовь ванну! Быстро!

— Я же без горячей воды останусь! Чем я буду посуду мыть? — попыталась возразить служанка.

— Не спорь.

— Ванну утром принимают.

— Замолчи, я сказала.

— И когда же я домой пойду?

— Иди и оставь нас в покое. Моя внучка все сделает.

Поднос с едой остался на стуле. Педро медленно приходил в себя. Матиас тихонько посмеивался. Старуха пошла отдавать распоряжения. Жизнь вернулась в привычное русло, и, пока Дорита наполняла ванну, смешивая горячую и холодную воду и проверяя температуру воды рукой, старуха достала из шкафа с постельным бельем флакон голубой соли для ванн, которой иногда пользовалась, получая ностальгическое удовольствие, когда пузырьки пробегали по ее коже, уже пожелтевшей, но еще способной чувствовать холод или щекотку.

27

Картучо обитал в самой отвратительной части трущоб. Если лачуга Муэкаса была возведена законно и выглядела достойно, как и положено жилищу честного иммигранта, то жилье Картучо (точнее, жилье его старухи-матери) было совсем убогим и больше походило на пещеру. Эти жалкие грязные хибары не были даже подобием дома. Они смирились со своей участью зловонных дыр, лишенных, как и их обитатели, всякого намека на достоинство или самоуважение. В отличие от лачуги скотовода, где, как мы видели, имелись кухня-столовая-гостиная и спальня — табернакль-инкубатор[64], в обиталище Картучо была лишь одна комната для всего, так что ему негде было прятать краденое; он закапывал его под большим круглым камнем, который обычно использовали для сидения, сбывал барыге или просто бросал в пруд в парке Ретиро.

Жалкие обитатели этих кварталов не покажут вам своих мозолей на загрубевших руках;

---

[64] Примечания: 64

Табернакль — в католических храмах сооружение для хранения предметов религиозного поклонения.

они предпочитают выставлять напоказ тела в изящных и выгодных позах, с претензией на бисексуальность: здесь она в порядке вещей и на ней делаются деньги. Для этого требуются узкие брюки с молниями на икрах, некоторое знание фольклора и чувство ритма. Но молодость проходит, и тех, кто не сумел найти стабильной работы в каком-нибудь из злачных мест города, ждет печальная участь. Потеряв былое обаяние, они становятся попрошайками (занятие, резко осуждаемое прогрессивным обществом) или спасаются от голодной смерти, питаясь отбросами. В этих местах не селятся «солидные» люди — карманники, магазинные воры, медвежатники, квартирные воры, театральные спекулянты. Здесь живут лишь начинающие преступники, которые до конца жизни остаются начинающими — кто из-за нехватки ума, а кто из-за вспыльчивого нрава. Они никогда (даже если им случалось найти временную работу вроде погрузки-разгрузки грузовиков или доставки угля в отель) не добиваются стабильного положения и остаются изгоями как для общества, признающего только себя, так и для подражающих ему инфрасообществ, изобретающих собственные странные кодексы чести, языки и даже временные учреди-

тельные собрания. Иногда здесь можно увидеть цыган, направлявшихся в город. Войдя в его пределы, они на мгновение замирали, чтобы затем почтительно раствориться на его улицах. (Позже город сбрасывал их со своих колен, словно сухие крошки.) Также здесь встречаются старые цыганки с морщинистыми лицами, выгодно отличавшиеся от прочих женщин, которые не сумели в полной мере насладиться жизнью и осветить (светом искусства и совершенством предлагаемого товара) течение своих лет, постепенно отнимавших у них упругость грудей, пышность бедер, белизну и крепость зубов, платья из парчи и темного бархата.

Мать, старая и сгорбленная, сидела на круглом камне — под ним ее сын прятал потемневшую наваху, которой убил Гуапо и еще нескольких, о чем никто не знал. Она получала от сына свой кусок хлеба, щедро сдобренный проклятиями, а потом, не в силах подняться с места, весь день ждала, сидя на камне, когда он принесет свою небогатую и всегда разную добычу: кольцо, часы, деньги, заплаченные кому-то за выполненную тяжелую работу, выручку от мелкого мошенничества, детскую швейную машину, сумочку какой-нибудь служанки, которая долго копила на

нее, а потом взяла эту драгоценную вещь на танцы со смуглым кудрявым парнем, оказавшимся сукиным сыном.

Тем утром Картучо лежал среди камней и ждал, когда кто-нибудь выйдет из лачуги, в которой побывала смерть и откуда доносились крики, вызвавшие подозрения в посягательстве на то, что принадлежало только ему. В его сердце вскипала ярость. Из лачуги Муэкаса вышел мрачный, подавленный Амадор с рулоном марли, позвякивавшими в такт его шагам инструментами — тщательно вымытыми водой, которую одна из женщин принесла из ближайшего колодца, — и печальными мыслями. Амадор думал не столько о смерти, сколько о подтверждающем эту смерть документе, отсутствие которого могло обернуться серьезной проблемой. А еще — о людях, которые по глупости берутся за то, чего не умеют делать. Впрочем, они с Муэкасом нашли способ все уладить даже без свидетельства о смерти. Но о случившемся знали слишком многие, так что Муэкас решил, что не лишне будет посоветоваться еще и с Магом. Все трое вполголоса договорились о том, как станут отвечать на вопросы, которые, возможно, будут им заданы.

Несчастная мать продолжала стонать и жало-

ваться, ее было тяжело слушать даже Муэкасу, который, прожив с ней столько лет, должен был привыкнуть к тембру ее голоса. Впрочем, обычно она молчала; таким, как сейчас, ее голос был лишь в первые дни, на пшеничных полях в плодородной долине Тахо.

Муэкас распорядился, чтобы жену отправили в глухую деревню, где жили его двоюродные братья, кое-чем ему обязанные, и дальняя родственница, которая не отказалась бы выслушивать жалобы и причитания. Младшая дочь после перенесенного ею нервного срыва крепко спала и выглядела бы совершенно безобидно, если бы не память об оставленных ею на лице и теле Муэкаса царапинах и синяках. Впрочем, любой отец после смерти одной дочери будет испытывать особую нежность к другой — той единственной, которая у него осталась. Итак, трое мужчин тихо и спокойно обсудили неясные перспективы и приняли решения, какие обычно принимают люди с головой на плечах.

Картучо пошел следом за Амадором, несшим свой незаконный груз — государственную собственность, приобретенную благодаря щедрым кредитам, выделяемым Институту в расчете на то, что усилиями его сотрудников гора знаний, о

которой здесь не ведал никто, станет еще выше. И чем больше эти двое удалялись от места происшествия (даже если бы в этот час и нашлось какое-нибудь такси, у Амадора не было денег, чтобы заплатить за него), тем ближе подходили они к ужасному району, где обитал Картучо и где он чувствовал себя царем и богом после нескольких особенно выдающихся подвигов, после которых кое-кто отправился в мир иной, а он сам (временно, разумеется) был вынужден уйти в тень, чтобы подкормиться и отдохнуть.

Он набросился на Амадора, когда тот меньше всего ожидал этого, приставил острие ножа к его левому боку и слегка надавил, чтобы тот почувствовал острие.

— Шагай! — Амадор двинулся вперед. — Входи!

Амадор вошел и увидел сгорбленную старуху, которая сидела на круглом камне и ела беззубым ртом холодный чесночный суп.

— Кто это сделал?

— Клянусь матерью, не я!

— Положи это здесь.

Амадор поставил пакеты на землю, и мать начала разворачивать их, чтобы посмотреть на блестящие предметы, марлю, бинты и флакон с йодом.

— Это ты! Не лги мне.

— Клянусь, не я!

— А для чего все это?

— Муэкас хотел, чтобы это сделали, потому что она была…

— От кого?

— Я ничего не знаю, клянусь.

— Говори, от кого.

Мать равнодушно продолжила есть суп. На ней было множество юбок, облегавших тощее тело, словно старая змеиная кожа, на которой можно прекрасно выспаться.

— Не отпускай его, сынок, — вмешалась она. — Пусть заплатит за все.

— Отпусти меня, или я на тебя донесу!

— Давай! Настучи, если сможешь!

— Отпусти меня!

— Думаешь, у меня поджилки затряслись? Это тебе трястись надо.

— Я тут ни при чем.

Картучо сделал вид, что собирается погрузить конец навахи в толстый, мягкий живот Амадора. Он никак не мог понять, откуда взялся этот черный человек — с неба свалился или шахта его извергла? — которого он все плотнее прижимал к отвратительной старухе и по шее которого

от страха все сильнее тек пот. И при чем он тут вообще? Был влюблен во Флориту? Отец ребенка? Муэкас наверняка об этом не знал — они с Флоритой трахались за его спиной. И вид у него зверский. От такого жди чего угодно.

— Это врач, — сказал Амадор.

— Не ври!

— Врач.

28

Пол был застлан грубым ворсистым ковром, пружинившим под ногами. Толстый швейцар в синей ливрее, краснолицый, гладко выбритый, с поклоном распахнул перед ними дверь лифта. В этом подъезде запах освежителя воздуха был гораздо приятнее, чем в кинотеатрах. Лифт поднимался медленно и бесшумно. На трех его стенах висели зеркала, на полу тоже лежал толстый красный ковер. В углу стояла маленькая, обитая бархатом банкетка — чтобы усталые воздухоплаватели могли присесть и отдохнуть. На нужном этаже дверь лифта открыл, предупрежденный о его прибытии каким-то механизмом, тоже бесшумным, другой служащий, одетый в обтягивающую серую куртку с металлическими пуговицами, стройный и гибкий, с вьющимися волосами и зелеными глазами. Он тоже поклонился, но совсем не так, как швейцар — не то с улыбкой, не то с иронической усмешкой, — и неразборчиво произнес-пропел несколько слов, среди которых пару раз прозвучало «сеньорито». Казалось, он мог кланяться, не сгибая спины.

Воротник серой куртки облегал его шею так же плотно, как воротники униформы посыльных в отелях или офицерских мундиров некоторых уже исчезнувших армий.

Пока друзья быстро шагали ко входной двери по ковру, покрытому светлой тканью непонятного назначения (то ли для того, чтобы ковер не пачкался, то ли для того, чтобы по нему не ступала обувь-сшитая-не-по-мерке), служащий успел с удивительной ловкостью захлопнуть внутренние двери кабины лифта и дверцу металлического ограждения, подбежать к входной двери и распахнуть ее. При ходьбе этот человек покачивался на лодыжках и слегка размахивал руками с длинными пальцами, готовыми оказать любую услугу — подхватить норовящую упасть фарфоровую чашку, подать срочно понадобившуюся пепельницу, помочь снять пальто, нажать на кнопку выключателя, спрятанного среди золоченой лепнины, указать направление, в котором следует двигаться сеньорам, чтобы попасть туда, куда они хотят попасть.

Даже Матиасу, хотя это был его дом, коридор наверняка казался слишком широким, а человек в серой куртке — слишком вездесущим. Педро же был просто потрясен окружавшим его ве-

ликолепием. Тяжелые шторы словно охраняли заполнявшую помещение особую атмосферу, не позволяя проникнуть вульгарному воздуху улицы, пропитанному миазмами. Картины старых мастеров, освещенные лампами рассеянного света, выглядели еще более старыми и потрескавшимися. За коридором следовали залы размером с монастырскую трапезную — только вместо длинных столов из белого мрамора там стояли огромные кресла, способные вместить гигантов, переживших железный век, а перед ними — до смешного маленькие столики на низких ножках; на столиках стояли странные предметы и лежали иллюстрированные журналы на английском языке.

Матиас жестом пригласил Педро сесть. Тот сел и почувствовал, как его тело сначала медленно погружается в толстый слой утиного пуха, которым были набиты удобнейшие подушки, а потом опускается еще ниже благодаря абсолютно бесшумным пружинам британского производства. Тем временем человек в серой куртке исхитрился одной рукой поставить пластинку (из тех, что нравились Матиасу), а другой — подать высокие стаканы, куда был налит опалового цвета напиток, особым образом смешанный с тоником,

и брошены кусочки льда, которые, ударяясь о стенки стакана, издавали мелодичные звуки, говорившие о высочайшем качестве стекла. Сделав несколько глотков, Педро понял, что этот напиток не принесет вреда даже его больному желудку. Чуть позже Матиас зажал между двух пальцев ароматную сигарету, и человек в серой куртке исчез, предоставив менее ловким рукам справляться с такими глубоко личными делами, как зажигание сигареты и стряхивание серого пепла в высокохудожественную пепельницу.

Пока они шли от пансиона до дома Матиаса, Педро произнес едва ли пару слов. Воспоминания о прошлой ночи еще не представлялись ему связной и упорядоченной последовательностью событий — они скорее напоминали торопливые наброски воображаемого репортера, что разложил их на рабочем столе, ожидая вдохновения, которое откроет ему смысл пока еще малопонятной истории.

Матиас выглядел бодрее, но и он еще не пришел в себя после ночных приключений. За все это время он не произнес ни одной высокопарной греко-кельтской или латинской фразы, выражаясь исключительно на вульгарном разговорном испанском: «Наглость какая!», «Вот хитрюга

старая!», «Чистая литература», «Что может быть смешнее скучного немца?» — и тому подобное.

Время шло, боль в висках стихала и перетекала в область затылка. Педро закрыл глаза, и ему показалось, что он еще глубже погружается в мягкие слои бездонного кресла. Он скорее почувствовал, чем услышал шаги — сначала неуверенные, потом решительные. Шаги приближались. Матиас поднялся и застыл в напряженной позе, что заставило Педро насторожиться и последовать примеру друга. К ним шла дама в черном. На ней была облегающая блузка с пуговицами на спине и треугольным вырезом на очень белой груди; нежную шею венчала изящная головка с замысловатой прической. Дама любезно улыбалась.

— Познакомься, мама, это Педро. Я тебе о нем говорил.

— Да-да. Я помню, — сказала дама и высоко подняла тонкую руку.

Педро требовалось лишь слегка наклонить к ней голову, но он не знал, нужно ли действительно целовать эту руку или достаточно слегка прикоснуться к ней губами.

— Ученый-исследователь. Как интересно! Вы должны рассказать мне о своих экспериментах. Мой сын говорит, что вы — блестящий специ-

алист.

— Я всего лишь пытаюсь проверить, зависит ли появление раковых штаммов у мышей в основном от наследственности, или же главную роль играет окружающая среда. На самом деле тема не очень оригинальная. До меня этим занимались американцы, но…

— Как занятно! Безумно интересно! И у вас действительно очень умное лицо. Мой сын хорошо о вас заботится? Почему бы вам не взять его в помощники? Мой сын ужасно ленив, хотя и очень умен.

— Если он захочет, я, конечно…

— Вы будете здесь? — обратилась она к Матиасу. — Если придет твоя сестра со своими подружками, прошу вас, уделите им немного внимания.

Дама перемещалась по комнате, словно кресла были недостаточно удобны для нее. Тщательно уложенные светлые волосы, обрамлявшие круглое лицо с прямым носом, большими светлыми глазами и высоко поднятыми бровями, создавали сияющий ореол, оттенявший ее слишком бесплотную фигуру. Она казалась очень нервной, и это проявлялось во всем: уголки рта то и дело подергивались, под слишком прозрачной кожей

лба билась синяя жилка, под подбородком виднелись пятнышки сыпи (она держала подбородок очень высоко, чтобы тень от него, едва появившись, тут же исчезала, — вечное стремление к недостижимому совершенству).

— Сидите, сидите, — сказала она. — Я предпочитаю стоять.

— Садись, — велел Матиас Педро и сел сам.

— Я уже ухожу: мне должны позвонить.

По дороге она подошла к зеркалу, висевшему над камином (возле потайного места, откуда все еще лилась музыка, заполняя гостиную). Некоторое время дама пристально всматривалась в свое отражение, словно желала удостовериться, что ее облик по-прежнему безупречен. В это время улыбка, которая прежде казалась неотъемлемой частью ее белого лица, словно была к нему приклеена или приколота булавкой, исчезла, уголки рта обвисли и больше не трепетали, а брови опустились ниже. Казалось, она смотрит в центр самой себя — в точку, находящуюся на равном расстоянии от обоих зрачков. Но уже через несколько мгновений, оценив каждую деталь, она снова превратилась в сложную, но гармоничную структуру, полностью соответствовавшую задуманному образу, и продолжила игру.

Казалось, за эти секунды она убедилась в чем-то важном и теперь спокойно могла оставаться под маской, не показывая никому своей затаенной боли или жала обиды, вонзившегося в самое сердце.

Педро продолжал стоять, зачарованно глядя на мать Матиаса.

Она перехватила его взгляд:

— Вы меня изучаете? Мне страшно. Я боюсь умных людей. Мне кажется, они знают о нас то, чего мы сами не знаем.

Педро смутился, сделал шаг назад и рухнул в кресло, выронив зажженную сигарету, — она упала ему на колено, а пепел просыпался на ковер. Неуклюжая попытка поймать сигарету не удалась: та тоже скатилась на ковер, и Педро наступил на нее.

Когда он снова поднял глаза на мать Матиаса, она спросила:

— Вы идете завтра на лекцию?

— Да, конечно… Разумеется, иду, — торопливо ответил Педро, понятия не имевший, о какой лекции идет речь.

— Отлично. После лекции приходите к нам. У нас тут будет собрание. Вы не поверите: интеллектуальное собрание. Не бойтесь, скучно не

будет. Приведи его, Матиас.

— Хорошо, мы придем вместе. Только мне на твоих собраниях ужасно скучно.

— Тогда можешь не приходить. А ему будет интересно, если он действительно такой умный, каким кажется.

И, тут же забыв о Матиасе и Педро, она вернулась к зеркалу, снова устремив взгляд в глубь себя, в тот уголок, где хранила секреты, и облик ее снова изменился. На этот раз она стояла перед зеркалом дольше.

— Пока-пока! Не вставайте, я уже опаздываю.

Наконец она удалилась нервной походкой — очень прямая, стройная, сжатая внутри в тугой комок, постоянно заботящаяся о том, чтобы за ней тянулся шлейф восхищения, как за улиткой — след перламутровой слизи.

— Прости, я не знал. Я думал, ее нет дома, — произнес Матиас, хотя она еще не успела скрыться из вида. — Она невыносима.

— Какая она молодая!

— Не такая уж и молодая. Идем в мою комнату.

И Матиас зашагал в направлении, противоположном тому, в котором скрылась его мать.

— Но она просила тебя дождаться сестру.

— Ну и что? Пойдем, посмотришь на моего

Гойю.

Гойя Матиаса оказался большой цветной репродукцией, пришпиленной к стене кнопками, что никак не сочеталось с розовыми обоями и мебелью в стиле ампир. Высокий козел, стоя в окружении распростертых у его ног и взирающих на него женщин, приветствовал их надменным кивком высоко поднятой головы, подчиняя себе не только этих сеньорит, но и каждого, кто посмел разглядывать картину.

— Как тебе?

— Подожди, дай рассмотреть. Мне даже стало не по себе.

29

Scène de sorcellerie: Le Grand Bouc, 1798 (H. 0,43; L. 0,30). Madrid. Musée Lázaro[65]. Великий козел, великий самец, козел отпущения, искупительный козел. Нет! Великий самец в блеске славы. Всемогущий господин, узурпировавший право на всеобщее обожание. Тот, чей рог не просто рог, а символ славного господства фаллоса. Тот, для которого наличие двух рогов означает не просто удвоение потенции. Горящий взор устремлен на окружающих его женщин в позе для аупариштака и на жертвы их абортов, которые, кажется, умоляют того, кто, без сомнения, является воплощением зла или просто хозяином ночи, обладающим огромной силой, оживить их своим прикосновением. И он благосклонно ставит левое копыто на еще не остывшие рахитичные

[65] Примечания: 65

Шабаш ведьм: Великий козел, 1798 (высота 43 см; ширина 30 см). Мадрид. Музей Ласаро *(фр.)*. Одна из четырнадцати «черных» картин, написанных испанским художником Франсиско Гойей (1746–1828). Здесь картина служит поводом для изложения взглядов писателя на Испанию и критики салонных философов, в первую очередь Хосе Ортеги-и-Гассета (1883–1955), чей образ появляется в рассуждениях о козле. Считается также, что именно с Ортегой ассоциируется персонаж по прозвищу Учитель, который возникнет в романе чуть позже.

тельца недокормленных выкидышей, мумифицированные останки которых подвешены через равные промежутки к гибкому стеблю. Почему их подвесили? И с помощью чего? Неужели это та самая живительная пуповина, по которой текут, пузырясь, венозная кровь, насыщенная углекислым газом, и артериальная кровь, обогащенная кислородом? Но как можно подвесить за пупок нежного младенца, который еще не использовал горло ни для крика, ни для дыхания, ни для кашля, ни для плача, а лишь медленно всасывал жидкость, которая поддерживала в нем жизнь? Летучие мыши, трепеща крыльями, спускаются и садятся на восхитительные рога козла. И пока его левое копыто приносит спасение, он смотрит на далекую горную гряду и словно дышит ее чистым воздухом, словно указывает на нашу связь с землей, потому что все мы — ее дети и к ней вернемся. Чем очарованы лежащие у его ног женщины? Какую правду открывает он им, серьезно и пристально глядя на них открытым глазом? Женщины тянутся к нему, они спешат познать истину. Только зачем этим женщинам истина? Она им не нужна. Он поднимает правое копыто. На нем — яблоко. Теперь он, демонстрируя этот фрукт избранной публике, целый час

будет рассказывать о его сущностных и экзистенциальных свойствах. Идемте же вместе с женщинами — беспокойными, утонченными, избранными — слушать эту вдохновенную речь! Склоним головы перед великим обличителем метафизики и позволим меду мудрости пролиться на наши лбы! В нем есть то, что может дать только он. Наши лица будут освещены солнцем, хотя уже наступила ночь; вот оно — яркое, сверкающее, льющее свой свет. На лице у него маска. Не закрыт только один глаз. Он устремлен на нас, он завораживает все больше и больше. Почему этот глаз такой зоркий? Чтобы лучше разглядеть нас. Почему его рог такой длинный? Чтобы надежнее нас на него насадить. Под его пристальным взглядом жертвы абортов возвращаются к жизни. Безвольные массы изображаются как революционная сила[66], а избранные счастливицы, распростертые у его ног, безмятежно наслаждаются проникновениями. Пока ночное солнце избавляет от необходимости принимать витамины и пить молоко, обсосанная апельсиновая кожура позволит и дальше развиваться

[66] Примечания: 66
Отсылка к трактату Ортеги-и-Гассета «Восстание масс» (1930).

гениям из Элефанты[67]. В Бхубанешваре дети погибали от голода, пока в храмах поклонялись природе (эти обряды описаны Ватсьяяной)[68] — кормящей матери; именно поэтому смерти от голода и других бедствий не приводили к массовым протестам. Люди, разделенные на секты, не способны объединиться для того, чтобы ломать, жечь и разрушать все то, что искусство объявило священным и благородным. О, открытие и пытливое изучение, тереброфилия[69] будущего! Я называю это изменой! Я призываю вас в беспламенный «Конклав»[70] — это ли не измена?! Ты не козел отпущения, ты — гедонист. Левым копытом ты щедро творишь добро, но правым угрожаешь, снова и снова обращая свои речи лично к секретарю уважаемого собрания. Твой пронзительный взгляд — как рентген. Ты смотришь на нас и видишь, как по пуповинам

---

[67] Примечания: 67

Остров Элефанта в Индии известен своими подземными пещерными храмами.

[68] Примечания: 68

Малланага Ватсьяяна — индийский философ и ученый, получивший известность как автор трактата «Камасутра».

[69] Примечания: 69

От латинского слова «terebro» — «сверлить», «буравить».

[70] Примечания: 70

«Конклав» — название кинотеатра, в котором Ортега-и-Гассет читал лекции.

течет наша заплесневелая вестготская кровь. Ты слишком умен для этого узколобого народа. Ты из другой, благородной материи, а потому, о козел, ты всех нас презираешь. Да-да, не спорь! Ты прекрасно видишь, что все мы — дураки. И с этим ничего нельзя поделать. Потому что у глупцов никогда не будет достаточно еды и одежды, не будет возможности учиться в построенных специально для этого светлых зданиях, не говоря уже о возможности питаться витаминными соками и белковыми экстрактами, извлекаемыми из разного сырья, а также фруктами, дичью, колбасами, ростбифами, свежей рыбой, молодой фасолью, кальмарами, апельсинами, апельсинами, апельсинами (и не только их кожурой), поскольку в силу низкого качества своей готической крови и принадлежности к народам Средиземноморья они навсегда сохранят приверженность к азиатским корням и будут прозябать, как прежде, лишь бы не использовать ненавистные технологии северо-запада. Канте хондо, медиавероника[71], выводок фараонов, верность старого пикадора[72], гостеприимство, всадники, кентавры Андалусии

---

[71] Примечания: 71

Медиавероника — один из приемов работы тореадора с плащом.

[72] Примечания: 72

Пикадор — помощник матадора, подающий ему шпагу.

— за всем этим проглядывает Элефанта, потому что все это касты. И не только каста тореадоров, но и каста попрошаек, каста бродяг, каста батраков, каста бандитов, каста «Семерых детей»[73], каста китайских кварталов всех марселей и каста черноглазых уличных женщин Парижа, которые не умеют произносить — до сих пор не научились! — звук «р», как произносят его французы; каста большого Жильбера и тощей Мари[74] — единственный проблеск Европы в самом европейском из наших городов, подвергшихся основательной резне[75]. Все это известно тебе, козел, и ты советуешь нам брать пример с великой питающей Германии. Нельзя с точки зрения феноменологии не упомянуть славный город Хардегзен[76], место свиданий ведьм и колдунов.

---

[73] Примечания: 73

Имеются в виду «Семеро детей из Эсихи», известная испанская банда 1810-х годов.

[74] Примечания: 74

Известная парочка певцов, выступавших в кабаре «Богема» после войны.

[75] Примечания: 75

Намек на жестокие репрессии после победы франкистов в Гражданской войне (1936–1939).

[76] Примечания: 76

Хардегзен — город в Германии, расположенный неподалеку от горного массива Гарц, где ведьмы устраивали шабаш на Вальпургиеву ночь.

И твои духовные Каролины[77] на время станут нашей тюрьмой. Ты добр и потому поднимаешь левое копыто немного выше, чем правое, потому скрываешь свой лик под маской, которая нравится тем, кто восхищается тобой; поэтому ты стал приверженцем философии и осторожно вербуешь новых и новых сторонников. Например, того паренька в блузе — такого непосредственного, такого утонченного, чей стиль был так возвышен, слог так изыскан, а разоблачающие метафоры так точны; тебя простят мертвые дети, которым ты не сказал, отчего они умирали. И (не глядя на твою маску, а глядя в твой глаз) мы забудем про два рога и понесем тебя в могилу, распевая похоронную песнь, которая покажется почти грустной.

[77] Примечания: 77

Намек на продажу Испанией Германии Каролинских островов в 1899 году.

30

Всякий упорядоченный космос состоит из нескольких наложенных друг на друга сфер, и тот, в котором происходило описываемое событие, не был исключением. В нем сосуществовали нижняя, средняя и верхняя сфера — вершина и кинематическая опора всей конструкции. Разумеется, как в любой теогонии, нижняя сфера была связана с адом; отбросив всякую тенденциозную ормузохримантию[78], можно сказать, что царство греха, зла и бесстыдства — всего, что подлежит осуждению и заслуженному суровому наказанию, — было здесь связано с тем, что является земным, жизненно важным, генетически порожденным, доставляющим огромное чувственное наслаждение, прежде чем наказание вступит в свою законную силу.

Итак, в нижней сфере космоса, о котором мы сейчас говорим, никаким (очевидным) образом не связанной с двумя другими сферами, происходил бал служанок. Здесь потная тол-

[78] Примечания: 78

Слово составлено из имен двух древнеиранских божеств — Ормуза и Архимана, олицетворяющих вечное противостояние добра и зла.

па, безразличная к тому, что говорил Учитель (выдерживая идеальную симультанность во времени и строгую суперпозицию в пространстве), содрогалась, извиваясь и раскачиваясь под бренчание каких-то не то африканских, не то кубинских инструментов. Эта нижняя сфера была полна звуков и запахов, едва ли возможных в двух других, более высоких сферах. В средней сфере людей было не меньше, чем в нижней, и это были самые разные люди. До начала мероприятия они хаотично передвигались по не слишком роскошным залам, толпились в коридорах. Их голоса сливались в негромкий гул, сквозь который — лишь изредка и только через открытое окно в патио — пробивался аккорд корнета или энергичное соло ударника. Что касается запахов, то в средней сфере преобладала смесь ароматов дорогих духов (некоторые доставлялись прямо из Парижа, несмотря на трудности с платежным балансом), лекарственных лосьонов и мужских средств для роста волос. К этому следует добавить сильный запах табачного дыма и едва уловимые, но неизбежные нотки пота из подмышек и от шеи студента, увлеченного философией, но пренебрегавшего водой еще с тех пор, как экзистенциализм не был в моде.

И наконец, в завершение краткого обзора нашей теогонии, — третья, высшая сфера, кульминационная (во многих смыслах). Она представляет собой сцену кинотеатра. На сцене — стол, на столе — светильник, кувшин с водой, стакан и яблоко. Рядом со столом зловеще чернеет *tableau noir* — школьная доска, на которой ничего не написано. Эта третья сфера существует лишь в виртуальном или аллегорическом смысле, до того момента, когда Учитель занимает свое место и начинается действо[79].

Грешники в подвале не ведали, что происходит тремя метрами выше головы, и даже не подозревали, что честь и совесть кельтиберов[80] вознамерилась сегодня вечером заняться повышением интеллектуального уровня общества, к которому принадлежали (не будучи достойны этой чести) и они. Правда, следует отметить абсолютную симметрию данного феномена, поскольку те, кто находился в промежуточной сфере, а возможно

---

[79] Примечания: 79

Описываемый космос повторяет структуру здания знаменитого мадридского кинотеатра «Барсело», где осенью 1949 года Ортега прочитал серию лекций. Плата за вход была очень высокой, так что слушать их могли только избранные.

[80] Примечания: 80

Кельтиберы — древняя группа племен, живущих на территориях Центральной и Северной Испании.

(как знать?), даже и сам великий Учитель, не имели ни малейшего представления о том, какая интересная реальность существует чуть ниже, всего в трех с половиной метрах от их подошв. Подростку, скопившему три песеты, важно на своем опыте узнать, как устроены его соплеменницы, тоже попавшие в элизиум[81], но без всяких затрат. Потому что именно такие встречи (а вовсе не доставка детей с помощью аистов) обеспечивают первичную биологическую преемственность — зародышевое начало, питающее остальные сферы и обеспечивающее многочисленные телесные потребности всех людей, а также творческие потребности артистов, художников, тореадоров и танцовщиц кордебалета. Но люди думают только о себе и не слышат Философа, а скопление дорогих машин перед третьесортным кинотеатром воспринимается ими лишь как препятствие для перехода на другую сторону улицы, но не заставляет их задуматься и дать правильную оценку историческому моменту.

Справа от двух друзей — оба пребывали в средней сфере — стоял бывший семинарист в черном пиджаке, какие обычно носят духовные лица, ли-

[81] Примечания: 81

Элизиум — в греческой мифологии прекрасное место обитания избранных смертных после окончания их земного существования.

шенные сана, а слева — дама в одежде от кутюр. Вокруг было очень много подобных дам и поэтов обоих полов. Одна из дам (наряд от «Баленсиага», специально подобранная шляпка в виде маленького шлема богини Афины, украшенного (единственная фривольная нотка), словно охотничьим трофеем, крохотным красным перышком колибри), непрерывно двигала восхитительными руками на уровне лица, излагая свои (возможно) идеи еще одной любительнице философии. Ее руки, словно шустрые зверьки, беспрерывно двигались по непредсказуемой траектории. Ни на секунду не останавливаясь, они преследовали друг друга, демонстрируя совершенство линий, отсутствие никотиновых пятен, кутикул и огрубелостей, неизбежно возникающих при использовании каких бы то ни было рабочих инструментов. Педро невольно залюбовался ногтями, украшавшими руки дамы, — длинными, очень выпуклыми, покрытыми необычайно ярким красным лаком. Они вызывали смутное беспокойство, словно напоминали о чем-то.

Но уже явился Учитель, и формирование мироздания завершилось. Стихли приветственные овации, последние слушатели добрались до своих мест, провожаемые злобным шипением возму-

щенных адептов. Круги чистилища (именно так можно назвать дешевые места, расположенные ниже уровня сцены) приняли свой груз запоздавших душ, и торжественный, иератический, сознающий собственное величие, но готовый опуститься до требуемого уровня, исполненный изящества, с восьмьюдесятью годами европейского идеализма за плечами, давший оригинальное толкование метафизики, имеющий сторонников во всем мире, человек с большой головой, жизнелюб, ритор, изобретатель нового стиля метафоры, знаток истории, почитаемый в провинциальных немецких университетах, оракул, журналист, эссеист, говорун, тот-кто-сказал-это-до-Хайдеггера, начал примерно так:

— Дамы (пауза), господа (пауза), то (пауза), что я держу в руке (пауза), называется яблоком (долгая пауза). Вы (пауза) его видите. Но (пауза) видите (пауза) оттуда, где вы сейчас сидите (долгая пауза). Я (долгая пауза) вижу то же самое яблоко (пауза), но отсюда, с того места, где сейчас нахожусь (очень долгая пауза). Яблоко, которое видите вы (пауза), отличается (пауза), и сильно отличается (пауза), от яблока, которое вижу я (пауза). Тем не менее (пауза) это одно и то же яблоко (сенсация).

Потрясенные открытием слушатели не успели опомниться, а он уже продолжал:

— Дело в том (пауза), что вы и я (долгая пауза) смотрим на это яблоко с разных точек зрения (поворачивается к доске).

31

Учитывая отсутствие легальной справки от врача, находившегося рядом с покойной в последние минуты ее жизни, было только три способа избавиться от трупа Флориты (не просто трупа, а еще и свидетельства преступления): подделка официального документа, подкуп специалиста, не причастного к внутриутробному убийству, и тайное захоронение вне кладбища.

Изобретательный мозг Муэкаса ни на минуту не прекращал поисков решения проблемы. Ему помогал в этом верный Амадор, вернувшийся после нападения и жестокого допроса, устроенного каким-то отвратительным типом.

Каждое из решений было сопряжено с определенными трудностями. Лучшим выходом было бы уговорить дона Педро подписать свидетельство, но на это имеют право только члены профессиональной ассоциации, в которой он не состоял, занимаясь *full-time*[82] экспериментальной работой.

— Если бы не было столько крови, мы бы знали,

---

[82] Примечания: 82

Здесь: в качестве постоянной занятости *(англ.).*

кого позвать, — сказал Муэкас.

— Это могла быть внезапная смерть.

— У нас один выход: похоронить ее самим. Но тогда мы все отправимся в тюрьму.

— В загоне есть место.

— Донесут. Мне тот тип очень не понравился.

— Он не донесет.

— Может, и не донесет, но он точно что-то замышляет.

— Старуха и врач промолчат, или им же будет хуже.

Тем временем округлая супруга Муэкаса уже была в пути. Преодолев километры пыли, она добралась до мест, где обитали люди, которых эмиграция не лишила чувства собственного достоинства, и услышала колокол, звонивший по усопшему (так же он звонил в ее родной деревне), и заупокойные молитвы, звучавшие над телом ее несчастной дочери; профессиональные могильщики с многолетним опытом быстро и умело засыпали красноватой землей ящик, который мать все-таки решилась купить, чтобы положить в него обескровленные останки, повинуясь лишь своему горячему желанию и не заботясь о том, чем грозят ее безответственные и незаконные действия тем, кто принимал решения, не спра-

шивая ее согласия.

Тело Флориты было в прекрасном состоянии. Потаенные изменения, сопровождающие смерть, еще не начались. Сестра с перекошенным лицом укладывала вокруг тела цветы.

32

Возбужденные, восхищенные, оживленно переговаривающиеся, чувствовавшие себя чрезвычайно умными, гости спешили во владения проворнейшего из слуг и устраивались, принимая самые разнообразные позы — кто на сиденьях огромных кресел, а кто на их спинках или подлокотниках, где тоже было вполне удобно сидеть. Расположившись, словно на насестах, эти культурные птицы со стаканами птичьего корма в руках заполнили трелями весь зал. Трели различались не столько содержанием, сколько оттенками звучания. «Как легко следовать за его мыслью», — часто произносили молодые птицы с розовыми клювами, тихие скромницы, удивленные тем, что смогли без усилий взлететь на нижние ветви древа науки; фраза «Я его прекрасно понял» означала степень самодостаточности говорившего и заключала в себе не только благодарность философу, но и похвалу его умению излагать мысли. «Он сегодня превзошел сам себя». — Голос, произносивший эту фразу, был хриплым кваканьем знатока, который, пробуя

плод с дерева, может определить, что́ это — авокадо, манго, ананас или другой тропический фрукт, — а заодно степень спелости и соблюдены ли правила хорошего вкуса при распаковке и очистке предлагаемого продукта. «Пример с яблоком — это гениально. Впервые слышу простое и ясное объяснение того, что *Weltanschauung* индивида зависит от его положения в космосе», — это уже была великая священная птица, мудрейшая ночная сова, окончательно обосновавшаяся в самой темной части кроны.

Не относившаяся ни к одной из перечисленных категорий прелестная птичка и при этом опытный птицевод, хозяйка дома перепархивала с ветки на ветку, распевая более сложные песни, с одной стороны служившие, как и трели всех остальных, для прославления самой себя, а с другой — имевшие практическую цель: поддержание динамического равновесия в группах, состав которых то и дело менялся. Заботясь о том, чтобы ни одна глупая птица не осталась в одиночестве или какой-нибудь безответственный страус вдруг не дал кому-нибудь пинка, нарушив тем самым общую гармонию, она распределяла свои стаи по просторным акклиматизационным теплицам, куда попадали и те, кому это было положено по

праву рождения, и те, чьи бесстыдные трепетания, чересчур умные речи и жадность, с которой они клевали корм, свидетельствовали о том, что они родились совсем в ином климате — возле заболоченных луж и на берегах мутных ручьев. Эти красивые птицы смогли достичь подобных высот, совсем для них не предназначенных, лишь благодаря необыкновенной привлекательности оперения либо особой красоте трелей, эстетическая ценность которых компенсировала посредственность, отличающую большинство представителей этого вида.

Точно так же из-за мутаций, время от времени происходящих в семье серых куропаток, появляется иногда (без всякой причины) куропатка с перламутровым оперением, или у обычных пятнистых воробьев рождается прапраправнук с необыкновенной огненно-красной грудкой. Птицы-тореро, птицы-художники и даже, хотя и очень редко, птицы-поэты и птицы-писатели (если, разумеется, к поэтическому таланту прилагалась благородная голова с нумизматическим профилем), хотя и были выходцами из народа, могли общаться с райскими птицами и с благороднейшими розовыми фламинго на равных; они всегда отличались от выскочек тонкими

ногами, длинной шеей и оперением от самого дорогого кутюрье.

— Рада, что вы пришли, — любезно произнесла главный орнитолог, остановив взгляд на Педро, который в своем мятом и слишком тесном темно-синем костюме напоминал пингвина. — Вам понравилась лекция? — спросила она, обводя глазами зал в поисках подходящего места для того, кого следовало представлять коротко и сухо: начинающий исследователь, друг Матиаса. Разве что упомянуть о раке? Это страшное слово непременно вызовет интерес у некоей маркизы, стоящей одной ногой в могиле, но все еще трепетно заботящейся о своей бренной оболочке. Так она и поступила: взяла растерявшегося молодого человека под руку и, не вслушиваясь в его нечленораздельное бормотание, лишь улыбалась ему, пока они пробирались сквозь густую крону коктейльной вечеринки, где с некоторых ветвей доносились взрывы смеха и резкие вскрики попугаев, пришедших в восторг от остроумия собеседника.

Хозяйка дома подвела Педро к двум увлеченно беседовавшим благородным дамам. Неуклюже поприветствовав их (получилось нечто среднее между поклоном и неудачной попыткой

поцеловать руку), он услышал слово «рак», произнесенное его спутницей. А когда та, представив его, исчезла, он с ужасом осознал, что она совершила серьезную ошибку: познакомила его со старыми журавлихами в тот момент, когда они были заняты очень важным для обеих делом. Они за кем-то следили и оживленно обменивались замечаниями, из-за чего не могли уделить Педро внимания.

Прошло немало времени, прежде чем старушки закончили сплетничать и воззрились на исследователя, оценивая качество его галстука и его обуви.

— Вы племянник Долорес? — поинтересовалась одна из них.

— Нет, сеньора. Я…

— Что сказала Матильда? У Долорес рак? — Вторая старушка обратилась с вопросом одновременно к своей подруге и к Педро. — Бедняжка!

— Нет, она сказала, что я работаю над проблемой рака.

— А вы… Вы врач?

— Наверное, лучше сказать «исследователь». Я изучаю рак у мышей, которые…

— Но вы были на лекции?

Первой даме требовалось знать все подроб-

ности.

— Был.

— И какое отношение имеет рак к философии? — Педро понимал, что должен сказать что-то умное, должен объяснить… но ничего умного не придумал. — Экспериментов вы провели много, а вот лечить до сих пор не умеете.

— Пока не умеем.

— Так, говорите, у Долорес рак? И чем ее лечат? Но в любом случае она уже совсем плоха.

— Я не говорил…

— Зачем вы отрицаете? Это всем известно. Рак молочной железы. У них в семье все от этого умирают. Но при этом упорно твердят, что это пневмония. Все знают, что у ее матери был рак, и у ее сестры, монахини, тоже… Эй, Матильда!

С быстротой, какой трудно было ожидать от человека ее возраста и комплекции, дама вскочила с места и поспешила за хозяйкой дома, которая, делая вид, что не слышит ее, летела туда, где известный юрист разглагольствовал перед обступившими его дамами (все были в том возрасте, который принято скрывать) о том, какие права имеет замужняя женщина, если в свое время не был подписан договор о разделе имущества.

Воспользовавшись ситуацией, Педро поспешил

сбежать от второй собеседницы. Она казалась глухой, и он объяснил причину своего бегства жестом — показал, что его стакан пуст. Шагая с пустым стаканом, словно бедуин, приближающийся к оазису, он столкнулся с Матиасом. Тот был не один. Рядом с ним шла стройная светловолосая девушка, которая смотрела на него со всепоглощающим интересом и даже, положив руку на лацкан его пиджака, время от времени задавала вопросы, на которые Матиас, польщенный и гордый собой, не спешил отвечать. Обрадованный тем, что можно больше не бродить в одиночестве по залу, полному незнакомых людей, Педро собрался было подойти к другу и уже поднял руку и открыл рот, чтобы поздороваться, но его остановил непроницаемый взгляд Матиаса, который, казалось, не узнавал Педро, игнорируя его как личность и даже как физическое тело. Сначала Педро решил, что ошибся, что у него одна из тех галлюцинаций, какие случаются, когда долго ждешь человека и начинаешь проецировать его черты лица и жесты на какого-нибудь незнакомца. Но нет, это был Матиас, — правда, таким Педро его не видел никогда. Иным был не только взгляд, но и выражение лица — он улыбался совсем иначе, и

с его губ слетали не латинские фразы, а другие, гораздо более банальные, произнесенные на тайном языке, понятные лишь посвященным, заставляющие вздрагивать и трепетать от желания прелестные создания, чьи окруженные сияющим нимбом головки, словно притянутые магнитом, поворачиваются на изящных шеях в сторону того, кто говорит заветные слова. Тело Матиаса тоже расположило свои члены иначе — подобную метаморфозу Педро уже наблюдал, когда впервые оказался в доме друга и мать Матиаса неожиданно вошла в этот же самый (но теперь резко изменившийся) зал. Бокал в руке Матиаса тоже подчинялся всеобщему категорическому императиву: Матиас держал его по-другому, поднимал по-другому, пил из него по-другому. Он был так точен в деталях, так тщательно подбирал жесты, соответствовавшие каждому его действию, так медленно совершал их, что казалось, будто он творит обряд, нарушение которого — кощунство. Одним словом, тот самый Матиас, с которым они вместе удивлялись отсутствию всякого смысла в лекции Учителя, предстал совершенно другим, показал другую свою грань, такую же неизвестную и, без сомнения, такую же реальную, как обратная сторона Луны. Но все же Матиас дал

понять, что старый друг никуда не делся, что он скрывается под новой — впрочем, возможно, именно она, а не та, которую Педро знал раньше, и является настоящей? — личиной. Подмигнув Педро, он незаметно подал знак, который следовало понимать так: «Эта зануда прилипла ко мне, из-за нее я не могу пойти с тобой и поболтать о том, что нам обоим интересно. Но если бы ты знал, как она восхитительна, ты бы меня простил».

Педро опустился в одно из тех мягчайших кресел, погрузившись в немыслимые глубины. Он не мог не признаться себе, что чувство, которое он при этом испытывал, было не чем иным, как завистью — той самой желтой змеей из аллегорической системы средневековых художников, изображавших похоть в виде обнаженной женщины с яблоком в руке, а высокомерие — в виде женщины с короной на голове. Весь этот мир, где слова обретают смысл, который ему недоступен (но мог бы стать доступным), а красота жестов раскрывается в спектре, который для него невидим (но он мог бы его увидеть, излечившись от своего постыдного дальтонизма), являл собой бастион, в котором укрылись существа другой природы — доброжелательные и снисходитель-

ные существа, которые помогут и ему подняться по длинной-предлинной лестнице, ведущей в этот бастион. Да! Ему нужно только решить, хочет ли он этого. Когда-то ангел соблазнял: «Вкусите от этого плода, и будете как боги». И нужно просто сделать этот шаг или жест, всего лишь откусить кусочек и встать в очередь на вход. Решиться стать таким же, как они, взять этот плод, примкнуть, ассимилироваться, привыкнуть к новой природе. Но он не хочет. И страдает оттого, что не хочет. Страдает, потому что заставляет себя презирать то, чему в душе — как ни стыдно в этом признаваться — на самом деле завидует. Но действительно ли он считает этот другой образ жизни достойным презрения, или все дело в том, что он для него на самом деле недостижим?

Что это, обида неимущего? Или его моральные принципы имеют абсолютную ценность? Но если он действительно уверен, что хочет быть тем, кем должен быть, то почему страдает? И почему завидует? Не стоит страдать из-за этого мирка, в который он мог бы войти, но не войдет, из-за этих золотых птичек — глупых и тщеславных женщин. Заставить прислушиваться к себе, вызывать восхищение, уметь целовать руку, участвовать в диалогах, понимать намеки, быть на вершине,

быть одним из них — избранных, тех, кто вне добра и зла, потому что они осмелились вкусить от плода тщеславия или потому, что этот плод достался им уже надкушенным и они дышат им, как воздухом, который нельзя ни почувствовать, ни потрогать.

— И что это вы тут делаете в одиночестве? — услышал он голос главного орнитолога.

— Матиас очень занят, — мстительно объяснил Педро.

Злость дает ему право быть грубым: он все обдумал, он не собирается никем восхищаться и никого бояться. Его защитой отныне будет дерзость.

— Мне кажется, вы на что-то сердитесь.

— Не понимаю цели подобных собраний. Вы сказали, что будет обсуждение лекции.

— Да здесь только об этом все и говорят. Вы как с луны свалились! Еще не беседовали с профессором? — И она указала на большую группу людей, что столпились вокруг лысого господина, все еще о чем-то рассуждавшего. — Хотите, я вас представлю?

— Большое спасибо, но мне пора.

— Вы сердитесь. Вам кажется, что мы о вас забыли.

— Нет-нет, что вы!

Но все-таки он угодил в ловушку, не удержался от того, чтобы не покрасоваться, не распустить свои, хотя и грубо размалеванные, перья, и добавил:

— Прошлой ночью я оперировал.

— Вот как? — воскликнула просвещенная сеньора. — Расскажите!

Но не успел он начать, как ей пришлось подняться с места:

— Извините!

Профессор удалялся, собираясь покинуть собрание. Окруженный ореолом собственной мудрости, он двигался, покачиваясь, словно большой корабль перед выходом в открытое море. Неприятный тип. И почему он так рано уезжает?

— Сеньора…

— Не уходите. Я хочу с вами поговорить. У меня к вам столько вопросов!

— Секундочку! Секундочку!.. — С этими словами он увлекает ее в угол возле двери и начинает, сопровождая речь мягкими жестами и пристально глядя в глаза, рассказывать о вещах, совершенно ей неинтересных. Педро смотрит на нее взглядом собственника. Ему кажется, что он уже имеет права на эту женщину и что внимание,

уделенное ею кому-то другому, украдено у него. Он хочет, чтобы она его слушала. Он собирается рассказать ей… Но вдруг перед его глазами возникает труп Флориты. Она здесь, посреди зала. На роскошном толстом ковре, пушистом, пружинящем ей удобнее, чем в собственной постели. Она лежит обнаженная, струйки крови текут, извиваясь, между кресел и столиков, между ног многочисленных гостей. Наверняка никто из них не видит трупа: когда они проходят мимо или даже по рассеянности наступают на него, ничто не указывает на то, что они его заметили. Среди законов этого мира богов и птиц есть и тот, который касается трупов.

Перед ним появляется встревоженный Матиас: лицо перекошено, золотоволосая фея, еще недавно так доверчиво клавшая руку ему на грудь, забыта. Матиас не на шутку встревожен. Он что-то говорит о серьезном и очень срочном деле. Пришел кто-то и хочет что-то сообщить Педро. Что-то очень важное. Он сейчас наверху, в той самой комнате, где Великий козел руководит неподвижным шабашем. Матиас очень нервничает. Почему он так побледнел? Кто-то срочно хочет поговорить с Педро. Он никак не может встать с глубокого кресла. Стоит настолько

плотная тишина, что голос Матиаса с трудом пробивается сквозь нее. Педро догадывается о том, что происходит, по жестам друга. Матиас берет его за руку и уводит с праздника и от собравшихся на нем божеств в реальность, которая ждет совсем недалеко — в его собственной спальне, перед Великим Козлом-Повелителем.

33

Разница между фабриками, выпускающими продукцию большими партиями, и теми, что производят ее в минимальном объеме, заключается не только — как можно было бы предположить — в количестве, но и в качестве, благодаря чему при внедрении принципов тейлоризма-бедоизма[83] достигается гораздо большая и иная по характеру эффективность. Производство становится масштабным, когда появляется конвейер и за каждой из мельчайших операций, на которые можно разложить целостный процесс, закрепляется один или несколько рабочих. Именно тогда принцип хронометража достигает максимальной эффективности, и ситуации, когда все предприятие «марширует в темпе худшего из рабочих», становятся невозможны. Грамотное планирование процесса в целом с учетом схематических показателей относительной сложности каждой операции, в сочетании с экономией

[83] Примечания: 83

Упоминаются системы организации и оплаты труда, разработанные американским инженером Фредериком Тейлором (1856–1915) и французским инженером Шарлем Бедо (1888–1944).

времени (благодаря отсутствию лишних движений, перемещений, необходимости обдумывать действия) и отсутствием ошибок (а следовательно, потребности в повышении мастерства работников) позволяют достигнуть желаемых результатов. Впрочем, подобную рационализацию нельзя внедрить на предприятиях нашего города, поскольку все они являются мелкими. Поэтому более подробно мы рассмотрим вышеизложенные принципы на примере организации, которая не является, строго говоря, производственной, но располагает достаточным количеством объектов манипулирования, чтобы реализовать эти принципы в полной мере.

Речь идет о вертикальном захоронении трупов тех, кто при жизни принадлежал к наименее обеспеченным слоям населения и не смог или не захотел приобрести достойное место для погребения. Такие трупы довольно небрежно размещают на не имеющих определенного статуса пустующих участках и по истечении того количества лет, которое необходимо для завершения процессов разложения, переносят в общую могилу, известную под звучным и элегантным названием «оссуарий». Поскольку площадь участков, отводимых для этих целей, всегда вынужденно

ограничена, а число тел, подлежащих захоронению, можно считать практически бесконечным, так как каждый новый день вносит свою скудную (а порой щедрую) лепту, возникла необходимость разработать технику утилизации, которая, точно определяя зону гниения, позволила бы тем самым сократить расходы казны на оплату этой новой услуги, оказываемой каждому гражданину.

Суть тейлоризма-бедоизма состоит, как известно, во-первых, в том, что работник не должен тратить ни одной лишней секунды на ожидание доставки нужного инструмента, на то, чтобы правильно расположить деталь, которую ему предстоит обрабатывать, или на то, чтобы наскоро выкурить сигарету; а во-вторых, в том, чтобы во время работы каждое из движений, приводящее к изменению положения материала — части изготавливаемого объекта, — было исполнено очень точно.

Следуя этим правилам, могильщики Восточного кладбища не играют с черепами и не изощряются в черном юморе, а выполняют свою работу сосредоточенно и рационально. Пока одна из бригад — назовем ее бригада А — выкапывает в красноватой земле яму в форме прямоугольного параллелепипеда глубиной приблизительно

четыре метра (оптимальная ширина и длина подсказаны долгим опытом), другая бригада — назовем ее бригада Б — на тачках перевозит вынутую из ямы землю в другое место, где она будет использоваться в качестве наполнителя, а бригада В занимается в это время собственно захоронением, которое, будучи наиболее специфической составляющей процесса, заслуживает подробного описания.

В соответствии с применяемой рационализаторской схемой каждый из участников процесса выполняет исключительно свою часть работы, а поставкой необходимого материала занимаются другие, вспомогательные службы. Периодичность поставок строго контролируется, что обеспечивает максимальную эффективность работы. Для обеспечения поставки материала в точно запланированное время объекты, подлежащие транспортировке в течение дня, размещаются в просторном ангаре, откуда через определенные промежутки выезжают катафалки; они движутся с одинаковой скоростью по заранее разработанным маршрутам. Затрачиваемое на каждый продолговатый объект время (с добавлением поправочного коэффициента, учитывающего уважение к скорбящим родственникам покойно-

го) строго определено, и именно это составляет основу периодичности, благодаря которой похоронные процессии никогда не сталкиваются и не следуют по одному и тому же участку маршрута. Ради большей надежности для каждой из двух последовательных процессий подбираются разные траектории, не пересекающиеся друг с другом.

Как только объект прибывает к яме в форме параллелепипеда (к этому времени бригада А уже закончила работу и начала копать следующую яму, чуть поодаль от первой), за дело принимается бригада Б. Рабочие быстрыми, точными движениями подкладывают под гроб две длинные веревки: одну — в области шеи или чуть ниже, на уровне выпирающего позвонка, а другую — в области подколенной ямки. Расположенные таким образом, эти две веревки обеспечивают идеальный баланс нагрузки. Каждый из четырех членов бригады берется за конец одной из веревок, и все быстро опускают гроб, сбитый из тонких сосновых досок (что способствует скорейшему проникновению в него элементов, ускоряющих гниение: влаги, почвы, корней растений, личинок насекомых, мелких беловатых червей), не задевая или почти не задевая стенок ямы. Опустив гроб и убедившись, что

он лежит горизонтально, рабочие легко вытаскивают веревки: отпускают один конец и тянут за другой. Плач членов семьи и голос священника звучат одновременно; когда чтение молитв заканчивается, одному из ближайших родственников дается минута на то, чтобы бросить горсть земли на крышку гроба, потом четверо рабочих, двигаясь синхронно и не мешая друг другу, засыпают объект слоем достаточно толстым для того, чтобы скрыть его от любопытных взоров (а иногда и от попыток обезумевших от горя родных склониться над ямой и заглянуть туда, в надежде еще раз увидеть кусочек черной доски), но не настолько толстым, чтобы ощутимо снизить вместимость ямы и вместе с ней — производительность труда. Насыпав этот слой земли (оставив некоторое количество воздуха, необходимого для будущей деятельности некрофагов), один из рабочих бригады Б жестом дает понять, что церемония окончена. Этот жест («*all right, finito*, все, конец») настолько выразителен, что все, кто был не в силах оторвать взгляд от засыпавшей гроб рыхлой охристой земли, осознают тщетность своего занятия, отрывают взгляд от ямы и, постояв несколько секунд в нерешительности, делают первые неуверенные шаги в том

направлении, куда шагают, гораздо более уверенно, священник и его свита, торопящиеся к складу за новым грузом. Они спешат, потому что следующая процессия (рациональный подход требует, чтобы она отправилась в положенное время) уже показалась вдали, хотя пелена слез не позволяет убитым горем родственникам заметить ее. Таким образом, вертикальные захоронения позволяют уместить значительное число покойников на минимальной площади с соблюдением всех моральных норм и религиозных ритуалов, и почти недостижимый идеал — хорошо выполненная работа — достигается простыми рабочими без суеты и спешки.

Разделивший общую участь обескровленный и псевдодевственный труп Флориты был доставлен в вышеупомянутый ангар и положен на один из находившихся там столов. Солнце стояло уже высоко, и в его лучах Восточное кладбище предстало во всем своем галлюцинаторном великолепии зачарованного сада Босха. Крытые разноцветной черепицей остроконечные крыши пагод тянулись к востоку, по дорожкам передвигались небольшими группами ленивые, праздные, одетые в траур люди, удивляясь разнообразным чудесам: расположенным в шахматном порядке

нишам, где виднеются домики умерших, каждый с отдельной дверцей, в которую можно постучать (доступ к ним стал возможен благодаря спиралевидным параболоидам, которые ввинчиваются в землю, позволяя тем, кто в состоянии за это заплатить, вечно лежать в третьем ряду слева); остроконечным деревьям, окруженным цветами, преимущественно желтыми; участкам, где запрещена установка постоянных надгробий и разрешены только временные кресты, деревянные и железные; металлическим решеткам вокруг крохотных, размером с человеческое тело, частных садов; странным зданиям, задуманным безумным архитектором с дурным вкусом. Вместе эти разнородные составляющие напоминают пейзаж на японском зонтике. Для полного сходства не хватает только прудов, журчащих ручейков, горбатых мостиков и плакучих ив.

Округлая супруга Муэкаса, еще три старухи, одетый в вельветовую куртку официант из большой таверны, кузина из деревни и жена Амадора были единственными свидетелями ловкой манипуляции, посредством которой обращалось в прах то, что возникло из праха в образе обманчивого фантома соблазнительной плоти. Но когда земля, которой предстояло сопровождать

Флориту в ее долгом путешествии, уже упала с гулким и тревожным стуком на ее гроб и поверх юного тела уложили в яму еще трех ее спутников, покойников разного пола, пришло распоряжение об эксгумации, которое в силу каких-то странных махинаций подписал далекий судья в пыльном зале суда. Напечатанный на дешевой бумаге, но должным образом оформленный документ был доставлен в некрополь судебным приставом на велосипеде. Таким абсурдным способом Закон — всегда бесчеловечный — нарушил ритм работы и помешал достигнуть привычного уровня эффективности. Бригадам Б и В (бригада А заявила, что это не ее дело) пришлось снова вынимать мягкую землю, еще не начавшие терять свой прекрасный черный цвет гробы выстроились в ряд, вновь демонстрируя солнцу то, чего оно больше никогда не должно было увидеть.

— Этот, — решительно и уверенно указал бригадир на один из гробов.

После того как была поднята крышка и все убедились в его правоте, труп Флориты начал возвращаться по дороге, по которой не возвращаются, но не на склад, а в соседнее, тоже выстроенное в азиатском стиле здание, где в часы своей работы царили судебные медики и всегда

можно было застать толстого, рыжего, моложавого, не испытывавшего ни малейшего отвращения патологоанатома — непревзойденного знатока человеческого тела и многих видов червей.

34

Огромное обвиняющее око (то, что в течение дня пребывает на вершине астрономического купола и льет свой коварный свет не только на плоские поверхности, простодушно открытые его взгляду — выкрашенные белой краской фасады домов, хлипкие крыши лачуг, песчаные круги арен для боя быков, — но и на скрытые от него места, где собираются чувствительные души, и с помощью этого света доводит до конца свою обманную деятельность, упорно пытаясь убедить каждого застигнутого врасплох зрителя в том, что реальны, безусловно, только непрозрачная оболочка вещей, их форма, размер, расположение их частей, — а их сущность и то глубокое символическое значение, которое она обретает в ночи, есть ложь) распространило свою ежедневную преобразующую деятельность на самый центр темного мира — дворец дочерей ночи, где, неподвижная, но мудрая, восседала, словно муравьиная матка с белесым животом, суровая и нежная донья Луиса. Подобно владычице другого темного царства, она обладала способностью превращать расцветаю-

щие юные существа, пригодные к тому, чтобы одетыми-в-длинное-белое-воздушное исполнить брачный полет, в неутомимых бескрылых труженицы, и для осуществления этой печальной, но весьма выгодной трансформации ей, как и той, другой, не требовалось прибегать к калечащим хирургическим операциям, удалению органов или металлическим поясам целомудрия: чтобы достичь желаемого эффекта, достаточно было слегка изменить питание и образ жизни (уделив особое внимание корректировке режима сна и бодрствования).

Если в улей или муравейник поместить стеклянную стену, она немедленно вызовет бурный протест у их обитателей, которые тут же начнут покрывать ее непрозрачным веществом, восстанавливая привычную темную атмосферу, единственно пригодную для их деятельности. В муравейнике доньи Луисы тоже всеми силами старались не допустить проникновения сюда великого лжеца и его деформирующих лучей, что заставляют видеть все в другом свете. Для защиты использовались жалюзи, рулонные шторы из пальмового волокна, ставни и тяжелые портьеры. Искусно нарисованные синие стрелки, темные веки и зрачки, расширенные с

помощью капель, могли не опасаться позорного разоблачения, какому неумолимый дневной свет подвергает других женщин — одиноких и на первый взгляд свободных, не входящих в организацию соответствующего профиля, которые, покидая в сопровождении разочарованного клиента комнату в дешевом пансионе или квартиру, сдаваемую на час, вынуждены наблюдать, как меняется выражение лица мужчины, когда в убийственном свете дня растворяется — просто исчезает, как в сказке, — сладострастная гурия, с которой он только что переспал; оказывается, он обнимает женщину, больше похожую на кухарку, что пришла на рынок и хмурится при виде того, как подорожали овощи.

В царстве доньи Луисы было только одно помещение, куда допускались солнечные лучи, поскольку там они не могли столкнуться с существами, подверженными вышеописанным метаморфозам. На кухню, где суетилась прислуга, солнце проникало через внутренний дворик и ласкало кота, отдававшего свое живое тепло в эти неприятные, ужасные дневные часы округлым бедрам доньи Луисы. Ей, занимавшей такое высокое положение, не подобало заниматься неблагодарным ручным трудом, словно какой-то

даме из Общества святого Викентия де Поля, которая всю жизнь неустанно зарабатывает себе место на небесах, не зная отдыха; донье Луисе полагалось ласкать благородных животных, во все времена допускавшихся во дворцы, — борзых, газелей, элегантных кошек с диким нравом. Сидя в углу кухни, она, единственная из ночных существ, кто не боялся света, чуть прикрыв жабьи глазки, гладила по спине черного кота, отвечавшего на ласку своей загадочной музыкой — одновременно слышимой и осязаемой.

Перед нею стояли Матиас и Педро, словно два странствующих пажа, которые по дороге в Святую землю заглянули в замок и просят пустить их на ночлег, обещая за это развлечь придворных дам. Их привели на кухню — менее устойчивых к солнцу, чем донья Луиса, ослабевших и бледных после ночи, полной страха и поисков выхода. Ожидая опасностей со всех сторон и напрасно пытаясь избежать неизбежного, они в конце концов прибегли к этой глупой уловке, к этому бессмысленному бегству в другой, знакомый им мир, где время течет иначе и где границы понятий не совпадают с границами дневной реальности, в которой есть такие страшные вещи, как смерть и наказание. Сам того не подозревая,

Педро шел тем же путем, каким идет преступник, который, совершив преступление в другой сфере, возвращается в тот мир, к которому он приспособился, в свою привычную и удобную вселенную. Преступники похожи на животных, которые не нуждаются в органах зрения — их глаза атрофируются, превращаясь в слепые коконы под кожей. Точно так же преступники скрывают подо лбом невидимые органы различения добра и зла. Слепые змеи или рептилии живут в трещинах сланцевых скал, питаясь маленькими ящерицами, и никому нет до них дела. Но если когда-нибудь одна из них, вместо того чтобы сожрать добычу своей ночной подруги, покусится на деньги, принадлежащие банковскому служащему или кондуктору трамвая, ее безжалостно раздавят не столько за само преступление, сколько за то, что оно было совершено при свете дня.

Матиас и Педро — сообщник и преступник — поднялись по полутемным лестницам и, пройдя по едва освещенным, провонявшим табаком коридорам, где им приходилось, высоко поднимая ноги, перешагивать через женщин, которые, ползая на коленях, мыли полы, и где им чудом удалось ни разу не поскользнуться на влажной мозаике, вдыхая запах паркета — такой же запах

летом исходит от сухой земли после дождя, — замечая, как за открытыми дверьми происходит смена постельного белья (один раз в сутки, как и положено в дешевых борделях), столкнувшись в одном из коридоров с единственным в заведении мужчиной — олигофреном с усохшей рукой, напоминавшим мальчика на побегушках из описанного в «Декамероне» монастыря, который, тяжело волоча больную ногу, тоже направлялся с полной корзиной провизии в сторону кухни, — вдруг оказались перед купающимся в солнечном свете буддой. В пронизанном лучами воздухе кружились мириады золотых точек — так всегда бывает в местах, где много пыли. Донья Луиса видела, как они вошли, но осталась сидеть неподвижно. Ее глаза по-прежнему были полузакрыты. Кроме умения быть по ночам — в интересах дела — любезной и почти нежных чувств, которые она испытывала к этим юнцам, она обладала и другими качествами.

Матиас бросился к идолу и крепко обнял его своими благородными руками:

— Мы к вам. Где девушки?

— Сейчас не время, — охладила его пыл донья Луиса.

— Не важно. Мы зашли с вами перекусить. Мы

угощаем. Педро угощает…

Вошел олигофрен с корзиной, и донья Луиса жестом подозвала его, желая посмотреть, что он принес. Другой рукой она отодвинула от себя Матиаса, чтобы он не мешал. Педро стоял у окна и изумленно смотрел вокруг. Он никак не ожидал увидеть кухню, плиту, черного кота и корзину с провизией. Донья Луиса, не вставая с места, подняла крышку корзины и что-то одобрительно пробурчала. Потом взяла помидор и подняла его так, чтобы он оказался в потоке света. Солнечные лучи буквально пронзили красный шарик. Донья Луиса смотрела на овощ со своего места, Педро — со своего. Они смотрели на помидор с разных позиций.

— Эти помидоры переспели. Я люблю слегка недозрелые.

— Какая разница? Мы угощаем. Хотим пообедать с тобой и еще кем-нибудь из девушек. Мы останемся на весь день.

— Сейчас не время, — настаивала на своем донья Луиса.

Но Матиас уже вложил в руку посыльного пару купюр и теперь перечислял, что следует купить: колбасы, консервы — сардины в масле, персики в сиропе, — сыр, вино. Донья Луиса, не поднимая

век, повела глазами в сторону двери. Затем взяла другой помидор и начала его ощупывать.

— Ну хорошо. На салат сгодятся. — И, обращаясь к суетившимся у плиты служанкам, приказала: — А вы забирайте свое варево и уходите. Пообедаете внизу. И разбудите Андресу и Алисию. Пусть бегут сюда.

Донья Луиса с трудом поднялась, стряхнув с колен черного кота. Еле передвигая ноги — каждое движение стоило ей огромного труда, — она дотащилась до окна и неторопливым, привычным движением отрезала солнцу путь на кухню, снова превратившись в хозяйку ночи.

35

Когда кухня вновь погрузилась в приятный обволакивающий полумрак, восстановивший главенство правды и точности, когда вещи вновь заявили о своей символической природе; когда донья Луиса снова приняла вид великой фаллической матери, которой известно все, которой можно доверить любую тайну и которая приглашает испить из чаши жизни всех, кто, распростершись у ее ног, будет целовать эти фиолетовые ленты, эти кружева абрикосового цвета, эти стыдливо-розовые, а вовсе не похотливо-черные — в ее-то возрасте! — подвязки; когда жабьи глаза смогли полностью открыться снова, стали видны никогда не терявшие блеска, излучающие мудрость зрачки; когда ставший ненужным кот вернулся наконец к своим привычным охотничьим вылазкам в соседние комнаты, Матиас понял, что пришло время исповедаться. С болью в сердце, преследуя лишь одну цель — вечно наслаждаться любовью (честным ремеслом, возведенным в ранг искусства), он рассказал о причинах своего появления в неурочный час:

о преступлении (из тех, что наверняка случались и в этом заведении) и о том, что из-за какой-то гнусной интриги, какого-то протокола вскрытия, составленного неизвестным судебно-медицинским экспертом, полиция встала на тропу войны и идет по следу его друга — того самого, что стоит сейчас у окна, бледный, дрожащий, с темными кругами под глазами, едва держащийся на ногах от усталости после ночи, проведенной в панике, на улице, среди торговок сигаретами с марихуаной. Его с трудом удалось привести в себя при помощи нескольких рюмок анисовой настойки, но теперь он нуждается в пище, убежище, защите, в теплом пеплуме[84], который сначала гостеприимно распахнется перед страдальцем, а потом, запахнувшись, надежно укроет его на ласковой материнской груди. Были изложены все обстоятельства: юный возраст жертвы, невиновность ее предполагаемого убийцы, ловушка, подстроенная отцом-кровосмесителем, деловые отношения между отцом и обвиняемым, осуществлявшиеся при посредничестве Амадора, и, наконец, невозможность иного исхода при таком обильном кровотечении. Когда Матиас закончил

[84] Примечания: 84

Пеплум — античное женское одеяние из легкой ткани, без рукавов, надевавшееся поверх туники.

рассказывать о злодеяниях своего друга, донья Луиса посмотрела на Педро так, словно вокруг его головы с растрепанными волосами сияет нимб — огненный или из мягкого золота, словно наблюдая демоническую красоту в этом новом обитателе ее временно-вечной преисподней. Рукой со множеством колец, камни которых только ночью переливались пурпурными и аметистовыми блестками, она взяла холодную руку Педро и сначала погладила ее, а потом начала разглядывать, словно восхищалась силой, заключенной в его пальцах. Рука у Педро была красивой, хотя могла бы стать еще прекрасней, если бы он превратился в искусного хирурга, как то предрекала ему другая старуха — та, что из пансиона. Прикосновение доньи Луисы вызвало у него отвращение, однако он сдержал подступавшую рвоту и позволил хозяйке борделя разглядывать его ладонь, ласкать ее, наслаждаться ею, прикидывать, насколько полезными руки Педро могли бы оказаться в тех случаях, когда по беспечности или по воле судьбы ее работницы временно перестанут быть бесплодными. Впрочем, пока она не решилась воспользоваться той властью, которую могла бы получить над этими незадачливыми руками, и лишь любовалась ими, испытывая те же

чувства, что и угрюмый наемный убийца, нежно поглаживающий холодную сталь револьвера, из которого ему только предстоит стрелять.

— Мальчик мой! — выдохнула донья Луиса, и Педро склонил голову, словно собирался встать на колени перед настоящей матерью, словно ждал, что эта пифия[85] сжалится над ним и откроет единственный путь к спасению.

— Можете остаться здесь на несколько дней, — решила донья Луиса. — Пока все не утрясется.

Педро почувствовал, что плачет от благодарности, хотя из его груди не вырвалось ни единого всхлипа или вздоха, к глазам не подступили слезы, и дыхание осталось ровным. Ему казалось, что он перестал дышать и сделался неподвижен, а все, что находилось в окружавшем его пространстве — еда, воздух, любовь, дыхание, — вводилось через резиновую трубку, и он принимал это с полным безразличием. И тут донья Луиса сделала то, о чем думала всю ночь, о чем мечтала уже много-много лет: обняла сильной рукой шею юноши и с силой прижала его голову к себе, уложив на мягкие подушки своих грудей. Уткнувшись носом в ее морщинистую шею, он

---

[85] Примечания: 85

Пифия — в Древней Греции жрица-прорицательница Дельфийского оракула.

был принужден вдыхать еле уловимый запах тех духов, которые она наносила на свое тело, когда продала его в пятнадцать лет; когда — без особого успеха — выступала с куплетами в свободных бараках Второй республики[86]; когда, будучи содержанкой одного из муниципальных советников, сидела в ложе театра «Эслава», кутаясь в роскошные меха чернобурых лис; когда, уже состарившись, перешла на ароматы с ярко выраженными цветочными нотами и почти полным отсутствием мускусных.

Матиас, смеясь, поспешил вмешаться.

— Эй, вы, я же ревную! — крикнул он и запечатлел на дряблой щеке сочный поцелуй, продолжая смеяться, словно все уже было улажено и ему оставалось только, взобравшись на стул, сделать сальто-мортале, попрощаться с уважаемой публикой и погрузиться в дневной мир, который, как ни странно, продолжал существовать за пределами цирковых шатров.

Раздался осторожный стук в дверь — не то предупреждение, не то униженная просьба; потом дверь приоткрылась, и робко вошли две

---

[86] Примечания: 86

Свободные бараки (*исп.* barracones libres) — так в Испании во времена Второй республики (1931–1939) называли особого рода заведения, где устраивались представления только для мужчин.

заспанные девушки — те, кого донья Луиса велела позвать на пиршество, после которого Педро предстояло стать ее заложником и ценным трофеем. Обе гурии оказались крашеными блондинками. Длинные, черные у корней волосы были распущены, пояса легких цветастых (сплошь маки и пионы) халатов не завязаны, большие красные рты то и дело открывались в широких зевках. Лениво потягиваясь и покачивая жирными бедрами, они прошли к столу, уселись, слегка развалившись, на деревянные стулья и радостно поприветствовали Матиаса, с которым были хорошо знакомы, и Педро, которого совсем не знали. Памятуя о том, что их черед наступит еще не скоро, что пока они всего лишь предметы обстановки и находятся здесь исключительно благодаря щедрости хозяйки заведения и что пройдут долгие часы, прежде чем неодолимая сила, которой наделяет их ночь, вернет им истинное достоинство, они вели себя как скромные и невинные школьницы: не пользовались метафизическим языком, избегали надменных жестов, свойственных сформировавшимся личностям, коверкали слова и надували губки. Они были словно куколки, ждущие, когда можно будет освободиться от неудобного кокона, скры-

вающего их полностью сформированные тела.

Вернулся посыльный с покупками и выложил содержимое корзины на стол, чего никто, казалось, не заметил. Донья Луиса разломила хлеб и произнесла благодарственную молитву. Девушки не сочли нужным выразить признательность за дары. Они жадно хватали куски хлеба со следами жирных от чорисо[87] пальцев хозяйки, жевали молча, не открывали широко рта, запивали еду красным вином, запрокидывая голову, из синего пластикового стакана, похожего на тот, в котором донья Луиса держала ночью вставные зубы (она достала его из кухонного шкафа, сочтя удобным для справедливого деления напитка на равные порции).

— Вкуснота!

Педро тоже набросился на еду — он был голоден после тяжелой ночи. По телу разливалось блаженное тепло. С каждым съеденным куском ощущение тепла и блаженства усиливалось. К тому же на кухне топилась плита — грели воду для биде в спальнях. Служанка, появившись так же незаметно, как и посыльный, подбросила угля.

— Приятного аппетита, — проговорила она.

---

[87] Примечания: 87

Чорисо — пикантная свиная колбаса.

— Иди вниз! — прикрикнула на нее донья Луиса.

Выпив вина, заговорили о невинных вещах; точнее, друзья обрели способность слышать то, что и раньше говорили женщины, но на что никто из них не обращал внимания: «Как вкусно!», «Попробуй это», «Давай выпей еще немного!», а потом Матиас, сунув руку под халат Алисии, схватился за ее толстую ногу.

— Эй, успокойся!

С едой было покончено, донья Луиса спрятала в буфет остатки вина, и это означало, что пора расходиться. Педро неохотно побрел в свое убежище — в неуютную комнату, номер которой торжественно назвала старуха. Ему предстояла сиеста — глубокая и крепкая, каким бывает настоящий ночной сон.

36

Губастый Амадор вполне удовлетворял жену. Она обожала его мягкий астурийский выговор, гордилась тем, что муж занимает в общественной иерархии более высокую ступень, чем охранник в магазине. Он казался ей очень высоким, сильным, могущественным, способным провести ее через все испытания и обеспечить ей достойные похороны по третьему разряду. И даже отдельную могилу, если будет регулярно платить взносы страховой компании. А еще Амадор был щедрым. Он мог потратить личное время на помощь какому-нибудь особенно прилежному ученому-исследователю, а мог вдруг взять и подарить любимой женушке пластмассовую сумочку цвета кофе с молоком. Мог ущипнуть уборщицу, натиравшую полы в Институте, и даже сбежать в ложу театра «Монументаль», прихватив случайно встреченную служаночку с далекого северо-запада[88], а вернувшись домой, без видимых усилий заставить жену забыть о том,

[88] Примечания: 88

Имеются в виду Галисия и Астурия, области, уроженки которых часто нанимались служанками в мадридские дома.

во сколько он вернулся. Рожденный в сердцевине мира, он был тем не менее наделен кельтской осторожностью и астурийской храбростью, что давало ему большие преимущества перед массой степных аборигенов. Кроме северной крови, он унаследовал от покойного отца любовь к жизни, чувство юмора и склонность к обильным возлияниям, которую сухое чрево его толедской матери не смогло хоть сколько-нибудь уменьшить. Вот почему так заметна была теперь его меланхолия, так странно было видеть, как он бродит по комнатам своей относительно комфортабельной квартиры в отдаленном районе Тетуан-де-лас-Викториас, где он жил уже много лет.

— Что с тобой? — спрашивала жена, бездетная, но все еще похотливая.

— Бедный дон Педро! Бедный дон Педро! — бормотал Амадор себе под нос, так, чтобы жена не слышала, а в ответ на ее вопрос лишь резко пожимал плечами, умудряясь смягчить этот презрительный жест каплей нежности.

А затем предлагал:

— Не сходить ли нам на Глориету выпить пива?

— Да ну тебя! Иди один! — отмахивалась влюбленная жена.

На Глориете солнце заливало обычную мешанину из трамваев, двух-трех такси и множества плохо одетых людей. Амадор своей осторожной, почти усталой походкой, тяжело дыша из-за лишнего веса, но все же не переставая едва заметно улыбаться, дошел до того места, где в окружении крошечных складных стульев из дерева стояли облезлые столики без пластиковых скатертей и пепельниц с надписью «Чинзано». Из подошедшего трамвая номер сорок три вывалилась толпа рабочих — все в синей или коричневой одежде, у всех в руках клетчатые узелки с пустыми контейнерами — и начала растекаться по окрестным улочкам. Это были рабочие с большим стажем — строители, электрики, водопроводчики. Почти все владели доставшимися им по наследству квартирами или частными домами; лишь иногда попадался какой-нибудь скромный кореец, готовый и дальше снимать угол или платить за ночлежку.

«Бедный дон Педро» никак не шел из головы. Амадора мучила совесть. Словно забыв о том, что жена его не видит, он продолжал презрительно и в то же время нежно пожимать плечами.

— Вот он.

Перед Амадором, указывая на него пальцем,

стоял соседский мальчик.

«Все, конец. Это полиция».

Мальчика сопровождал молодой человек, хорошо одетый и слишком любезный, что сразу же вызывало подозрения.

— Я — друг Педро, — сказал молодой человек, словно такая примитивная ложь могла сбить с толку Амадора и заставить его раскрыть рот, который он сжимал, как устрица створки. — Педро попал в беду. Ему нужна помощь. Он просил разыскать вас.

— Что еще за Педро? — прикинулся непонимающим Амадор.

Но Матиас уже говорил о ложных обвинениях, об аборте, которого Педро не делал, о причинах, заставивших Муэкаса или другого мерзавца оболгать невинного человека, потому что Педро не поверит, никогда, никогда не поверит, что Амадор — это тот, кто…

— Я ничего не знаю, — не сдавался Амадор, убежденный в том, что только полицейский может быть так хорошо осведомлен.

— Он сейчас прячется. Я его спрятал. Он надеется, что вы пойдете и все расскажете. Он сказал, что Амадор может засвидетельствовать, как все было на самом деле и от чего умерла девушка.

Вы должны пойти со мной в полицию и все рассказать.

— Я?! — Амадор почувствовал, как по спине поползла струйка холодного пота. — Что могу рассказать я, ничтожный человек, который ничего не знает? Во что вы хотите меня втянуть?

— Я вас очень прошу.

— Чего вы от меня хотите?

— Пойдемте со мной!

— Я?!

37

Сосновый шелкопряд — милый с виду червячок, покрытый светлыми волосками. Но стоит прикоснуться к нему, и он жалит, как крапива, вызывая волдыри и даже воспаление век, если неосторожный натуралист потрет пальцами свои любопытные глаза. Каждое живое существо, слепое от природы, оставляет за собой след — нить из блестящего полупрозрачного вещества. Тот, кто идет первым, оставляет след; тот, кто следует за ним, пропускает нить между своих крошечных лапок и утолщает ее при помощи собственной слюны. Так же поступают и третий, и четвертый, и все остальные в слепом стаде, следуя за тем, кого случай назначил вожаком. Несмотря на слепоту, эти черви достигают гавани и в холодные ночи, сбившись внутри своего гнезда в плотный комок, согревают друг друга. Точно такой же восторг вызвал бы у энтомологов вид другой процессии: по улицам города, ведомые нитью, которая позади каждого из них меняла свою природу, но не смысл, шагали друг за другом Матиас, Амадор, Картучо и Симилиано.

38

«Тех, кто прячется, следовало бы наказывать строже. Судьи не знают или знать не хотят, как много приходится работать тем, кто выслеживает нарушителей закона, и каким опасностям мы подвергаемся. Нам остается только помалкивать и делать свое дело. И всем наплевать на твое здоровье: вечно гонят куда-нибудь посреди ночи, будто ты железный. А это не так, уж я-то знаю. И как только я это выдерживаю и не прошу об отставке, когда совсем тяжко?! Но мне легче, когда я на службе. Я как будто собираюсь с духом, становлюсь тверже, могу ходить и ходить, не уставая. И даже перестаю бояться, хотя всегда был трусом».

«Думает, что я его не найду. Как бы не так! От меня не уйдешь».

«В то, что бедняга дон Педро забился в какую-нибудь дыру и трясется там от страха, я верю. Но в то, что он, как этот говорит, ждет меня, поверить не могу. Нужно выяснить, действительно ли этот прячет его у себя дома. Надеюсь, мне удастся его найти. А все из-за того, что справки нет!»

«Похоже, из этого ничего не выйдет. Мне было

приказано: „Следуйте за ним, он приведет куда надо и не заметит ничего“. Сразу видно, что человек никогда этим не занимался и в нашем деле совсем не смыслит. Да, он его сосед, и что с того? Он всегда был на плохом счету — нападения с ножом, кражи… Не могу поверить, что сейчас он не из-за денег… Владелец таверны говорит, что провел там всю ночь — наблюдал и что это он из ревности. Ему нравилась та девушка, и теперь он ходит с навахой. На что угодно готов поспорить: у него в кармане нож в ладонь шириной. Ищет того, кто наставил ему рога. Видно, это сделал тот самый врач. Иначе зачем бы стали люди, у которых гроша за душой нет, приглашать врача? Чем бы они стали ему платить? Но мое дело — не думать, а следить. Передвигается он странно: скачками. Может, догадался, что я за ним слежу?»

«От меня не уйдешь. За все мне заплатит. Он еще не знает, с кем связался».

«А с виду такой умник-разумник! И нравится ему только одно: мышей в микроскоп разглядывать да в кишках у них ковыряться — комочки там выискивать. Зачем он за это взялся? Тем более что и делать этого толком не умеет. Сразу было видно, что в первый раз делает. Я бы и сам

справился, но этот идиот вцепился в ложку — и давай ею орудовать! Даже за пульсом не следил. А надо было за помощью бежать, переливание делать».

«Fortuna audentes juvat, но *perseverare diabolicum»*[89].

«Я уже еле терплю, а этот тип и не думает останавливаться. Приму таблетку. Знаю, опиум — это плохо, этот наркотик отравляет организм, но что бы я делал без тебаина? Перевели бы меня туда, где климат помягче — в Малагу или в Аликанте… Вот только с квартирой как быть? Не оставлю же я жену здесь. Можно, конечно, квартиру продать, а в Аликанте новую купить. Еще и заработаю на этом… Он что, на трамвай сесть собирается? Точно, сел! Придется бежать. В животе урчит, но придется бежать. Когда ведешь слежку, бежать за трамваем — лучшая маскировка. Никому и в голову не придет, кто ты на самом деле».

«Думал, я не замечу, как он в трамвай садится… Кого хотел обмануть? Меня?! Такой ублюдок, как он?! И как я его до сих пор не пырнул?»

«Не бойся острых ощущений! Они делают жизнь ярче. Опасная ситуация, край бездны,

---

[89] Примечания: 89

Фортуна помогает смелым, но упорствовать в ошибке свойственно дьяволу *(лат.)*. — Сочетание двух латинских поговорок.

выбор, определяющий твой путь, первое переживание. Мгновение! Кризис, после которого начинается новая жизнь. Выбор. Воплощенная свобода. Смерть, смерть, где твоя победа? Гнев, богиня, воспой Ахиллеса, Пелеева сына».

«Это он ее трахал. У меня под носом. А я боялся Муэкаса, и мне только сиськи доставались. Вот дерьмо! Так ты, выходит, целку хотел? Тебе целки нравятся? Если что, так и восстановить можно. Чтоб тебе всю жизнь со старыми шлюхами спать!»

«Это все из-за мышей. Было у меня нехорошее предчувствие, когда он так заинтересовался трущобами. Нет уж. Руби дерево по себе, будь со своими. Не нужно было ему туда ходить. И как он радовался, когда туда шел! „Это и есть те самые лачуги, Амадор?“ Дети, наивные дети, которые думают, что они мужчины».

«Если я переберусь в Аликанте, меня лишат надбавки за службу в столице и за жилье в Мадриде. И суточных почти никогда не будет, потому что в Аликанте не случается ничего такого, за что дают суточные. Боюсь, придется отказаться от отпуска и искать подработку по вечерам. Лауре это не понравится. Еще как не понравится. Если она стыдится этого здесь, где никто ничего не знает,

то каково ей придется в Аликанте, где хочешь не хочешь, но в конце концов все узнают всё? Мне, конечно, очень подошел бы тамошний климат и возможность греть пузо на солнышке, как говорил тот единственный доктор, который меня понимал. Целый день греть пузо на солнышке — и никаких больше заворотов кишок и приступов метеоризма. Помню, мать говорила: „Если живот больной — кошкой его прикрой“. Ей хорошо было говорить: у себя в деревне она могла сесть на низкий стул у огня, положить кошку на колени и вязать. А мне как быть? С кошкой на коленях преследовать этого типа? Мне бы лучше в вагон, платформы меня убивают. Но если я войду, он меня увидит. Техническая ошибка. Он меня не знает, но чует. И это притом, что я из всех наших самый незаметный. Как сказал комиссар: „Вы, Симилиано, маскируетесь, как никто. Вылитый комиссионер“. Но о повышении за заслуги и речи нет. Все про выслугу лет твердят. Жди, мол, и не рыпайся: ты в Мадриде служишь — считай, уже повезло. А этот тип, похоже, собрался выходить».

«Высокие светила направляют его путь в ночи. Наверняка он еще в постели. Словно больной. Интересно, было у них или не было? Может, и не было. Да нет, скорее всего, было. Наверное, он

бросился в ее объятия. Ему нужна защита. Возвращение в материнское лоно. Попытка отвоевать первородную матрицу. Поиск способа дозародышевого уничтожения. У него всегда одно на уме (смешок про себя). Такая судьба».

«Я ему сказал тогда, что Муэкас обрадуется, но даже предположить не мог, как сильно. Во что нас впутал этот мерзавец! Ведь все из-за того, что они спали в одной постели, а это нездорово. Хорошо, что я тогда его к себе не пустил. Не нужны мне такие постояльцы. „Это потому, что у тебя нет детей“. А я ему отвечаю: „Именно поэтому. Чтобы их не иметь“. И ведь это не в первый раз. Я с ним всякого навидался. Бедный дон Педро ни в чем не виноват, но руку помощи никто ему протянуть не осмелится. И засудят человека ни за что».

«Наверное, сказал ей: „Простите, сеньорита, я понимаю, что сейчас не время, но донья Луиса настаивает“».

«Я могу понять врача, который делает аборт герцогине или дочери барыги, но чтобы врач делал аборты в трущобах — этого я понять не в силах. Ниже опуститься невозможно».

«А этот, видно, торопится. Он похож на своего дружка, если они действительно друзья. В трамвае было лучше, а теперь приходится оста-

навливаться у витрин книжных магазинов на Сан-Бернардо. Как будто меня книги интересуют. А вдруг он все-таки идет не к дружку? Вдруг это все выдумки? Ладно, еще немного за ним послежу, хотя сам не понимаю, зачем лезу в дела, которые меня не касаются».

«Выходит, толстяк идет по следу того, другого. Да тут полицией попахивает».

«А та красотка из пансиона? Она в него влюблена, это точно. Прибежала его предупредить — растрепанная, в истерике. Разъяренная самка. Нет ничего лучше женщин в критических обстоятельствах. „Педро! Педро! Что ты наделал, Педро? Почему тебя преследуют? Скажи мне, что это неправда, Педро! Скажи мне, что этого не может быть!“ Ни слова осуждения, ни слова отвращения. Женское понимание, принятие, переваривание несчастного мужчины в утробе питона. Безрассуден проникающий в женскую плоть — как ему уцелеть после совокупления? *Vagina dentata*[90], кастрация в состоянии аффекта, собственническое оскопление („Мое, мое, ты мой, кто хочет отнять тебя у меня?“) Боже мой!.. Но какая же красотка, просто конфетка».

---

[90] Примечания: 90
Зубастое влагалище *(лат.).*

«Меня не проведешь. Я, может, и загремлю в тюрьму. Но меня ни он, ни другие не остановят. Еще не родился такой».

«Лаура сразу заметит. „Ты был на службе“. А я этого не выношу. У меня глаза вваливаются, и я потом три дня прихожу в себя. Приму еще таблетку. Хорошо, что я умею глотать таблетки, не запивая. А то некоторые давятся. Или, может, у них глотка атрофирована? А вот и боль в висках. Все. Сейчас голова начнет раскалываться. Надо убедить ее, что в Аликанте, грея пузо на солнышке…»

«Ну и красотка! Почти так же хороша, как та, из пансиона. Какая походка! Понятно, почему мы позволяем им все. Даже становиться интеллектуалками и слушать лекции. Интересно, моя мать в молодости тоже была такой? Наверняка была, но ходить так, как эта, точно не умела. Моя мать была не просто красивой: она была изящной. Тонкий нос, тонкие лодыжки, тонкие запястья… Я думаю о своей матери! Ты тоже, Эдип, сын мой, ты тоже! Когда же ты освободишься от своих детских комплексов? Когда перестанешь искать то, что ищешь, и начнешь смотреть на юных и невинных, а не на тех, чей богатый опыт заставляет тебя считать их высшими существами и

трепетать перед ними — это тот самый комплекс, который сейчас испытывает твой бедный друг и от которого ты сам избавишься только в день, когда призрак покинутой тобой Клитемнестры удалится, закутанный в свое покрывало, и ты наконец обратишь свои взоры на Еву — юную и чистую, которой не придется рожать, и уже не она будет обладать тобой, а ты будешь обладать ею?»

«Хорошо хоть, что сейчас он идет все время прямо и ни на что не отвлекается — похоже, знает, куда идти. Какая женщина, мать моя! Вот таких мне рекомендовали от ревматизма».

«Вот это да! Даже слюнки потекли! Но сейчас меня даже такая не остановит».

«Он мог меня увидеть, когда оборачивался. Техническая ошибка. Надо увеличить дистанцию. Хорошо еще, что я умею маскироваться. Но как работать, когда голова раскалывается? Боль невыносимая, и ничем хорошим это не кончится».

«И как ему, с его нерешительностью, удалось влюбить ее в себя? Наверняка это она устроила на него охоту. Но она действительно влюблена по уши. Такую сцену никакой Саре Бернар не сыграть. „Я люблю тебя, я съем тебя, я вонзаю клыки в твою нежную плоть!“ А я на том представлении — привилегированный зритель на почетном

месте, у самой сцены. И она, равнодушная к азиатской роскоши особняка, в который попала, совершенно не смущенная, словно все, что ее окружает, — лишь ничего не значащие декорации, играющая на пике своего мастерства. Этот дурак такого не заслуживает. Да он и не понял ничего. Хорошо, что там был я, иначе спектакль пропал бы впустую. Она вошла, как воплощенная трагедия. *Deus ex machina*[91]. Один ее жест — и судьба была решена. Любовь, гнев, панический ужас, доходящая до отчаяния тревога, патетика. А я: „Я спрячу его, не волнуйся!“ Книжек начитался. Романтик! Унесенный ветром! А надо было сразу сдаться: пойти и дать показания. Прятаться глупо. Надо быть как она. Нам пришлось подстраиваться под нее. Она бы никогда не поняла, как мы допустили, чтобы с ее любовью случилось такое. Интересно, что читает эта девушка? Просто чтобы понимать, что у нее в голове».

«Я всего лишь хочу знать, могу ли я помочь ему, не скомпрометировав при этом себя. Я ничего плохого не делал. Это все он. Не знаю, чего он от меня хочет. Что я должен сказать? Смерть девушки — это просто несчастный случай. Отвечать за

---

[91] Примечания: 91

Бог из машины *(лат.)* — драматургический прием древнегреческих трагиков: неожиданная развязка трудной ситуации.

все должен Муэкас, но если он не хочет отвечать, что я могу сделать? Ему бы сейчас уехать в Америку — там он смог бы серьезно заняться своими исследованиями и найти то, что ищет, потому что именно оттуда привезли тех проклятых мышей. Пусть уезжает, пусть попросит стипендию и оставит нас гнить в нашей собственной грязи. Вот что я думаю».

39

Задержание оказалось простым делом даже для такого не слишком ревностного служителя закона, как дон Симилиано. Амадор, повинуясь инстинкту самосохранения, не стал заходить в дом. Картучо же ворвался туда, как тореадор на арену. Посетителей в этот час почти не было. Лишь несколько страждущих, словно блуждающие метеориты, уже бродили по коридорам и лестницам, что-то бормоча себе под нос и отводя глаза при встрече. Матиас разговаривал с доньей Луисой в укромной гостиной, объясняя ей, что случилось: он не смог убедить свидетеля защиты и лучше подождать, пока не приедет его друг, опытный адвокат, дока в своем деле и к тому же очень добрый человек, всегда готовый оказать Матиасу любую услугу. На стук высоких каблуков в коридорах Матиас в этот раз никак не реагировал: было еще не очень поздно, он был не слишком пьян и единственным его желанием было поскорее узнать, чем все это закончится. Внезапно дверь распахнулась, мелькнуло испуганное лицо смуглой служанки, и на пороге

возникла высокая фигура Симилиано, размахивавшего полицейским жетоном, словно это был пропуск или волшебный ключ.

— Он наверху, — без колебаний призналась донья Луиса. — Но я ничего не знала.

— Нам надо было раньше догадаться… Поискать его в подобных местах, — любезным тоном заметил полицейский. — В его ситуации лучше убежища не найти.

— Я таким не занимаюсь, — возмутилась старушка. — Это честный дом, официально признанный.

Но дон Симилиано не любил спорить. Наклонившись к донье Луизе, он тихо спросил у нее, где находится то заповедное местечко. Таблетки больше не спасали. Он сознавал, насколько опасно посещать места, кишащие самыми разнообразными патогенными микроорганизмами, но чувство долга не позволяло ему тратить время на поиски: он не мог дать еще один шанс своей жертве, которая в это время наверняка пребывала в гипнотическом трансе, сжимая в объятиях одну из самых востребованных девушек заведения, однако могла в любой момент стряхнуть с себя летаргию, вырваться во внешний мир, полный нежелательных беременностей, и продолжить

свою разрушительную деятельность.

— И без глупостей! — подняв указательный палец, предупредил он, прежде чем закрыть за собой дверь в то самое место, опасное и тесное.

— Не беспокойтесь, — ответила хозяйка тем тоном, каким в других случаях гарантировала клиенту, что его условия — пышногрудая блондинка с зелеными глазами — будут выполнены в точности.

— Я его предупрежу! — встрепенулся невнимательный Матиас, но старуха жестом остановила его и, ласково ущипнув за щеку, посоветовала:

— Ты, сынок, уходи. Оставь это мне. Не рискуй напрасно и ищи адвоката.

Полицейский, сумевший избежать контакта с подозрительными поверхностями и довольный полученным результатом, улыбался, поднимаясь вслед за доньей Луисой на второй этаж.

— Я его не прятала, — оправдывалась она, — но вы же знаете: тех, кто приходит надолго, мы размещаем наверху.

— Да-да, знаю, — согласился Симилиано.

— Какой кошмар, боже мой! Никогда не знаешь, кто может забраться в дом… Все они — нежелательные элементы, вот что я вам скажу. И чего только не насмотришься за свою жизнь!

— Вы правы, сеньора.

Педро действительно находился в спальне с дамой — это было непременным условием оказания ему помощи. Дама откровенно скучала. На Педро она смотрела не то с восхищением, не то с подозрением. Он, уже одетый, лежал на синем в цветах покрывале из блестящей ткани, похожей на искусственный шелк. Нижняя часть покрывала истерлась и потеряла цвет — слишком много босых ног соприкасалось с ней в течение нескольких месяцев, — но наволочка была свежей и сияла белизной. На тумбочке возле кровати горел розовый ночник. Стоило нажать кнопку, свет делался белым, но все — и клиенты, и обслуживавшие их дамы — предпочитали розовый: остатки романтического и сентиментального, таящиеся в глубине нежного человеческого сердца, заставляют его восставать против полного отсутствия поэзии. Розовый свет не только помогает скрыть черные точки на носу или морщинки в уголках глаз. Он также окутывает размытой неопределенностью обнаженные контуры тел, которые поэтому превращаются в объекты скорее тактильные, чем визуальные, и их становится легче наложить на внутренний архетип, совпадения с которым неустанно ищет

наш дух. Даже предназначенные для гигиенических целей предметы из белого блестящего фарфора, что стояли в углу комнаты, в розовом свете могли показаться маленькими домашними зверьками, свернувшимися калачиком и иногда — благодаря капающему крану — издающими тихие звуки сонной жизни. Свежесть вытекавшей из крана воды заставляла забыть о пыли на полу, прибитой к деревянным доскам клеенке, разрисованной греческими орнаментами и бордюрами, и об убожестве бездарных росписей на стенах и потолке, безуспешно пытавшихся приблизиться к помпейским образцам: какой-то неизвестный декоратор увидел их на цветной фотографии и счел подходящими для интерьеров только что открывшегося борделя. Последним украшением лучших спален было заржавевшее, в бурых пятнах вытянутое зеркало, горизонтально повешенное под потолком. В розовом свете ночника в нем можно было разглядеть силуэт воображаемого тела, настолько размытый, что он становился ничьим — безымянным и добрым. Затаившись в сонной амальгаме, он словно подглядывал оттуда за вечно разочарованной парой, тщетно посылая ей свое благословение. И в самом деле, их тела, облаченные в полностью

закрытые резиновые комбинезоны (пальцы обтянуты толстыми хирургическими перчатками, ноздри и рот закупорены несколькими слоями гидрофильного хлопка, глаза и лицо защищены маской, оставшейся с восемнадцатого года[92]), никогда не соприкасались, взгляды никогда не встречались. Они словно не подозревали о присутствии интимного партнера, который нужен лишь для того, чтобы заставить вечный колокол в очередной раз мощно прозвонить. Абсолютно чужие друг другу — он уже полностью одет, она обнажена, но защищена непобедимым безразличием, — они со скучающим видом говорили об обыденных вещах, о которых человек вынужден говорить изо дня в день: какая сегодня погода, какая ты красивая, какие красивые у тебя глаза, как все подорожало, мне очень нравится Хамфри Богарт, когда меняется погода, у меня всегда болит нога, которую я сломала в детстве.

— Выходите! Полиция, — приказал Симилиано из-за двери.

Войти ему помешала скромность.

Испуганная девушка тут же оказалась в другом конце комнаты, возле притаившегося в углу биде,

---

[92] Примечания: 92

Отсылка к эпидемии испанского гриппа (испанки) 1918–1920 годов.

которое продолжало тихонько жаловаться на что-то. Кутаясь в цветастый халат, она с ужасом смотрела на лежащего на кровати мужчину, словно он вдруг превратился в угрожающего скорпиона. Педро сначала оставался неподвижен, затем, словно очнувшись от глубокого сна, резким движением сел, упершись локтями в колени и устремив взгляд на дверь.

— Выходите. Мне нужно задать вам пару вопросов, — успокаивал гуманный полицейский. — Не бойтесь. — И хотя не было никаких оснований предполагать, что Педро поведет себя агрессивно, добавил профессионально-ласковым тоном: — Не волнуйтесь. Поверьте: так для вас будет лучше.

«Сидите спокойно», — говорит дантист, перед тем как вонзить наконечник бормашины в центр зуба.

Дон Симилиано был так любезен и так умело скрывал свою принадлежность к полиции, что, когда они выходили под руку из заведения, любой принял бы краску на лице Педро за обычный румянец довольного жизнью человека. «Надо бы и этого прихватить», — подумал полицейский, заметив в углу зала ощетинившегося Картучо. Тот с ненавистью смотрел на задержанного, образ которого навсегда запечатлелся в его памяти.

40

При каждой решетке, каждом засове, каждой железной двери, встречавшихся Педро, пока он спускался все ниже и ниже, состоял серый гном, который, стоило Педро приблизиться, делал все эти препятствия преодолимыми, словно они были не из проржавевшего железа, а из какого-то текучего и податливого материала.

То, что Симилиано получил от него между делом несколько бесплатных рецептов для лечения подробно описанных им недугов, а другие, любезные и вполне приятные личности, развлекали его расспросами об имени, фамилии, семейном положении, профессии и месте проживания; что обстановка во всех кабинетах, где ему пришлось побывать, была самой будничной, а поведение тех, кто там работал, — самым естественным, не являлось достаточным основанием для того, чтобы Педро успокоился и тревога уступила место усталости, сонливости или апатии. Вот и сейчас он не спал. Сидел в одном из этих вращающихся кресел. Время от времени к нему подходил кто-нибудь из сотрудников, несколько секунд

смотрел на него, словно убеждаясь: «Да, это он», — и уходил, прихватив явно ненужную ему бумагу или небрежно напечатав что-нибудь на одной из печатных машинок (их было много в этих помещениях, соединенных коридором, по которому проходили охранники, заключенные, служащие, а то и неизвестно как здесь оказавшийся официант в белом пиджаке). Все предметы, до которых можно было дотянуться пальцами, были липкими от наслоений грязи, делавшей их шершавыми на ощупь и придававшей им желтоватый оттенок. Впрочем, возможно, ощущение липкости было вызвано не грязью (ее реальность, как и прочих, подобных ей невидимых сущностей, всегда сомнительна), а страхом, который, казалось, был царем и повелителем этих мест. К тому же, кроме очевидных источников этого страха, здесь обитали некие субтильные существа зеленоватого цвета и с длинными бородами, относившиеся к расе, еще не классифицированной антропологами. В их чертах, если присмотреться, царство страха приобретало значение абсолюта — то было зеркало, отражавшее метаморфозу, которую Педро уже пережил, но о которой еще не имел полного представления. Легкое чувство усталости в обеих подколенных впадинах, по-

дергивание нижнего века, резь в глазах, полное отсутствие аппетита, сухой язык, казавшийся чужеродным предметом в резко сжавшейся ротовой полости, неспособность понимать простые вопросы, желание быть любезным со всеми, липкая нечистоплотность под мышками и на ногах — не из-за отсутствия мыла, а оттого, что он все время потел, — боязливый, растерянный взгляд, каким он смотрел на любого из приближавшихся к нему сотрудников, надеясь обнаружить в них хотя бы намек на симпатию, которую, впрочем, они равнодушно расточали, чрезмерная близость обуви к ногам, которые, по-видимому, утратили всякую способность к передвижению, поскольку он перемещался не по собственной воле, а под воздействием магнетической силы, исходившей от умелых распорядителей, чрезмерная близость воротника рубашки к шее (шея также утратила свои естественные функции в виде подачи воздуха, пищи и прочего, сохранив лишь одну — служить осью для кругового движения, необходимого для как можно более частого улавливания признаков симпатии на лицах окружающих людей); наконец, скованность в пояснице — это были внутренние признаки того же самого ужаса, который искажал лица тех, кого он здесь

встречал: представителей той презренной расы, одним из которых может стать любой человек, если обнаружится, что он виновен, если вина его будет публично доказана и если ему назначат наказание.

— С вами мы быстро закончим. Вы — человек умный, — сказал один из всемогущих обитателей кабинетов, который питал к Педро особенную симпатию, улыбался особенно приветливой улыбкой и относился к нему с особенным великодушием.

Педро уставился на его лицо, отказавшись от поисков других источников симпатии, так как этот человек казался ему более влиятельным, чем другие, и изливал на него свою доброту более щедро.

— Так, значит, вы… (коварное и неожиданное предположение).

— Нет. Я не… (возмущенное и удивленное опровержение).

— Но вы же не хотите, чтобы я поверил, будто… (неправдоподобная и даже абсурдная гипотеза).

— Нет, но я… (огорченное признание).

— Вы прекрасно знаете… (логика, логика, логика).

— Я не… (простое отрицание, явно недостаточ-

но убедительное).

— Согласитесь, что… (логика).

— Но… (очень слабый аргумент).

— Поймите же… (по-человечески тепло).

— Нет.

— В любом случае бесполезно… (утверждение собственного превосходства, основанное на богатом личном опыте).

— Но… (едва ли можно считать аргументом).

— Конечно, если вы настаиваете… (возможность прибегнуть к другим способам, свернув с пути разумных решений и дружеского понимания).

— Нет, ничего подобного… (встревоженное отрицание).

— Итак, вы согласны, что… (преодолевая едва заметное препятствие).

— Ну… (опасное слово, начало).

— Прекрасно. Значит, вы… (торжествующе).

— Я?! (ужас перед неожиданным выводом).

— Я от вас устал!!!

41

Внезапно и непредвиденно источник симпатии иссяк, и Педро увидел перед собой лицо, появления которого он боялся с первой минуты своих мучений и которое не сумел разглядеть ни за притворной мягкостью Симилиано, ни за продиктованной честным отношением к работе приветливостью тех, кто перед этим неоднократно расспрашивал его о возрасте, профессии, месте жительства, семейном положении и даже именах родителей.

Теперь Педро видел перед собой Юпитера-громовержца, Моисея-сжигателя-золотых-тельцов, Отца-предлагавшего-щедрую-помощь-которая-была-злобно-отвергнута, Добродетель-потрясенную-почти-бесконечной-глубиной-человеческой-низости. Само собой разумеется, что после этого Педро, ожидаемо и совершенно справедливо, был лишен высокого покровительства и низвергнут в бурлящий ад. Падение, хотя и быстрое, не обошлось без препятствий.

Первым из них был длинный запутанный коридор, зигзаги которого располагались вдоль и

поперек двух измерений пространства, а также в глубине третьего, что достигалось благодаря непонятно для чего нужным, хитро придуманным и искусно замаскированным ступеням, одни из которых вели вверх, другие — вниз. Логики в их расположении не было, а потому запомнить путь было невозможно. Миновав коридор, следовало пересечь внутренний дворик, полный автомобилей и одетых в кожаные куртки неподвижных шоферов с невидящим взглядом. После этого трепещущие души тех, кто спускался в ад, тут же заглатывал новый рот — почти такой же страшный, как пасть, что ждала их в конце. Еще одна лестница — и они попадали в помещение, устроенное на манер американского бара, где за стойкой сидел сотрудник (куда более суровый, чем те, что были наверху, и пишущие машинки здесь были лучше смазаны), и повторялся ритуальный диалог — имя, фамилия, возраст, — чтобы не вкралось ни одной ошибки и дальше не отправился тот, кому не следовало отправляться дальше. Потом был очередной извилистый коридор, теперь уже подземный, с неоновыми огнями, имитировавшими дневной свет, с голыми гранитными стенами, выраставшими прямо из земли. Коридор вел к первой

двери. Пройти через нее можно было, только заручившись благосклонностью молчаливого гнома, которому показывали желтый листок бумаги (его держал в руке бывалый проводник). После этого спускавшихся заглатывал еще один рот, и они попадали в ступенчатое искривленное горло, через которое проскакивали без малейших усилий — проглатыванию способствовали перистальтические движения гранита, — и, миновав еще одну решетку, падали на широкую желудочную площадку, где и начиналось переваривание пережеванных остатков. Вначале производился демонтаж: здесь освобождали от драгоценных металлов, авторучек, галстуков, подтяжек, ремней, очков и любых других предметов, пригодных для совершения самоубийства. Больше всего от этого страдали представители интеллектуальной касты, испытывавшие унижение оттого, что приходилось придерживать штаны руками, близоруко щуриться, лишившись очков, и бояться оскорбить доброжелательных охранников слишком мягкими интонациями и чересчур правильной речью. По окончании процедуры надзиратель называл номер, и узник отправлялся по сводчатому коридору к тому месту, которое в этом аду отводилось лично ему.

В отличие от тех заведений, где осужденных жестоко терзают, здесь не слышалось криков и стонов; здесь царила глубокая тишина, лишь изредка, с интервалом в несколько световых лет, нарушаемая просьбой отвести справить нужду или — после того как вышестоящие суды, проявив небывалую снисходительность, исключили табак из списка смертоносных предметов, подлежащих изъятию, — просьбой зажечь спичку.

42

Камера мала. Она не имеет идеально призматической четырехугольной формы из-за потолка, поверхность которого искривлена. Самая высокая часть находится в одном из углов верхнего четырехугольника. По-видимому, каждые две камеры составляют одну из полусфер, которые удерживают огромную массу — наземную часть здания. Эти полусферы и стены сделаны из гранита. И стены, и потолок свежевыбелены. Лишь кое-где можно заметить наспех сделанные в последние недели граффити — творчество предыдущих обитателей. Приблизительные размеры помещения: высота (до самой высокой точки полусферы) — два с половиной метра; от двери до противоположной стены — один метр десять сантиметров; один метр шестьдесят сантиметров в направлении, перпендикулярном ранее измеренному вектору, так что человек нормального телосложения может вытянуть одновременно обе руки — не задев при этом стен — только в диагональном направлении. При этом даже очень высокий человек не дотянется до потол-

ка. Лежанка расположена не по диагонали, а параллельно плоскости двери и прислонена к противоположной стене, поэтому заключенному высокого роста приходится слегка поджимать ноги и спать в так называемой позе эмбриона. Дверь достаточно высока, чтобы пройти через нее, не наклоняясь, и изготовлена из сухой древесины хорошего качества. В камере имеется окно, выходящее в коридор. Окно небольшое — пятнадцать на двадцать сантиметров (в высоту больше, чем в ширину) и зарешеченное, но все же через него можно прекрасно видеть все, что происходит в камере. Вот только расположено оно на такой высоте, что надзирателям среднего роста приходится слегка сгибаться, чтобы заглянуть в него. Если заключенный встанет на лежанку, надзиратель увидит только нижнюю часть его тела, а чтобы разглядеть тело целиком, надо согнуться в три погибели. Осмотр камеры возможен благодаря лампочке, расположенной в отверстии, проделанном в стене над дверным косяком, и освещающей одновременно и обитель узника, и узкий коридор, устроенный таким образом, что напротив каждой камеры находится не другая камера, а гладкая стена. Между этой стеной — тоже побеленной — и дверью остается сорока-

сантиметровое пространство, по которому бродят охранники. Удивительно, но при такой толщине стен и при той глубине, на которой устроен этот любопытный лабиринт, камеры закрываются не на сложные замки, а лишь на примитивные засовы вроде тех, на которые запирают курятники. Прижавшись лицом к решетке, заключенный сможет увидеть засов, но не отодвинет его без какого-нибудь подходящего инструмента — проволоки, веревки или щепки. В камере, разумеется, ничего подобного не найти. Окошко, лишенное стекла, одновременно обеспечивает вентиляцию и позволяет охраннику прикуривать сигареты, которые заключенный смог пронести с собой в свое временное пристанище.

Свет вечен. Он не гаснет ни днем ни ночью.

Внутри камеры, кроме воздуха, пленника, извести, которой выбелены стены, и рисунков на них, есть только лежанка. Она очень прочна и рассчитана, вероятно, на то, чтобы не обрушиться под тяжестью гипотетического чемпиона по греко-римской борьбе или проворовавшегося казначея Клуба толстяков. У этого стандартного ложа много и других достоинств. В отличие от кровати его невозможно расшатать, и оно никогда не заскрипит, сколько бы ни ворочался тот,

кто спит на нем. Появление или размножение паразитов абсолютно исключено, а прочная конструкция лишает заключенного малейшей возможности отломить от него хотя бы часть, чтобы бросить в кого-нибудь или использовать в качестве отмычки. Это ложе — бесшумное, недеформируемое, негорючее, нетранспортабельное, огнеупорное, ударопрочное, водонепроницаемое, под которым никто никогда не сможет спрятаться, кусок которого никогда не будет коварно брошен в охранника злонамеренным заключенным, — сложено из камня и покрыто слоем цемента, выровненного мастером-каменщиком раз и навсегда, с той же тщательностью, с какой горничная в роскошном отеле каждый день разглаживает покрывало на кровати. Таким образом, удалось достичь совершенной гармонии декоративного искусства с архитектурой. Из соображений гуманности и для того, чтобы обеспечить постояльцу максимально удобное положение, подушка на соответствующем конце ложа также выполнена из цемента, составляет единое целое с остальной частью лежанки и имеет высоту, рекомендованную для физиологичного сна: шесть-восемь сантиметров. Другие преимущества: идеальное прилегание ложа к

стенам и полу камеры гарантирует отсутствие щели, в которую можно засунуть зашифрованные сообщения, протестантские библии, порнографические фотографии или капсулы с цианидом. И это еще не все: прочность кладки, усиленной цементом, дает надежную опору (как только перестаешь рассматривать эту серовато-белую массу как ложе и переходишь к не менее полезной перспективе — видеть в ней обитаемый пейзаж или географическую аномалию), подходящую площадку для упражнений, если обитатель тесной камеры одиночного заключения решит заняться дыхательной гимнастикой, йогой, отработкой свинга для гольфа с воображаемой клюшкой, симуляцией эпилептиформных приступов, падения в пропасть и восхождения на гору. Когда заключенный встает ногами на лежанку, перспектива кардинально меняется. Воздух наверху, несомненно, чище, рисунков на стене там меньше, когда мимо окошка проходит надзиратель, видны его ноги, а не крепкие плечи, грязный пол камеры, возможно усеянный хлебными крошками, или пятнами жира, или окурками, отдаляется. А подушка превращается в небольшой бесплодный холм, по которому ступает Гулливер, оказавшийся наконец в мире,

созданном по мерке человека.

Другой возможный вариант использования ложа — просто сидеть на нем, устремив взгляд через окошко на голую стену, разглядывая кусочек концентрически упорядоченного внешнего мира. Немного скосив глаза в сторону более высоких участков коридора, можно увидеть лицо надзирателя (когда он идет, а не когда склоняется к зарешеченному окошку) и убедиться в наличии у него глаз, губ, носа, рта и иногда даже лба.

Третий вариант использования (с учетом того, что ложе позволяет принять горизонтальное положение) — спать на нем. Данная функция до какой-то степени доступна даже в самых неблагоприятных обстоятельствах.

В первые часы может показаться, что в запутанных галереях царит тишина, но это впечатление обманчиво и объясняется недостатком значимых акустических сигналов, а также тем, что поначалу шумам и звукам, все же нарушающим тишину подземелья, не придается значения. Тем не менее они раздаются. Что это за звуки? Прежде всего, постоянное журчание воды — следствие протекания кранов и унитазов. Кроме того, отзвуки голосов, которые можно назвать *внешними*: причитаний слепого продавца лотерейных билетов,

монотонных выкриков толстухи, торгующей газетами, автомобильных гудков, приглушенных расстоянием. Но куда интереснее другие голоса, которые мы назовем *внутренними*. Самые привычные — голоса свободных от дежурства надзирателей, день и ночь играющих в карты на небольшой площадке в центре лабиринта. Самые удивительные — детские голоса и смех, доносящиеся из подземного детского сада, общей камеры, где вместе с арестантками содержатся их дети, которые в силу своего возраста должны находиться при матерях. Эти дети бегают, кричат и смеются только в ограниченном пространстве камеры, но их голоса слышны даже в самых отдаленных уголках лабиринта. Наконец, постоянно кажется, что ты слышишь имя кого-нибудь из заключенных, которого вызывают для дачи показаний, перевода или освобождения. Этого ждут все, и все напрягают слух, и каждому представляется, что это его имя произнесено одним из представителей власти, находящимся несколькими метрами выше.

На ночь заключенному выдают коричневое одеяло. Утром его забирают, требуя при этом, чтобы оно было сложено точно по складкам. Эти и еще более банальные (такие как кормежка

или мочеиспускание) события создают некое подобие календаря и позволяют хоть как-то упорядочить время, заполненное лишь тревожным ожиданием.

43

Ужасная судьба. Злой рок. Покориться. Оставаться здесь столько, сколько потребуется. Не двигаться. Учиться смотреть в точку на стене и постепенно сосредоточиться на пустоте без мыслей. Аутогенная тренировка. Йога. Лежать неподвижно. Медленно коснуться стены одной рукой. Релаксация. Справиться с тревогой. Думать медленно. Помнить, что ничего страшного не происходит, что остается только ждать в тишине, что ничего ужасного не может случиться, пока узел не распутается так же, как завязался. Сохранять спокойствие. Научиться находить убежище в одиночестве, под защитой стен. В само́й неподвижности. Все обстоит неплохо. Не так уж плохо. Зачем думать? Не нужно ничего делать, нужно просто оставаться неподвижным и ни о чем не думать. Как будто ты сам этого хотел. Как будто быть неподвижным, спрятанным здесь — это твое желание или игра. Быть спрятанным столько времени, сколько я хочу. Не двигаться столько времени, сколько понадобится. Пока я неподвижен, со мной ничего не произойдет. Не

предпринимать никаких действий. Спокойствие. Я ничего не могу сделать, следовательно, я не могу совершить ошибку. Я не должен принимать ошибочных решений. Я не должен делать ничего плохого. Мне нельзя ошибиться. Иначе я могу навредить себе. Главное — успокоиться. Больше уже ничего не произойдет. А на то, что случится со мной дальше, я повлиять не могу. Я буду здесь, пока меня отсюда не вышвырнут. Сам я не в силах выбраться отсюда.

Зачем я туда поехал?

Не думать. Не нужно думать о том, что осталось в прошлом. Какой смысл вспоминать о собственных ошибках? Ошибаются все. Каждый, простым или сложным путем, идет к своей погибели. На стене пятно. Нарисовать на нем русалку. Стена тоже похожа на русалку с распущенными волосами. Металлическим наконечником шнурка от ботинок, отвалившимся, когда у кого-то отбирали шнурки, можно царапать стену, придавая пятну задуманную форму. Я не умею рисовать. У нее короткий хвост маленькой рыбки. Это не просто русалка. Когда я лежу здесь, она смотрит на меня. Успокойся, все хорошо. Тебе ничего не будет. Все кончится хорошо, потому что ты ни в чем не виноват. Все будет хорошо. Они поймут,

что ты ни в чем не виноват. Ясно же, что ты ни в чем не виноват.

Зачем ты столько пил в ту ночь? Зачем согласился делать это, будучи вдребезги пьяным? Пьяным машину запрещается водить, а ты… ты… Не думай об этом. Здесь тебе хорошо. Здесь ты спокоен, спокоен, успокаиваешься понемногу. Это очередное приключение. Ты набираешься опыта. Сейчас ты знаешь больше, чем раньше. А узнаешь еще больше. Узнаешь, что чувствовали другие и что значит находиться здесь, внизу, — ты всегда знал, что здесь есть люди, но понятия не имел о том, каково здесь находиться. Ты набираешься опыта. Ты лучше узнаёшь себя, начинаешь понимать, кто ты есть и на что способен. Трус ли ты, охваченный ужасом. Могут ли тебя сломить. Что такое страх. Что страх делает с человеком. Кем может стать человек из-за страха, под угрозой страха, по ту сторону страха. Способен ли ты и дальше оставаться невозмутимым и жить здесь спокойно. Если ты здесь спокоен, это не поражение. Ты побеждаешь страх. Невозмутимый человек, тот, кто остается цельным, может сказать, что он побеждает, даже если все, все до единого, думают, что он наложил в штаны от страха, что он — ничтожество, червяк, жалкая

козявка. Если человек сохранил внутреннюю свободу, которая позволяет ему выбрать то, что с ним происходит, то, что сломало его жизнь, он говорит: «Я хочу, да, хочу, хочу, хочу, хочу быть здесь, потому что я хочу того, что происходит, я хочу того, что есть, я действительно хочу, я искренне хочу, так и должно быть». «Чего требует всякое удовольствие? Оно требует глубокой, глубокой вечности».

Ты ее не убивал. Она уже была мертва. Она была жива. Ты убил ее. Почему ты говоришь «ты»? Я. Это сделал я.

Не думать. Не думать. Не думать. Что случилось, то случилось. Не думать. Не думать об этом постоянно. Лежать спокойно. Положить голову вот сюда. Так удобнее лежать, ни о чем не думая. Можно закрыть глаза, хотя это ничего не изменит. Если открыть глаза, можно смотреть на русалочку. Железным наконечником от шнурка, который забыли у кого-то отнять, можно рисовать на стене, потихоньку царапая известку. Царапать надо медленно, потому что времени сколько угодно. Он потихоньку царапает стену, и маленький кусочек железа, согнутый каким-то станком на коричневом шнурке коричневого ботинка, издает неприятный, скрежещущий звук.

И вот уже пятно на стене принимает очертания человеческой фигуры, которая со временем становится все более четкой, обретает форму — и наконец наступает момент, когда со стены на тебя действительно устремляет взгляд неумело нарисованная русалка. Смотрит своими большими влажными глазами, и тебе кажется, что ты больше не один, что есть кому скрасить твое одиночество. Хвост — это два сомкнутых, сжатых бедра. Девушка не собирается разрезать ножом свой хвост надвое, потому что она не влюблена. Ее стиснутые бедра покрыты чешуей. На стене ничего нет, пока не кристаллизуется форма. Но в какой-то момент на небольшом участке поцарапанной известки проступают очертания человеческого существа, и оно устремляет на тебя взгляд, оно смотрит на тебя. Да, я хочу этого. Хочу. Как если бы действительно этого хотел. Какая разница, хочу я или не хочу? Кто докажет обратное? Кто — как бы он ни презирал меня, как бы ни смеялся, узнав, что я здесь, с какой бы презрительной усмешкой ни называл меня «этот» — поверит, что я здесь не потому, что хочу быть здесь, хотел всегда и продолжаю хотеть сейчас? Да, я прятался. Да, я искал спасения в объятиях шлюхи, выжидал, когда пройдет время, когда пройдут

дни; да, я хотел, чтобы обо мне навсегда забыли и дали мне стипендию для поездки в Иллинойс, и я вечно исследовал бы мышиные пахи там, где сто́ит произнести «хочу» — и спускается с небес суперциклотрон за сто миллионов долларов, а когда говорят «нужно» — спускается целая семья тропических обезьян с почти человеческими мозгами, чтобы я их изучал; где в огромном фиолетовом автомобиле меня ждала бы потрясающая девушка — образцовый представитель хорошо накормленного человечества, достигшего той высочайшей степени совершенства, когда в прекрасном теле бьется здоровое, демократическое сердце, когда щедрые люди приглашают тебя на вечеринку, когда один мудрец играет в гольф, а другой жует горячие хот-доги, когда лаборатория похожа на большую светлую кофейню, где от рака после первого же прикосновения не остается и следа, будто это не рак, а мороженое с содовой. Но я — потерпевший поражение неудачник — хотел быть здесь. Не будет больше ни рака, ни иберийских микроскопов, потому что я захотел оказаться здесь один и думать. Нет! Не думать! Просто лежать тихо, словно я умер, уже зная, что значит быть мертвым. Мое тело вытянуто, как у мертвой девушки, которая знала, от чего умерла,

знала, что это не был несчастный случай, что к этому приложил руку я, и моя рука не была такой твердой, какой должна была быть…

Я был пьян. Я.

Не думать. Не думать. Смотреть на стену. Убивать время, уставившись на стену. И ни о чем не думать. Не нужно думать — этим ничего не исправить. Здесь тебе спокойно. Ты хороший. Ты хотел помочь, ты действовал правильно. У тебя не было дурных намерений. Ты сделал все, что мог. Если тебе придется еще раз…

Идиот!

Не думать. Не думать. Успокойся. Ничего не случится. Не бойся. Если случится худшее… Если с тобой случится худшее из того, что может случиться… Если они действительно верят, что ты виноват. Если собираются раздавить тебя, обрушив на твою голову самое суровое наказание, какое только смогут придумать. Готовься к худшему. Если с тобой случится худшее. Самое худшее, что ты можешь себе представить, самое суровое, самое ужасное. Если с тобой случится то, что страшно даже произнести, — даже тогда, что, собственно, изменится? Ничего. *Ничего*. Какое-то время ты проведешь здесь, как сейчас. Так же. А потом уедешь в Иллинойс. Вот и все. А здесь

тебе неплохо. Здесь хорошо. Ты будто снова стал младенцем и лежишь в колыбели. Или даже еще в материнской утробе. Ты здесь под защитой. Ничто не причинит тебе вреда. Ты спокоен. Я спокоен. Мне хорошо. Со мной ничего не случится. Не надо думать. Лучше не думать. Пусть течет время. Время всегда течет, это неизбежно. Ничего не случится. Даже если будет хуже. Даже если будет совсем плохо. Я готовлюсь к худшему. Предположим, случится худшее. Ничего страшного. Это всего лишь время. Время, которое выпадает из моей жизни. Из моей глупой жизни. Время, которое я на самом деле проживу более насыщенно. Я уже живу более насыщенно. Жизнь остановилась. Все простые и глупые вещи, что были в ней, остались там, снаружи. Здесь — только жизнь в чистом виде. Время, только время заполняет эту пустоту вместо глупых вещей и глупых людей. Все проходит мимо меня, но я не страдаю, совсем не страдаю. Все уверены, что я страдаю. Но нет. Я существую, живу. Время проходит, наполняет меня, я иду в ногу со временем. Я никогда не чувствовал время так, как чувствую его сейчас, когда неподвижно смотрю в одну точку на стене — в черный глаз русалки, которая смотрит на меня. Мне хорошо, я отрешился от всех проблем.

Со мной ничего не может случиться. Я свободен. Я живу. Просто живу. Свободен от стольких забот: от денег, которые должен был заработать, от женщины, на которой должен был жениться, от клиентуры, которой должен был обзавестись, от друзей, которые должны были меня ценить, от удовольствий, за которыми должен был гнаться, от алкоголя, который должен был выпить. Если бы все так и было. Оставайся там, где ты сейчас. Там твое место. Ты должен быть там. Я должен быть здесь, на этой вершине. Пусть я здесь одинок, но мне сейчас лучше, чем раньше, мне спокойнее, намного спокойнее. Не упади. Не упаду. Мне так хорошо, спокойно, со мной ничего не может случиться, потому что худшее, что со мной могут сделать, — это оставить меня здесь. А я и хочу быть здесь. Мне хорошо, очень хорошо, лучшего нельзя и желать.

Ты ее не убивал. Она уже была мертва. Я ее убил. Почему? Почему? Ты ее не убивал. Она уже была мертва. Я ее не убивал. Это не я.

Не думать. Не думать. Не думай ни о чем. Успокойся. Я спокоен. Со мной ничего не происходит. Я спокойно жду. Мне не нужно думать ни о чем. Со мной ничего плохого не случилось. Я здесь, я спокоен, время идет, и я спокоен, потому что

ни о чем не думаю. Нужно только научиться ни о чем не думать, просто смотреть на стену или рисовать наконечником от шнурка что-нибудь — все равно что, не обязательно девушку. Ты можешь нарисовать все, что угодно, даже если никогда не умел рисовать. У тебя есть свобода выбора, ее никто не отнял. А потому рисуй что захочешь или, как делали другие, процарапывай по черточке каждый день, отмечая конец недели более длинной чертой — ты волен оставлять на стене черточки любой длины, и никто не может тебе запретить.

Идиот!

44

Мать решила, что все пропало, и, хотя понимала, что поступает неправильно, закатила истерику, кричала, выпила большую чашку липового чая, и на следующий день у нее разболелась голова. Бабушка и внучка почувствовали — у каждой для этого были свои основания, — что теперь он полностью у них в руках. Старуха по опыту знала, что пережитое унижение делает мужчину более смиренным, а следовательно, более слабым и что для человека, попавшего в беду, нет ничего приятнее доброго слова. Если постыдное бесплодие старого полковника поставило его в полную зависимость от жены, то неожиданное несчастье, случившееся с исследователем, должно было подготовить его к тому, чтобы стать хозяином в доме, быть благодарным за это, чувствовать себя виноватым и смотреть с большим уважением на семью — достойную, хотя и много страдавшую, — которая распахнула перед ним двери своего теплого и гостеприимного дома.

Поэтому старуха притворилась, что ничего не видит и не слышит, когда Дорита, узнав об аре-

сте Педро, тут же, несмотря на поздний час (дело было после ужина), накинула на плечи пальто и, очевидно повинуясь великодушным порывам, свойственным молодому сердцу, бросилась по коридору к входной двери, быстро спустилась по лестнице и выбежала из дома. Улицы еще не опустели: вокруг кинотеатров, зазывавших на ночной сеанс светящимися плакатами и яркими цветными листовками, толпились люди. От площади Прогресо она пошла по улице, ведущей к центру города, поглощенная своим горем, не замечая ни обращенных на нее взглядов, ни толчков чужих локтей. Сначала Дорите сказали, что сейчас не время. Потом велели подождать. Потом ее пропустили. Она поднялась по лестнице и прошла по грязному коридору. Села на стул. Сотрудники, работавшие сверхурочно, смотрели на нее с интересом. Ее пропустили дальше, и она оказалась в помещении, где стены были выкрашены в желтый цвет, а на столах стояли покрытые слоем пыли пишущие машинки. За перегородкой, отделявшей зону пишущих машинок от небольшого пространства, предназначенного, по всей видимости, для посетителей, сидел толстый мужчина. Судя по грязным столовым приборам, лежавшим сбоку на столе, он только

что поужинал. Сейчас он читал вечернюю газету и слушал музыку и рекламу, доносившиеся из небольшого радиоприемника. Толстяк поднял на Дориту угрюмый взгляд, но тут же улыбнулся и предложил ей сесть. Затем надел висевший на вешалке пиджак и, все так же улыбаясь, спросил:

— О ком вы хотите узнать?

— Нет. Нельзя.

— Кем вы ему приходитесь?

— Нет. Я ничего не могу вам сказать.

— Кем вы ему приходитесь?

— Не волнуйтесь, сеньорита. Все всегда налаживается. Послушайте меня, я тут всякого навидался.

— Я не могу передать ему никакую записку.

— Нет. Ничего страшного.

— Никакого общения в ближайшие семьдесят два часа.

— Да, семьдесят два часа.

— Прошло всего три часа.

— Кто вам это передал?

— Нет. Мне это неизвестно.

— Я уже сказал, что не могу вам помочь. Мне очень жаль.

— Не беспокойтесь.

— Идите спокойно домой и ложитесь спать.

— В таких глазах не должно быть слез.

— Не принимайте это так близко к сердцу.

— Я же говорю, это невозможно. Если бы это было возможно…

— Я бы с радостью!

— Только этого не хватало.

— Никак невозможно.

— Конечно! Вы можете вернуться завтра.

— Как, говорите, вас зовут?

45

Если высокопоставленный гость требует, чтобы ему показали мах и тореадоров, если гениальный художник пишет чудесными кистями мах и тореадоров, если правда, что на этой древней земле круглых арен больше, чем готических соборов, это должно что-то значить. Нужно вернуться ко всем черным легендам[93], проштудировать туристические проспекты с рассказами об Испании бубнов и кастаньет, снять слой лака с каждой работы художников, которые нас изображали, и выяснить, в каком печальном смысле они были правы. Ведь если есть что-то постоянное, исподволь придающее силу и мужественность телу, в остальном тощему и костлявому, это надо проанализировать, выставить на всеобщее обозрение, измерить и как следует описать. Бедность, недоедание, вытянутый череп, нежная смуглая кожа — все это не должно считаться достаточными условиями причисления нас к

[93] Примечания: 93

Черная легенда — негативное представление об истории Испании. Термин впервые употреблен в 1914 году испанским историком Хулианом Худериасом.

тому типу людей, к которому мы, несомненно, принадлежим и который нам так не нравится. Рассмотрим этот феномен пристальнее и попытаемся почувствовать на собственной шкуре — такой же, как у этого человека — то, что чувствует он, когда вдруг понимает, что в его обтянутое блестящим костюмом тело сейчас вонзится бычий рог и что масса ему подобных, таких же смуглых и с той же формой черепа, требует, чтобы рог вошел и чтобы этот человек на их глазах превратился в то, что они страстно желают увидеть: в разряженную куклу, набитую красными тряпками. Если эта ненависть была столь успешно узаконена (а произошло это в тот исторический момент, когда в отвернувшейся от остального мира и потерпевшей множество поражений стране продолжали строить огромные дворцы, хотя уже никто не знал, откуда и на каких галеонах может прибыть золото), то это, вероятно, связано с тем, что ненависть имеет здесь для людей особое значение и что страх перед силой и постоянством этой ненависти заставил искать способ жертвоприношения, который был бы и символическим, и в то же время достаточно «живым», чтобы снять проклятие и парализовать душившую всех жажду мести. Самым значимым

событием в годы, последовавшие за великой катастрофой, можно считать то, что объектом ненависти стал один человек. Его ненавидели и в то же время боготворили, что, несомненно, было проявлением реваншистских настроений самых разных людей. Стоит ли называть этого человека с серьезным, напряженным лицом, нарочито неуклюжей походкой разгуливающего по арене в нелепой двууголке и выводящего свою странную каллиграфию перед свирепым животным, жертвенным агнцем народной ненависти? Возможно, да, возможно, это именно так, особенно если учесть, что силы правопорядка, пресса, полковой оркестр, обитатели приюта для бедных и даже представитель губернатора с таким интересом участвуют в этой мистерии.

Но что это за бык, которого мы носим в себе, который отдает свою мощь и силу животному с крепкой шеей, бегущему по краю круга? Что за бык внутри нас заставляет желать прикосновения, воздуха, быстрого касания, тонкой миллиметровой точности, по которой знаток оценивает не опасность, а — как он считает — художественную ценность представления? Что это за бык, сеньоры?

46

И приходили добрые надзиратели — высокие, толстые, прятавшие под грубой серой тканью, обтягивавшей широкую грудь, коробки спичек, папиросы, блокнотики с таинственными записями, фотографии дочерей, железнодорожные билеты — и по-мужски поддерживали его словами: «Так вы, значит, врач, вот оно что, врач, значит».

И приходил надзиратель, из тех, кому было поручено присматривать за ним, и заглядывал в окошко, и говорил ему: «Просите что хотите», — имея в виду лишь просьбу зажечь спичку или отвести помочиться.

Если он говорил спасибо, надзиратель отвечал: «Не за что, для этого мы и здесь». Даже если Педро не выражал благодарности, в следующий раз надзиратель все равно проявлял готовность услужить; едва заслышав удары в дверь, он громко спрашивал с галисийским акцентом: «Номер!» — чтобы узнать номер камеры, откуда его зовут, и таким образом сориентироваться в запутанном критском лабиринте.

И приходили другие надзиратели, и опять другие, они сменялись каждые два часа, и все без возражений отводили его помочиться в любое время дня и ночи, не важно, бодрствовали они в тот момент, когда он стучал в дверь, или дремали, развалившись на стуле. «Номер!» — и они неизменно приходили.

Еще двое сопровождали глубокого старика, который раздавал еду. Из-за слабости в ногах он выполнял эту работу, сев на низкий стульчик и поставив дымящийся котел между дрожащими коленями. Он опускал половник до самого дна одним движением, набирал точное, математически выверенное количество и вываливал содержимое в миску, услужливо подставленную заключенным. Старику помогал женоподобный юноша, который приносил тарелку с кусками вареного сала и бросал по одному в каждую миску, а тем, кто просил еще, отвечал: «Только один». И жеманно добавлял: «Потому что так положено».

И приходили особенно крепкие, особенно могучие охранники, преждевременно поседевшие от ночной работы и вида чужих страданий, похожие на отставных боксеров, и через окошко рассказывали, как они были в Австралии и как

дрались в Мэдисон-сквер-гарден[94].

Но чаще всего охранники говорили об острой необходимости работать в свободное время где-нибудь еще. Один собирал платежи за газ, другой — взносы в обществе взаимопомощи, третий — взносы в престижном клубе. «Им требуются люди, которым можно доверять, поэтому они предпочитают нас».

А еще один надзиратель, годившийся заключенному в отцы, рассказывал, как ему делал операцию знаменитый хирург. Он показывал шрам и жаловался, что голова у него с тех пор как будто опустела, что всякий раз при перемене погоды или напряженной работе она ужасно болит, и, если он встречает на улице знаменитого хирурга, тот останавливается, приветствует его и расспрашивает об остаточных явлениях — небольших судорогах, покалываниях, головных болях и головокружении, — с которыми он уже ничего не может сделать и лишь тихонько посмеивается: для того, кто каждый день сражается со смертью и побеждает, такие мелочи не имеют значения.

---

[94] Примечания: 94

Мэдисон-сквер-гарден — спортивный комплекс в Нью-Йорке, США. Место проведения международных соревнований по различным видам спорта, в том числе по боксу.

И приходил маг и волшебник катакомб, божественный повелитель ду́ша, обладавший неслыханной силой, способный вытащить Педро из мрачной темницы и перенести в водяную камеру, где мощные котлы, окутанные паром и дымом, выбрасывали на его тело прозрачные струйки нагретой воды, ласкавшие и полировавшие, пока усталость не вынуждала прервать это пиршество плоти и после растирания чистым полотенцем вновь — на двадцать три часа пятьдесят пять минут — отправиться в отведенное ему место.

И приходили охранники-утешители, чтобы успокоить непрерывно рыдавшую в соседней камере женщину («Ну же, не плачьте, не надо, этим делу не поможешь») или печального юношу, который больше думал об обиде, нанесенной отцу, чем о тяжести закона («Ты просто отвечай, когда тебя спрашивают»).

Обладая пониманием человеческой природы, которым они были обязаны не интеллекту, а особому опыту, охранники без удивления слушали уверения каждого новоприбывшего — мол, он не знает, почему оказался здесь, и не может даже представить, из-за чего произошла эта очевидная ошибка полицейских. «Подумай немного, и ты

вспомнишь; что-нибудь должно быть, что-нибудь да есть…» — «Разве что…» — наконец признавался потерявший память и замирал в задумчивости, делая вид, что обдумывает новые возможности, о которых ранее не подозревал. «Разве что… но этого не может быть, это же пустяк».

— Когда я отсюда выйду? — спрашивала переставшая плакать женщина спустя три часа или пятнадцать часов.

— Не беспокойтесь, — отвечал охранник. — Все, кто был здесь, когда я начал работать, а работаю я здесь очень много лет, уже вышли.

47

Матиас пытался задействовать все социальные механизмы, на которые мог повлиять, используя для этого как личные связи, так и авторитет своей семьи. Многочисленные швейцары и привратники министерств направляли его по извилистым коридорам в высокие залы с золотыми люстрами на пятьдесят с лишним рожков и мебелью в вычурном псевдоиспанском стиле, украшенной головами воинов в шлемах и мифологическими животными, искусно, но безвкусно вырезанными неизвестными мастерами. В других, более функциональных помещениях полы были из полированного мрамора, а лампы — скрытые или встроенные в потолок — освещали металлические офисные столы или элегантные французские бюро, покрытые зеленой кожей и окантованные золотом. Над каждым таким столом возвышалось улыбающееся и загадочное лицо. Улыбка становилась еще шире, когда сидящий за столом узнавал, чей сын и чей племянник явился к нему на прием. Но она сменялась выражением растерянности, как только выяснялся странный круг

общения этого молодого человека, немного сбившегося, как казалось теперь обитателю кабинета, с пути. Возможно, до некоторых доходили слухи о тех или иных литературных увлечениях Матиаса и его академических неудачах — о том, что он нигде не учился и не получил специального образования. «Я сделаю все возможное», «Завтра же поужинаю с генеральным директором», «Я наведу справки» — таковы были пророчества, которые эти почтенные уста изрекали со своего полувсемогущего треножника[95], пытаясь скрыть неподдельное отвращение, которое слово «аборт» с его ужасными последствиями в виде грязи, заразы и венерических заболеваний вызывает в чистых сердцах, старающихся, несмотря на богатый жизненный опыт, держаться подальше от подобных дел.

— Он не виноват. Его подставили. Вызвали среди ночи. Сказали, дело срочное. Что ему оставалось? Когда он прибыл на место, она была уже практически мертва, — объяснял Матиас.

— И вы говорите, что сразу же сообщили в полицию?

— Нет. Он был очень уставшим.

---

[95] Примечания: 95

Пифия, жрица Аполлона, изрекала свои прорицания, сидя на золотом треножнике в Дельфийском храме.

— Понятно…

После паузы:

— А на следующий день он явился давать показания?

— Нет. Испугался, наверное. Или растерялся. В тот день мы вместе были на конференции, а потом у меня дома на коктейле, который моя мать устроила в честь…

— И полиция пришла за ним туда?

— Нет. Полиция задержала его на следующий день.

— Когда он явился, чтобы сделать заявление, полагаю.

— Нет. Его задержали в…

— Ах!

По окончании этого синкопированного, грубовато-дружеского и доверительно-покровительственного диалога (который Матиас с каждым разом вел все более искусно, то есть скрывал все больше фактов, которые могли повредить его другу) собеседник наклонялся к Матиасу и давал несколько мудрых советов, суть которых заключалась в том, что Матиасу не следовало вмешиваться в эту историю: если дело обстоит так, как уверяет его друг, то все уладится само собой, без лишних усилий. К тому же, возможно,

Матиас в чем-то ошибается, ведь в молодости мы склонны к великодушию, а дружба, как известно, мешает точно оценивать людей. Ему стоило бы заводить знакомства с людьми своего круга — не потому, что за его пределами не может быть достойных дружбы людей, а просто потому, что при отсутствии прочного социального и морального фундамента (того, что называют традицией или средой) эти люди, несмотря на свои достоинства или ум, могут оказаться не вполне надежными. Нет, конечно, мы не можем заранее признавать его виновным, но очень странно, что человек, не работающий по специальности и, следовательно, нуждающийся в деньгах, попался — как полагает Матиас — в такую нелепую ловушку, когда единственное, что ему надо было сделать, — это отказаться и сообщить кому следует. Если Матиас хочет ему помочь, пусть посоветует сказать правду, и тогда все выяснится без применения насилия и вернется в нормальное русло. И очень жаль, что Матиас, сын его хорошего друга, оказался замешан в таком «темном деле», как выразился один из сеньоров, жертва французского образования[96].

---

[96] Примечания: 96

Сеньор намекает на роман Оноре де Бальзака «Темное дело» (1841).

Матиас понял, что в очередной раз потерпел неудачу. По словам и поведению благоразумного Нестора[97], скрывавшегося под маской уважаемого кабальеро, легко можно было угадать, что он на самом деле думает обо всем этом. Но когда он вышел из-за стола и бросился к Матиасу, чтобы проводить его до дверей, вел его под руку или даже по-отечески похлопывал по плечу крепкой рукой, привыкшей брать авторучку только для того, чтобы поставить подпись, уважаемый кабальеро (неискоренимая привычка, которая была сильнее щепетильности и любых предубеждений) снова принимал позу первой-реакции-на-появле-ние-просителя-из-хорошей-семьи и, стерев с лица гримасу отвращения, уверял с широкой улыбкой: «Сделаю все возможное», «Завтра я ужинаю с генеральным директором». Некоторые, особенно благовоспитанные, добавляли: «Передайте поклон вашей матушке».

[97] Примечания: 97

Нестор — персонаж древнегреческой мифологии, царь Пилоса, отличавшийся рассудительностью.

48

Потратив все утро и большую часть дня на этих господ, Матиас, вспомнив совет, который дала ему накануне донья Луиса и о котором он забыл, понадеявшись на свои связи с влиятельными людьми — одного слова любого из них было бы достаточно, чтобы изменить ход событий и обратить вспять течение истории без видимых катастрофических последствий, — отправился на розыски юриста-виртуоза, чтобы поручить ему защиту друга. Но виртуоз уже покинул контору известного адвоката, у которого числился стажером, и отправился куда-то не то с поручением, не то с частным визитом, так что дома его ждали только к ужину. Матиас попытался — что не должно было быть слишком сложно в относительно компактном городе — найти пройдоху и, сделав несколько телефонных звонков и получив ответы на несколько вопросов, вышел на улицу. Он двигался от площади вверх по широкому проспекту. В кинотеатрах закончился очередной сеанс, тротуары не вмещали толпу, выливавшуюся из дверей с рекламными щитами над ними и

афишами по бокам. На афишах огромный, ростом с четырехэтажный дом, ковбой с Дикого Запада размахивал гипсовым лассо, которое никак не могло вылететь из его руки. Американские автомобили — пастельные тона, хромированные детали — тормозили на красный свет, замирали на месте и еще несколько секунд покачивались, словно гондола или колыбель Наполеона I, пока водитель и сидевшая рядом девушка равнодушно (словно рыбы в аквариуме) наблюдали, как черная масса людей одновременно устремляется к пешеходному переходу. Взгляды, которые публика украдкой бросала на драгоценных рыбок в движущихся аквариумах, были робкими и сдержанными, а те, кто удобно сидел в ожидании зеленого света, смотрели пристально и дерзко, охватывая взглядом толпу, не выделяя никого конкретно, кроме разве что редких красавиц с огромными блестящими накрашенными черными глазами и длинными ногами, достойными лучшего применения, чем простая прогулка. Окруженный по большей части невысокими людьми, Матиас мог видеть достаточно далеко и надеялся заметить адвоката, возможно увлеченного потоком зрителей из какого-нибудь кинотеатра. Река толпы, разрезанная надвое тем-

ной полосой, по которой скользили автомобили, имела два сияющих берега, где были собраны сокровища со всего света, отделенные от движущейся массы лишь стеклом витрин — холодным, почти невидимым, но не менее прочным, чем кирпичные стены или банковские хранилища. Золото, бриллианты, шелка, швейцарские часы, бутылки виски, сумки из крокодиловой кожи, настоящие парижские духи, книги по искусству, руководства по охоте на львов в саванне, изделия из слоновой кости и нежно-розовая йоркская ветчина — все эти соблазнительные вещи, хотя и находились всего в сантиметре от общественного пространства, оставались недоступными, словно были лишь платоновскими чистыми идеями. Мимо него с выражением почти невероятного безразличия на лице прошли нищенка с кипой газет и мальчишка — продавец еженедельного листка с результатами последних матчей. Матиас, не слишком склонный к метафизике, смотрел на эти объекты как на абстрактную картину, в которой нам доступны лишь отношения между формами, линиями, пространствами и цветовыми нюансами. Ему пришлось остановиться на красный свет, и, оказавшись в ревущем и бурлящем водовороте толпы на улице Монтера,

он почувствовал, что значит быть одному. Он вспомнил о Педро. Вообще-то, он помнил о нем весь день, но теперь понимал своего друга лучше. «Он там один». Нужно срочно найти адвоката. И тот предстал перед ним, словно дух на спиритическом сеансе.

— *Mataiotas! Cai panta mataiotas*[98], — смеялся он, посверкивая стеклами очков, глядя на Матиаса — высокого, серьезного, застывшего посреди бурлящей толпы: воплощение философа, осознающего бренность человеческих забот. — Все суета сует!

— Я тебя весь день ищу.

— Вот он я, — сказал юрист без малейшего удивления.

— Надо поговорить.

— Давай поговорим.

И они отправились на соседнюю улицу, в маленькую кофейню, где играла гитаристка и атмосфера была томно-изысканной, не такой, как в прочих подобных местах.

---

[98] Примечания: 98

Здесь обыгрываются имя Матиас и древнегреческое выражение из Екклесиаста: «И все суета».

49

Гитаристка была в обтягивающем черном свитере и очень узкой черной юбке. Пела она плохо, двигалась тоже, но утонченные манеры и умение любезно улыбаться гостям искупали эти недостатки, а декадентское звучание гитарных струн гармонировало со светлым табаком и виски, которые Матиас и адвокат поглощали с невероятной скоростью. Помещение напоминало длинный извилистый туннель. Свет неяркий, с преобладанием красноватых оттенков. По обеим сторонам туннеля — скользкие диваны с подушками. Сидеть на диванах было неудобно, но их вид располагал к тому, чтобы поваляться и помечтать о чем-нибудь вроде восточных гаремов. В глубине туннель становился все более извилистым, появлялись незаметные боковые ответвления, красноватый свет сменялся тускло-синим — это место было словно создано для того, чтобы курить коноплю. Наркоманию, этот порок стран третьего мира, завезли к нам мавры. Одержав победу в своей маленькой опиумной войне, они продавали наркотик возле своих казарм

женщинам в передниках, а те перевозили его в соседние районы и распространяли среди двух категорий потенциальных клиентов: обитателей трущоб и деградировавших аристократов.

Матиас поведал адвокату ту же историю, какую рассказывал своим влиятельным знакомым, лишь слегка (наученный горьким опытом) изменив ее, из опасения, что, если юрист узнает всю правду, он может отказаться. Хайме слушал очень внимательно, с серьезным лицом, наполовину спрятанным под огромными очками в черной оправе, которые, увеличивая видимую площадь черепа, помогали ему производить впечатление на нерешительных клиентов.

— Ничего нельзя сделать до истечения семидесяти двух часов, — сказал он, когда Матиас закончил.

— Совсем ничего?

— Ничего. Узнай, когда его передадут в суд. Пока судья не допросит его и не постановит заключить под стражу, адвокат бессилен. Я побеседую с ним. Посмотрим, чего он там наговорил, что признал и что нет. Нужно подать ходатайство об освобождении под залог и внести его, если судья сочтет это возможным. До тех пор — ничего. Сейчас он даже не является обвиняемым. Если человек не являет-

ся обвиняемым, его не нужно защищать. Строго говоря, никто его не защищает вплоть до суда. Пока это лишь простое полицейское расследование. К защите как таковой приступить нельзя. Колеса машины крутятся сами по себе. Тут уж ничего не поделаешь. Нам остается только ждать начала официального разбирательства. Будь начеку, держи меня в курсе. Когда я смогу действовать, я подам прошение об освобождении под залог. Если разрешат, хотя это маловероятно, обжалую постановление о привлечении к суду. Но это бесполезно: судя по твоему рассказу, положение серьезное и суда твоему другу не избежать…

Некое подобие мечтательного забытья, в которое Матиас погрузился, слушая описание этой процедуры, было прервано появлением высокой дамы в платье с глубоким декольте, замысловатым жемчужным (или еще каким-то) колье на шее и улыбкой, адресованной юристу, который тут же вскочил, усадил даму, предложил ей сигарету, заказал еще виски и напрочь забыл о бедном арестанте, который просто исчез, растворившись в пропитанном дымом воздухе, словно видение.

— Хайме… — нежно промурлыкала дама, едва усевшись на диван.

— Познакомь меня с этой прелестью, — потре-

бовал Матиас.

— Размечтался, — эгоистично ответил адвокат.

И все трое смотрели друг на друга, улыбаясь и радуясь тому, что мир замечательно устроен, потому что в нем существуют два разных пола и один из них так щедро осыпан дарами и милостями. Несколько худосочных молодых людей с осиными талиями, стоявшие в полумраке у барной стойки, бросали на счастливую троицу презрительные взгляды: они считали, что жизнь была бы хороша и без разделения людей на два пола. Не обращая внимания на эти взгляды, Хайме и Матиас по очереди погружались в зеленое сияние глаз красавицы, пока что благополучно поделенной. Гитаристка снова поднялась по лестнице из дамской комнаты, служившей гримеркой. Теперь она была в красном, и голубоватый свет прожектора окрашивал ее одежду в мрачный фиолетовый цвет. Своим негромким голосом она запела центральноевропейскую военную песню, старую и трогательную[99].

---

[99] Примечания: 99

Вероятно, имеется в виду песня «Лили Марлен».

50

Округлая супруга Муэкаса по своей инициативе нанесла визит организаторам церемонии и добилась, чтобы тело ее бедной дочери было погребено в освященной земле, пусть даже это будет вертикальное захоронение, как обычно и поступают на Восточном кладбище с покойниками третьей категории. Но она не могла даже предположить, что механизм, невольно запущенный ею, окажется настолько сложным: что вскоре тело Флориты придется эксгумировать и гроб на плечах рабочих одной из бригад (организация оказалась не настолько любезной, чтобы еще раз предоставить катафалк) снова отправится к странным зданиям в восточном стиле, к часовне, к складу, к конторе, но останется не в одном из этих зданий, а в другом, поменьше, под вывеской «Судебный морг». Повинуясь биологическому рефлексу, подобному тому, что заставляет верного пса оставаться рядом с умершим хозяином, она все это время простояла возле кучки коричневой земли. Ей было все равно, в каком из уложенных друг на друга гробов находится тело Флориты;

она даже не задумывалась, при какой степени разложения уже нельзя проводить прощальную церемонию. Поэтому она стала свидетельницей возвращения обескровленного тела. Не успели вынуть гроб, как подъехал — на велосипеде — пристав, по выражению лица которого она сразу поняла, что он кое-что знает о причинах и целях происходящего.

Услышав «аутопсия» и догадавшись, что значит это странное греческое слово, она вновь пришла в отчаяние. Сидя на корточках у дверей судебного морга, почти полностью закутанная в черный платок, она хрипло стонала, и успокоить ее было невозможно. Судмедэксперт, войдя в помещение, с сочувствием посмотрел на нее и попросил увести — не хотел расстраиваться, когда выйдет, закончив свою работу. Увести ее было некому, и помощник нашел простое решение: намекнул судмедэксперту, что, если он выйдет через другую дверь, «проблемы не будет».

— Доченька, доченька, — безутешно повторяла она и вдруг с яростью крикнула: — Ее убивают!

— Сеньора, мы здесь никого не убиваем, — возразил ей жизнерадостный помощник судмедэксперта. И это была правда.

Но она настаивала:

— Ее убивают! Убивают!

Позже стало понятно, что именно внушало ей ужас.

— Ее всю разрезают, бедную, ее вскрывают!

Подобное надругательство над телом было для нее страшнее смерти и всех прочих надругательств, которые ей самой довелось испытать на своем веку. Ее крики и стоны действовали на нервы всем, кто работал в морге.

— Наверняка она сама виновата, сама толкнула дочь на этот шаг, — предположил помощник.

— Это невыносимо! — не выдержал наконец судмедэксперт и, схватив телефонную трубку, вызвал полицию.

Когда ее забирали, она молчала и не проронила ни слова до самого полицейского участка. Она не дрожала, не казалась испуганной, сердце не билось быстрее обычного.

— Ее снова похоронят?

— Да, сеньора.

51

После бесчисленных часов, дней и ночей, проведенных в темной камере, солнечный свет, падавший на фасад дома напротив и пробиравшийся через узкую улицу, сухой воздух и грязные стекла в пыльные комнаты наверху, был настоящим пиром для глаз.

— Вы умный человек, — начал допросчик, впиваясь в него своими зелено-золотыми зрачками, острыми и блестящими. — Что будете пить?

Официант в белом пиджаке, с полотенцем на плече и несколькими жирными пятнами на фартуке ждал, словно они были в обычном, не слишком дорогом ресторане.

— Минутку, — сказал официант и поставил на стол бутылки с пивом.

— Если хотите, можете пока не пить, — посоветовал полицейский. — Не думайте, будто я предлагаю его, чтобы развязать вам язык.

— Нет-нет… — сказал Педро и жадно начал глотать пиво.

— Вы умный человек, — повторил полицейский, — так что мы быстро закончим. Не будем

терять время, чтобы прийти к тому, с чего должны были начать. Логично?

У полицейского была жилистая шея, лицо имело легкий красноватый оттенок, словно под смугло-зеленоватой кожей горел скрытый сангвинический темперамент. На Педро он произвел впечатление интеллигентного и сильного человека.

— За ваше здоровье! — сказал полицейский и тоже сделал глоток. — Чем вы занимаетесь?

Чуть поодаль еще один полицейский с невозмутимым видом склонился над пишущей машинкой, настолько грязной, что нити старой пыли, тянувшиеся внутри ржавого корпуса, напоминали паутину.

— Исследованиями. Изучаю рак.

— И что, его можно излечить?

Педро объяснил, что рак не лечится. Полицейский слушал его так внимательно, словно уже чувствовал, как ему в бок вцепляется злобная клешня.

— Моя мать умерла от рака, — грустно сказал он, помолчав. — Сейчас, с этими достижениями, она, возможно, не умерла бы.

Педро заметил, что, несмотря на прогресс, матери продолжают умирать.

— Не убеждает, — сказал полицейский. — Думаю, врачи не разглядели болезнь вовремя. Врачи не все одинаковы. У нас нет страховки. Нас плохо обслуживают. Как вы думаете, скоро найдут антибиотик?

Педро ответил, что еще очень не скоро. Что существует множество видов рака и что вид, который исследует он, — это наследственный рак, спонтанно возникающий у мышей определенного штамма, которых привозят из Америки, из штата Иллинойс. По наследству передаются не все виды рака, а лишь некоторые. Поэтому, даже если он откроет какое-нибудь лекарство, это не будет означать, что найден путь к излечению от рака в целом. Один из генов этих мышей способствует выработке фермента, стимулирующего бурное, неконтролируемое размножение клеток, которое порождает относительно анаэробный метаболизм и в конечном итоге разрушает организм-носитель. Но вполне возможно, что это не ген, а вирус, передаваемый самими репродуктивными клетками, поселившийся в клеточном ядре и настолько тесно контактирующий с хромосомами, что он почти неотличим от гена, поскольку самовоспроизводится только в репродуктивном аппарате живой клетки и, как и гены, действует

дистанционно, посредством каталитических веществ, которые искажают обычный метаболизм дезоксирибонуклеиновой кислоты, что приводит к появлению этих чудовищных образований, называемых многополюсными митозами, асимметричными митозами, взрывными митозами, и при этом — что удивительно, — несмотря на такой гигантский ущерб и сильное отклонение от обычного состояния, отдельная клетка все еще может жить (так что эта проблема разрешается сама собой), а окружающая протоплазма, хоть и не без труда, продолжает бурно развиваться, ассимилировать, расщепляться, расти, потреблять кровь того же существа, которым является сама, и даже испытывает некроз *in vivo*[100], когда роста кровеносных сосудов недостаточно, чтобы продолжать эту стремительную гонку.

— Хорошо, но какая вам разница, вирус это или ген, если вы говорите, что это одно и то же?

— Будь это вирус, можно было бы изобрести вакцину. Но ген, который является частью того же организма, той же субстанции живого существа, не является чужеродным элементом, и поэтому у вас не возникнет иммунной реакции.

---

[100] Примечания: 100
Здесь: в животной форме *(лат.).*

— А!.. Вот оно как.

— Поэтому хотелось проверить, вирус это или нет. Я подумал, что, возможно, дочери Муэкаса, которые носили мышей на шее в маленьком мешочке, могли бы получить иммунную реакцию. Могли бы заразиться. Если бы у них появились волдыри в паху, стало бы окончательно ясно: это вирус.

— Но…

— Это был сон, безумие. Амадор сказал мне: «Они их разводят», «Они носят мышей на шее, чтобы у них началась течка». Потому что, когда холодно, мыши не размножаются. Так было в Институте. Но Муэкас украл мышей и получил потомство.

— Но вы говорите, что они… Вы проводили тест?

— Нет. Я пошел покупать потомство.

— А потом встретили Флориту. Так?

— Да. Она угостила меня лимонадом.

— И она вам понравилась.

— Что, простите?

— Я говорю, что вы обратили внимание на девушку.

— Да, конечно. Я обратил на нее внимание. У нее было больше шансов заразиться, чем у

других.

— Понимаю.

— Но она была такая толстая и такая довольная жизнью. Совсем не походила на больную раком. Трудно поверить, что, живя в такой лачуге и питаясь бог знает чем, девушки выросли такими красивыми.

— Она вам понравилась.

— Я думал, что это чудо, что такого не может быть. Они жили между двумя кучами навоза и стадом мышей. Мышей держали в клетках для канареек. Клетки висели на стенах в комнате, где они спали. Все вместе, на одном матрасе.

— Значит, вы видели этот матрас?

— Не помню…

— И, увидев, что она продолжает толстеть, вы сказали: «Нужно сделать аборт».

— Что?!

— Ничего! Ничего! Аборт ей сделали не вы, вы ничего не делали! Не вы в ночь с тринадцатого на четырнадцатое пришли в лачугу со своими хирургическими инструментами. Не вы оперировали ее на столе. Не вы вызвали кровотечение, от которого она умерла. Не вы убежали после ее смерти, не сообщив в полицию. Не вы прятались у проституток, пока мы не пришли за вами.

Неправда, что согласно результатам вскрытия операция была сделана инструментами, которые принес Амадор. Его вы тоже не знали. Это не он помогал вам в лаборатории, не он познакомил вас с этой семьей. И на первом допросе вы не кричали в отчаянии: «Я ее убил! Я ее убил!» Думаете, вы с ребенком разговариваете?

Педро чувствовал, что полицейский прав. Его логика была безупречной. Педро действительно не должен был делать выскабливание, потому что он этому никогда не учился. И проводить экстренную операцию не следовало — в городе есть множество дежурных клиник. Не будучи членом врачебной коллегии, он вообще не имел права вмешиваться. Полицейский был прав и в том, что, констатировав смерть, врач обязан тут же сообщить об этом в соответствующие службы, а он этого не сделал. И то, что из-за всего произошедшего он теперь испытывал мучительное, гнетущее чувство вины, тоже было горькой, беспощадной правдой…

— Да. На самом деле это я ее убил, — признался он, опустив голову.

— Ну вот мы и закончили! — воскликнул полицейский и, обращаясь к безмолвному свидетелю разговора, скомандовал: — Пишите! «На вопрос,

был ли он знаком с покойной, отвечает, что знал о ней, а также о ее семье и о доме, в котором они жили, от своего ассистента по имени Амадор. Точка. На вопрос, имел ли он с ней интимную связь, отвечает, что действительно проверял, не появились ли у нее в паху опухоли из-за случайного контакта с лабораторными мышами, которых он регулярно брал у этой семьи и использовал для изучения рака. Точка. На вопрос, приходил ли он в день смерти в дом покойной и использовал ли свои хирургические инструменты, отвечает, что…»

Педро был согласен с каждым словом. Да, так все и было. Незачем начинать кричать: «Нет, нет!» — как кричат дети, пытаясь избежать наказания. Мужчины должны сознавать последствия своих поступков. Наказание — лучшее утешение для виновного: это следствие его вины и единственно возможное лекарство от нее. Именно наказание восстанавливает равновесие в этом малопонятном мире, где он дергается, как безмозглая марионетка.

52

Некоторые округлые, дурно пахнущие грязные существа, в складках тел которых скапливаются жир и слизь, никогда не смываемые водой и отпадающие в виде корок, когда время их высушивает, сделаны из почти невидоизмененной земли. Однако в их скрытых полостях сохраняется некая умственная активность — не в форме расчетов или мыслей, а в виде красочных призраков прошлого, безмолвно проплывающих перед их внутренним взором.

Погруженная в те же подземные норы, что и остальные задержанные, законная жена Пабло Гонсалеса (которого его одноклассники в одном из сел провинции Толедо много лет назад прозвали Муэкасом из-за неконтролируемых тиков, оставшихся у него после хореи)[101], заполняла пустое время своей темницы воспоминаниями о прежних днях.

В той почти невидоизмененной земле — един-

[101] Примечания: 101

Хорея, или пляска святого Витта, — неврологическое расстройство, характеризующееся непроизвольными, неустойчивыми движениями, которые могут затрагивать различные части тела.

ственном содержимом ее черепа — появлялась она сама: плачущая над дочерью; плачущая над своей рано умершей матерью; танцующая перед процессией на празднике Тела и Крови Христовых в родной деревне — невысокая, крепко сбитая, в руке жезл, волосы собраны в высокий пучок; окруженная подругами, которые говорят, что таких волос, как у Энкарны, ни у кого нет; желанная для своего, еще молодого, чахоточного мужа с мышиной улыбкой, который овладевает ею у стены гумна на закате, и она чувствует себя частью горячей, как хлеб под июльским солнцем, земли; до воды так далеко, она — единственное, что может утолить жажду его тела; в день свадьбы Энкарна уже такая толстая, что все над ней смеются, а ему не нужно отпрашиваться в полку, как другим, потому что он не годен к службе: после перенесенной в детстве болезни он вырос узкогрудым и тщедушным и к тому же страдал ревматизмом сердца; она, рожающая, кричащая и брыкающаяся; рожающая снова, уже в другом месте, когда они бежали по дорогам Ла-Манчи и пришлось рожать где попало, думая только о маврах, которые могли появиться в любой момент; удивляющаяся тому, каким большим был город, если смотреть на него снаружи, с того места,

где она каждый день воровала семь кирпичей, складывая их там, где, как говорил ее тщедушный муж, им предстояло строить дом; строящая этот дом обожженными известью руками, пока слабак пьет по вечерам; избитая — он избивал ее каждую ночь, когда напивался; бил рукой, кулаком, палкой, длинной проволокой, и лицо его дергалось сильнее под воздействием алкоголя, а она уже не чувствовала боли, потому что от той еды, которую она искала по помойкам и которая по вкусу больше походила на землю, она вся раздулась — от маленьких ступней до пучка волос, уже не такого пышного — и стала совсем круглой, грязной под одеждой, которую теперь было не оторвать от кожи, но она чувствовала удары и угадывала по их ритму приближение момента, когда слабак упадет рядом с ней и захрапит, так что боль была не настоящей болью, а лишь мерой времени, отделявшего ее от отдыха, лишь знаком того, что сейчас ночь, что муж рядом, что ему удалось сегодня принести деньги и что он, следовательно, выпил, а значит, если повезет и он пропил не все, завтра они смогут поесть; боль не заставляла ее страдать, она была лишь признаком присутствия мужа. А вот она в голодные времена смотрит, как две девочки сосут полный

живительного сока корень растения, который она выкопала из земли возле сточной канавы; вот делит батат на четыре части и дает девочкам и вечно голодному мужу, а затем варит кожуру и кормит всю семью в голодные годы, радуясь тому, что младшая все сосет и сосет этот корень и продолжает жить, что она сама не чувствует голода, потому что утратила способность чувствовать и способна только ждать, и что муж, как бы то ни было, умудряется что-нибудь принести и ловит кошек, крыс, кроликов, брошенных собак, которых связывает веревкой, и она испытывает кроткую благодарность за то, что он спасает своих дочерей и заставляет их двигаться к будущему; она не может его представить, но чувствует, как оно прорастает в ней самой и в ее дочерях, удар за ударом, вдох за вдохом, гримаса за гримасой.

В тюремной камере это земляное существо, не способное мыслить, не умеющее читать, не умеющее общаться с людьми, видит жалкие картины своего существования — однообразного, не меняющегося с течением лет. Стоны наполняют камеру и разносятся по коридорам. Это выражение отчаяния, вызванного смертью той, кого она когда-то родила. Той, которую вскармливала сначала своим телом, затем дарами земли, а после

— плодами хитрости и изворотливости своего мужчины. Той, которую прятала под отутюженной, блестящей черной юбкой, когда ходила в церковь и просила у священника благословения, больше для яростно брыкающегося младенца, чем для себя самой, потому что сама уже слишком погрязла в грехах, которые невозможно искупить. Она не могла изменить положение вещей, не способна была даже удивиться тому, что мужчина, который взял ее силой, причинив боль, потом кормил, причиняя боль, заставлял работать, причиняя боль, постепенно, на протяжении многих лет, готовил ее к той боли, которую она должна была почувствовать в момент, когда у нее отнимут дитя, спасенное, как она надеялась, священником, благословившим ее живот и изгнавшим нечистую силу.

Родиться, вырасти, однажды, собрав волосы в высокий пучок, станцевать на деревенском празднике перед процессией Тела Христова — она была хорошей танцовщицей, и, несмотря ни на что, несмотря на происхождение, обрекавшее ее на страдание и нищету, было решено, что она должна станцевать перед балдахином, — а уж потом погрузиться в землю, окружить стройную талию (благодаря которой ее выбрали для

праздника) съеденной и переваренной землей, растолстеть, округлиться и так шагать по жизни, подобно другим женщинам, отданным, как и она, на растерзание нищете, которая не убивает; бежать от вражеской армии, явившейся неизвестно откуда; прибыть в город, упавший с неизвестно какой звезды; стать частью зыбучей земли, окружающей его, защищающей его, созидающей его, вскармливающей его, разрушающей его. И ждать. А теперь жалобно стонать.

Ничего не знать. Не знать, что земля круглая. Не знать, что солнце неподвижно, хотя кажется, что оно поднимается и опускается. Не знать, что такое электрический свет. Не знать, почему камни падают на землю. Не уметь определять время. Не знать, что сперматозоид и яйцеклетка — это две отдельные клетки, ядра которых сливаются. Ничего не знать. Не уметь общаться с людьми, не уметь сказать: «Как здесь хорошо», не уметь сказать: «Здравствуйте, доктор». И тем не менее сказать ему: «Вы сделали все, что могли». И упрямо повторять: «Это не он».

Не из любви к правде, не ради соблюдения приличий, не из чувства долга, не потому, что, произнося эти слова, надеялась хоть чуть-чуть очиститься от земной грязи, в которую погрузи-

лась так давно и так глубоко, что не могла даже говорить по-настоящему — а могла лишь стонать. Те несколько слов, которые она сумела произнести, означали примерно следующее: «Это не он». И сколько ни настаивал человек, наделенный большой властью — таких людей она прежде никогда не встречала, хотя и догадывалась о их существовании, когда издалека смотрела на город и видела облако дыма, поднимавшееся из дыр, с которыми ей тоже пришлось познакомиться, но намного позже, — она повторяла одно и то же: «Когда он пришел, она была уже мертва».

«Это не он». — И она продолжала оплакивать бедную девочку, которую некогда носила в животе и из которой потом на ее глазах, через разрезанный молодой живот, уходила прекраснейшая жизнь — единственная ценность, которую она получила от матери.

* * *

— Ну вот все и уладилось, — улыбнулся зеленоглазый полицейский.

— Что-что?

— Да. Все выяснилось. Спасибо старухе. Можете ее поблагодарить.

— Все?

— Да. Сейчас верну вам ваши вещи, и вы свободны.

Видя его изумленный и недоверчивый взгляд:

— Да. Свободны, свободны… Смотрите, что я делаю с вашим признанием. — И он на глазах у Педро разорвал на две длинные полосы бумагу, которую тот подписал несколько часов назад. — Все, конец! — Полицейский вдруг расхохотался. — Вы, умники, всегда самые глупые. Никак не могу понять, почему именно вы, культурные, образованные люди, чаще других позволяете себя запутать? Любой воришка, бедняк, идиот, самый мелкий жулик защищается гораздо лучше, чем вы. Если бы не эта женщина, вам бы пришлось туго, можете мне поверить.

— Значит…

— Да. Все выяснилось.

— Я же вам говорил: меня позвали, когда злодеяние уже совершилось. Ничего нельзя было сделать.

— Да. Так и было. Но кто бы в это поверил, учитывая, сколько глупостей вы потом натворили? Кому придет в голову не заявить об этом? И главное, кому придет в голову прятаться? И где? Где вы умудрились спрятаться? Другого места не нашлось?

— Я был напуган.

— Да. Но это вас не оправдывает. Глупее ничего нельзя было придумать. Не понимаю! Не могу понять! Чем вы умнее, тем нелепее себя ведете. В голове не укладывается!

— Значит, я могу идти?

— Все еще не верите, правда? — сказал полицейский и снова рассмеялся. — Должно быть, там, внизу, очень плохо. Вы выходите оттуда надломленными… Гораздо хуже, чем жулики. Вы не выдерживаете.

— Ну, я тогда пойду…

— Подождите. Возьмите свои вещи.

Он начал доставать из большого коричневого конверта бумаги, деньги, письма, фотографии — то, что было при Педро, когда его задержали, и то, что, должно быть, взяли из его комнаты.

— Здесь все. Распишитесь в получении.

Педро стал засовывать бумаги в карманы. Движения были неловкими, близорукие глаза смотрели растерянно. Он провел руками по лицу. Щетина царапала ладони. Он представил себе ванну и парикмахера. Потом спросил:

— А того, кто это сделал, поймали?

— Он там, внизу. Вместе с отцом ребенка — тоже тот еще фрукт. Им сейчас приходится несладко.

Но вы, пожалуйста, больше не попадайте в такие передряги. Не делайте глупостей. Работайте, развлекайтесь. Оставьте в покое обитателей трущоб, они сами разберутся.

Педро встал и направился к выходу. По узкому коридору мимо двери кабинета проходили молодые люди болезненного вида с отросшими жидкими бороденками. Он уже подходил к двери, которая, как подсказывал ему инстинкт, вела на улицу, когда полицейский окликнул его:

— И знайте, если бы я захотел, я бы вас посадил. За сокрытие факта преступления, что вполне можно квалифицировать как соучастие… Но я вам верю: вы мне понравились.

— Спасибо, большое спасибо, — только и смог сказать Педро.

— Не за что, парень, не за что. И кстати, совсем забыл. Вас там ждут. В соседней комнате, — подмигнул он Педро, протягивая ему руку. — Она очень красивая. Поздравляю.

Снова рассмеявшись, он повернулся, зашагал в противоположном направлении и вскоре скрылся из вида. В крошечной приемной, где помещалась только скамья, рассчитанная на трех человек, его ждали Дорита и Матиас. Красота девушки поразила Педро. Он словно впервые уви-

дел ее. Он не вспоминал о ней с того момента, как услышал голос Симилиано. Дорита часто моргала огромными, ослепшими от слез глазами.

Они рванулись друг к другу. Губы с силой прижались к губам. Он почувствовал ярость этой забытой любви.

— Я люблю тебя, я люблю тебя, — хриплым голосом повторяла Дорита, когда их губы размыкались. Матиас, смутившись, отвернулся и смотрел в окно на узкий переулок. — Любимый мой. — Она обхватила его затылок руками, прижалась всем телом. Педро, оглушенный, пока не воспринимал ее как женщину. — Как ты? Тебе было очень плохо?

Он был не в силах ответить на ее ласки. Целуя ее, он ощущал лишь твердость зубов — эти зубы могли причинить боль, даже прокусить до крови, но наслаждения дать не могли. Наслаждение ничего не значило.

— Я тебя люблю.

Она вздрагивала, дрожала, прильнув к нему, все крепче обнимала его, плакала и смеялась. «Она меня любит, — думал Педро. — Сомнений нет: она меня любит».

— Ну хватит уже. Все закончилось, — подал голос Матиас. — Дело улажено.

Похоже, и он успел поговорить с тем полицейским.

— Больше никаких глупостей! Ну и заставил же ты нас поволноваться! А я, знаешь, уже и адвоката тебе подыскал — отличный адвокат, мой друг… Одна беда: он пессимист. Ты слишком много всего натворил. Но к счастью, все уладилось само собой.

Педро обнял и Матиаса. Дорита, успокоившись после недавней вспышки, молча держалась за его руку.

— Пойдем! Пошли отсюда скорее! — вдруг произнесла она с тревогой.

Хохоча и подгоняя друг друга, они сбежали по лестнице и оказались на улице. Солнечный свет ослепил его. Мчались машины, машины, машины. Гудки автомобилей, велосипедные звонки, выхлопные газы. Шли люди, люди, люди с равнодушными лицами. Казалось, они никогда не задумывались над тем, какое это счастье — видеть над головой небо с маленькими облаками, которые кажутся неподвижными, но на самом деле перемещаются, медленно меняя форму, уплывают вдаль, приплывают издалека. Им навстречу попался чистильщик обуви со своим черным ящиком, и при виде этого обыденного

персонажа, не спеша направлявшегося к ожидавшим его клиентам, у Педро на глазах выступили слезы.

— Чистка! — крикнул человечек, поймав его пристальный взгляд, но Дорита и Матиас уже тащили Педро к такси, чтобы доставить в пансион. Там его встретили мать и бабушка Дориты, чьи лица выражали одновременно радость и укор. Матиас оставил его наслаждаться горячей ванной, мягкой постелью, чистыми простынями и почти не скрываемыми ласками Дориты.

— Я заеду за тобой завтра. Приглашаю тебя поужинать.

53

То, что наука изменила нашу жизнь больше, чем любой другой вид человеческой деятельности, — неоспоримый факт. То, что наука — великая сила, способная избавить человека от многочисленных заблуждений, мешающих ему привести собственное существование в соответствие с его свободной сущностью, также не подлежит сомнению. И то, что славные участники этой бесконечной гонки должны считаться гражданами первого сорта или по крайней мере не презренными и не ничтожными людьми (разве что слегка претенциозными, но всегда порядочными и достойными всяческого уважения), тоже давно всем понятно.

Все эти простые факты говорят о необходимости создания в человеческом муравейнике некоего подобия вечных часов или бесконечно совершенствующегося механизма, в который были бы гармонично встроены усилия каждого достойного человека, что позволило бы достичь заветной цели: максимальной производительности и удовольствия, познания всего сущего,

власти над природой. Благодаря целому комплексу подобных учреждений (слишком сложному для того, чтобы его здесь описывать), не будет ни одного пытливого юноши, которому не нашлось бы места в рядах строителей будущего, и ни одной оригинальной идеи, которая не нашла бы применения. Вот они шагают плечом к плечу — боевые отряды тружеников науки, закаленная в битвах армия. Только в руках у ее солдат не смертоносное оружие и не сверкающие штыки, а микроскопы, теодолиты, логарифмические линейки и капиллярные пипетки.

Не вздумайте смотреть свысока на кого-нибудь из этих великих творцов, даже если его внешность способна вызвать усмешку! Под мятым костюмом может скрываться счастливый обладатель непревзойденного по силе (хотя и обычного по объему) мозга, в котором зреют идеи, никому еще не приходившие в голову, формулы новых элементарных частиц, антимиров и полуэлектронов. Человек с глуповатым лицом и узким лбом может оказаться способным архивариусом, неутомимым пожирателем палимпсестов и микрофильмов. В распоряжение ученой братии предоставлены здания с большими окнами, лестницами и коридорами, построенные из же-

лезобетона. И пусть они скудно питаются, пусть покрой их костюмов нельзя назвать удачным, пусть в черном кожаном портфеле спрятан бутерброд — замена горячего ужина, зато вахтер не преградит им путь, а почтительно пропустит их туда, где одних ждут подопытные крысы, других — тома на немецком языке, третьих — разрозненные выпуски американских журналов: у каждого свой инструмент для воплощения в жизнь новых идей. Столь мощные стимулы не могут не вдохновлять на великие свершения, и нет ничего удивительного в том, что ученые все чаще поражают нас плодами своего гения. Сколько выдается в нашей стране патентов, которые тут же скупают алчные иностранные промышленники! Сколько новых, эффективных лекарств ежедневно приходит на помощь врачам наших огромных больниц! Сколько теоретических разработок в самых заумных науках — физике, вычислении векторных матриц, химии белков, космической баллистике — передается академиям культурных стран, где они тщательно изучаются и получают восторженное одобрение! А прикладные науки? Какой восторг вызывают достижения в этой области у посетителей любой из наших выставок открытий и изобретений!

Лишь некоторые, слегка обделенные вниманием ветви древа национальной мудрости[102] все еще ютятся в старых зданиях, уже не отвечающих современным требованиям. В таких случаях речь идет всего лишь о скромных павильонах романтического вида, спрятавшихся в тенистой глубине парков, где по дорожкам бегают оборванные местные дети.

К одному из таких павильонов и направлялся Педро, уже пришедший в себя после смертельно опасной подземной одиссеи. Дойдя до металлических ворот, он снова стал «доном» — так к нему обращались только здесь.

— Доброе утро, дон Педро, — приветствовал его привратник, будто ничего не произошло.

— Доброе утро, — ответил дон Педро.

У главного входа в здание, откуда уже доносилась вонь от содержавшихся на верхних этажах собак, здоровенная уборщица добросовестно пыталась придать блеск облупившейся плитке.

— Доброе утро, дон Педро, — повторила она вслед за привратником.

Она стояла на коленях, держа в руках серую тряпку, рядом — ведро. Казалось, она ничуть не

---

[102] Примечания: 102

Имеется в виду испанский Высший совет научных исследований, эмблемой которого является дерево.

сожалела об отсутствии чудо-техники, созданной наукой (которой она сама служила как умела) в другом месте и дающей возможность выполнять те же операции, находясь в вертикальном положении.

— Доброе утро! — ответил дон Педро, поднимаясь по широкой пологой лестнице.

Ему встретилась лаборантка в белом халате:

— Доброе утро, дон Педро.

— Он здесь? — спросил Педро, не уточняя, о ком идет речь.

— У себя, — ответила лаборантка.

Педро подошел к двери кабинета и постучал костяшками пальцев.

— Очень кстати, — сказал директор. — Мне как раз нужно с вами поговорить. — И, пристально глядя на Педро, спросил: — Что все это значит?

Педро не знал, что ответить.

— Вы сумасшедший! — заявил директор, не желая больше ничего выяснять.

— Я…

— Совершенно сумасшедший! Вы поставили меня в очень неприятное положение.

— Я вас поставил?..

— В очень неприятное. Вы не имели права так со мной поступать!

После торжественного вступления директор немного передохнул и лишь потом произнес речь, которую обязан был произнести. Пригладив обеими руками седую гриву, которая на немецкий манер — директор учился во Франкфурте-на-Майне — мягко спадала, прикрывая уши, он, преисполненный гуманизма и чувства преподавательской ответственности, вздохнул и сел в кресло по другую сторону стола. Его большая голова клонилась под тяжестью неподдельной скорби и накопленных за долгие годы знаний. На нем был белый халат, который, в отличие от халатов рядовых сотрудников, застегивался спереди, позволяя демонстрировать идеальный узел строгого галстука — символ внутренней потребности в гармонии и красоте. Получивший образование вдали от плоского и ограниченного англосаксонского позитивизма, проникшийся в своем центральноевропейском университете философским чувством, упорядочивавшим его деятельность, уверенный в том, что чистый научный факт без рационального метода, позволяющего определить его место в системе наук о человеке, бесполезен, а иногда даже вреден, не пропускавший ни одного выпуска журналов по своей специальности, издаваемых на немецком,

английском, французском и итальянском языках, публиковавший труды, в которых обилие и точность информации вызывали не меньшее восхищение, чем элегантная композиция, не желавший — по веским причинам — лично заниматься кропотливой и долгой экспериментальной работой (объектов исследования слишком много, а жизнь коротка); сожалевший о том, как ничтожна в науке роль удачи, как мала доля открытий, сделанных случайно; собиравший по всему миру примеры таких счастливых случайностей в надежде, проанализировав их, выявить закономерность, профессор мог позволить себе иронично и в то же время хитро и проницательно улыбаться, глядя на некоторых наивных молодых людей, которые, едва попав к нему, уже претендовали на открытие чего-то, не зная о трудностях, препятствующих таким преждевременным, безрассудным и ненужным открытиям.

— Наша профессия — это священнослужение, — начал он медленно и уже спокойно, — и она требует, чтобы мы были достойны ее. Я бы добавил, что важно не только быть порядочным человеком, но еще и выглядеть порядочным в глазах окружающих. В отношении вас име-

ются серьезные подозрения, на которые мы не можем смотреть сквозь пальцы. Я знаю, вы скажете мне, что свободны от всяких обвинений. И действительно, вы свободны от обвинений, но — обратите внимание — не от подозрений. Напротив, вы подозрительны для всех, и подозрения такого рода возникают лишь тогда, когда мы опрометчиво создаем условия для их возникновения. Есть знакомства, отношения, необдуманные действия, проступки, противоречащие если не нормам общепринятой морали, то профессиональной этике, что совершенно недопустимо. Вы поступили плохо. Несколько раз вы говорили мне — и я вам верил, — что врачебная деятельность вас не привлекает, что вы хотите посвятить себя исследованиям. Это был благородный идеал. И вдруг я узнаю, что вы нелегально занимаетесь тем, к чему не подготовлены и на что у вас нет законного права. Как прикажете это понимать? Вы не вправе ждать от меня снисхождения к поступкам, граничащим с нарушением уголовного кодекса или уже являющимися его нарушением. Мне очень жаль. Искренне жаль. Я люблю своих учеников и успел привязаться к вам. Мне казалось, что наука по-настоящему вас интересует. Правда, если говорить начистоту, результаты

ваших исследований, к сожалению, оказались более чем скромными… Почти нулевыми. — Он с пренебрежением разбросал по столу четыре или пять протоколов вскрытия мышей. — Вы ни к чему не пришли. Но мне хотелось верить. Я надеялся, что со временем вы станете серьезнее. Ваш теоретический багаж был невелик, и вы мало читали, однако счастливый случай или советы коллег и учителей могли бы однажды указать вам верный путь. Этого не произошло. Мне жаль. Я думаю, вы сами плохо понимаете, чего хотите. Послушайте моего совета: бросьте исследования. Для этого нужен талант, которого у вас нет. Вы никогда ничего не добьетесь. В сложившихся обстоятельствах я вынужден отказать вам в продлении стипендии. Возможно, так для вас будет лучше. У вас хорошие руки. Поезжайте в провинцию. Займитесь врачебной практикой. Из вас может получиться неплохой хирург. Будете жить спокойно и держаться подальше от сомнительных компаний. Я думаю, рано или поздно вы сами поймете, что так для вас лучше. Через несколько лет вы будете благодарить меня. — (Встает и берет его за руку.) — Мне жаль, что мы не сможем продолжить наше сотрудничество. — (Подталкивает его за плечо к двери.) — Ступайте домой

и готовьтесь к квалификационному экзамену. Сдадите — получите право работать в государственных больницах. У вас хорошая память. Вы пройдете экзамен без особых усилий. Я замолвлю за вас словечко перед комиссией. И больше не впутывайтесь в подобные истории. В провинции все забудется: мадридские газеты туда не доходят, а если и дойдут, никто не поймет, что речь идет о вас. Станете жить спокойно. Скажите мне, когда будут экзамены, чтобы я поговорил с комиссией. Вы знаете, что я вас не брошу. И читайте, читайте, учитесь… Поверьте, книги — это для нас главное.

54

Амадор очень сожалел. Он понимал, что виноват, потому что именно он ввел дона Педро в адский мир трущоб, который отравляет всех, кто с ним соприкасается, и от которого он сам старался держаться подальше с тех мрачных послевоенных дней, когда родственники положили свой матрас на кухне его квартиры. Амадор очень испугался, но с ним ничего не случилось. А Муэкас и Маг Иглы начали скитаться по камерам, тюрьмам, судам, исправительным учреждениям и полицейским участкам, и предсказать, чем это все закончится, было невозможно. Амадор же продолжал с равнодушной улыбкой брать собак из проволочных клеток и искать на сгибе лапы вену, в которую он так умело — лучше всех — вводил препарат, за несколько секунд прекращавший невыносимый лай и делавший животное, привязанное на грязном операционном столе, похожем на сточную канаву, готовым к тому, чтобы содействовать процветанию науки ценой собственной крови. Амадор помогал неопытным исследователям, писавшим диссер-

тации, и не только указывал им, как оперировать собаку, но и сам оперировал, если понимал, какую проблему нужно решить — чаще всего речь шла о желудочных свищах, слюнных свищах, перекрестном кровообращении, экспериментальных переломах. Когда дон Педро, бледный, мрачный — после разговора с директором чувство радости, не покидавшее его с момента освобождения, угасло, — медленно спускался по лестнице, Амадор увидел его и очень обрадовался тому, что он на свободе.

Дон Педро медленно шагал по полого спускавшейся улице. Руки он засунул в карманы брюк, отчего полы пиджака немного приподнялись. Голова была слегка опущена, словно у мальчишки, который опаздывает в школу и раздумывает над тем, стоит ли вообще туда идти. Он пинал камешек и рассматривал пыль на своих ботинках.

— Ну и что он вам сказал? — испугал его вопросом поравнявшийся с ним Амадор.

Педро поднял голову и увидел перед собой лицо с неизменной улыбкой, пухлые красные губы, широко расставленные большие глаза, морщинистый лоб и черные вьющиеся волосы.

— Выпьем по стаканчику, — предложил Амадор. — Я угощаю!

Они оказались в грязной, маленькой забегаловке, где, кроме них, никого не было. Подошел старик в синем фартуке и поставил перед ними вино. Они устроились на круглых деревянных табуретах.

— Вас выгнали, дон Педро?

Педро был благодарен Амадору за неподдельную печаль в его глазах.

— Да. Но это не важно. Я даже рад. Теперь я смогу жениться и начать зарабатывать деньги.

— Конечно. Это само собой…

— В конце концов, я здесь ничего не делал.

— Какая потеря времени, дон Педро! Я знаю, что говорю, насмотрелся я на тех, кто здесь молодые годы губит… И для чего, скажите мне, дон Педро, для чего? Кто это оценил? Глупые иллюзии, больше ничего. Единственное, что я видел стоящего, это защита диссертаций. Вот это дело, потому что потом они сразу идут на кафедры. А остальное ерунда! Уходите отсюда! Уходите и зарабатывайте деньги! Это правильное решение. Я здесь, потому что это моя работа и другой у меня нет, но вы скажите мне, какую пользу вы извлекаете…

Педро почувствовал, как на него снова наваливается тоска.

— И все из-за чего? — В его голосе звучали обида

и возмущение. — Я ни в чем не виноват. Ты же знаешь, что я…

— Забудьте! — приказал Амадор. — Не думайте больше об этом. Несчастный случай, вот что это было. Просто несчастный случай.

— Не знаю, что этот тип себе вообразил…

— Забудьте об этом, дон Педро! Забудьте!

Вошел еще один посетитель, попросивший водки. Это был неприятный человек с редкой рыжей бородой, в заляпанном известью суконном пиджаке. Белая собака осталась за дверью и пристально смотрела на хозяина, не решаясь войти.

Амадор понизил голос до доверительного шепота:

— Вам нужно как можно скорее уехать из этого города, дон Педро. Как можно скорее!

— Да уеду я, уеду…

— Уезжайте немедленно!

— Но почему? — встревожился ничего не понимавший Педро.

— Любовник, который вас опозорил… Это страшный человек… Он думает, что это вы… Ну, вы знаете.

— Чушь какая!

— Это опасный человек, предупреждаю вас.

— Но откуда он знает?

— Это я ему сказал, дон Педро, я ему сказал. Он вытащил нож вот такой величины… У меня кровь застыла в жилах. Что я мог сделать? Я ему все рассказал…

— Что все?

— Что это был врач. Я думал, вы уедете…

— Глупости… Что он может мне сделать?

— Это плохой человек… Мой долг — предупредить вас, дон Педро, потому что, уж извините, но он — зверь. Просто зверь.

55

Почтенное семейство устроило, с несколько большим размахом, чем могло себе позволить, званый ужин: его члены осознавали свои социальные обязательства и знали, как следует поступить, чтобы наивный, но такой милый молодой человек забыл о страданиях, причиной которых стала его собственная неосторожность. Празднуя освобождение, они заодно отмечали и помолвку, и возвращение блудного пока-еще-не-но-теперь-уже-почти-неизбежно сына. Они были счастливы объявить о законном появлении в доме мужчины с двумя фамилиями[103]. Они гордились высокими достоинствами избранника. Умилялись тому, сколько нежности было заключено в каждом жесте, каждом слове, каждой мечтательной позе стройного тела — плоти от их плоти, шедевра семьи, результата усилий нескольких поколений, — гармонично сочетавшего в себе причудливое наследие полковника и бабушки с небольшой долей женственного

[103] Примечания: 103

Законные дети в Испании носили фамилии матери и отца; внебрачные, например Дорита, — только фамилию матери.

декаданса, тайно привнесенного проклятым танцором и благотворно повлиявшего на эстетику рода, у представителей которого запястья были слишком широкими, а носы — слишком длинными.

Они хотели бы устроить обед с лакеями в ливреях (или хотя бы с официантами в смокингах), который состоял бы из яиц, трех закусок, дичи и жаркого. Или ужин с консоме, икрой, фуа-гра, омарами и холодным шампанским. Но во время обеда и ужина столовая была занята постояльцами. Не смогли они устроить и коктейльную вечеринку с экзотическими напитками и виски, к которым были бы поданы разнообразные пикантные закуски — кубики сыра с перцем, крошечные горячие оливки и слоеные пирожки в серебряных вазочках, — поскольку считали эти продукты недостаточно питательными и тяжеловатыми для желудка. Поэтому они организовали здоровый испанский перекус: густой дымящийся шоколад, ломтики поджаренного хлеба с маслом «Ариас»[104], чуррос, приготовленные матерью красавицы (обделенной умом, но наделенной ку-

[104] Примечания: 104
«Ариас» — сорт дорогого масла.

линарным талантом), настоящие мантекадо[105] из Асторги, приобретенные по секретному адресу, куда заезжают пыльные грузовики, идущие из этого далекого туманного города, и пестиньо[106] с медом или джемом.

В этот час дом имел таинственный вид, не такой, как глубокой ночью, но тоже связанный с присутствием-отсутствием гостей. Часть постояльцев — меньшинство — были на работе, а остальные — большинство — сидели в своих комнатах, занимаясь неизвестно чем и притворяясь, что ничего не знают о происходящем в доме. Возможно, их тягучие часы были заполнены чтением, долгим и беспокойным послеобеденным сном, осторожным подглядыванием из внутренних окон или с внешних балконов, раскладыванием пасьянсов — в конце карты распределялись по четырем грязным стопкам, каждая с тузом во главе, на кону все те же самые меланхолические грезы, что оживляют юношеские мечты (у каждого свои), которым было не суждено сбыться. Но в

---

[105] Примечания: 105

Мантекадо — рассыпчатое печенье, которое обычно готовится на Рождество.

[106] Примечания: 106

Пестиньо — кусочки теста, обжаренные во фритюре на оливковом масле и покрытые глазурью из меда или сахара с корицей.

тот вечер все тайные занятия были отложены по причине праздника, организованного знатными дамами в честь возвращения Педро.

Дамы, чей пансион был устроен там же, где жили они сами, испытывали определенные неудобства от соседства с постояльцами. Они старались избегать этих неудобств, возводя барьеры притворного безразличия. И во время приема они вели себя так, будто не догадывались, что те жильцы, которые не получили приглашения, бдительно следят за ними, пытаясь уловить любую радость или боль, способную тронуть их уставшие сердца.

Давних постояльцев больше всего обидело то, что дамы, проигнорировав их законные права, позвали на праздник людей, не имевших отношения к пансиону. По столовой, с чашкой горячего шоколада в руках, в черном платье, отделанном шелковым крепом, бродила мать любимой подруги Дориты, которая, в отличие от своей родительницы, умирая от зависти и ревности, даже не притронулась к угощениям, без конца перебирая в уме короткий список своих прошлых, нынешних и, возможно, будущих поклонников. А простоявший весь вечер рядом с матерью, не перестававший улыбаться пожилой

слюнявый господин, тоже одетый в темное, с тростью в руке, был не кем иным, как ростовщиком: в трудные времена он помогал утлому суденышку пансиона держаться на плаву (о том, какого рода услуги он оказывал, мы умолчим). Поколение суровой бабушки представляла вдова, в свое время славившаяся необыкновенной красотой. Ее воинственные усы намекали на то, что ей пришлось много пережить в дни, когда она была источником скандалов в гарнизоне и причиной того, что ее муж подал прошение о досрочной отставке, после чего ужасно затосковал — его тоску умеряли лишь редкие вспышки любовного жара у непостоянной супруги. Эти люди, персонажи не самой достойной, но правдивой истории, казавшиеся забытыми тенями, существовали и поглощали огромное количество пестиньо и мантекадо, которых давно не могли себе позволить. Поэтому беседа не отличалась особой живостью, но благодарный блеск в глазах был убедительным свидетельством радости, которой не разделяла лишь подруга Дориты, от обиды потерявшая всякий аппетит.

— Ешь, дочка! — уговаривала мать. — Это очень вкусно. Если не будешь есть, совсем исхудаешь.

Дочь предпочитала смотреть на Дориту, ко-

торая без стеснения держала за руку своего покоренного избранника.

— И когда свадьба? — язвительно спросила подруга.

Педро и Дорита удивленно посмотрели на нее, затем снова друг на друга и ничего не ответили. Дорита была слишком красива. Как сияли эти огромные глаза! Каким изящным был нос под чистым лбом! Какими нежно-сочными были ткани под висками — там, где время привыкло оставлять свою первую борозду!

— Мое первое заведение было на улице Пес, — рассказывал пожилой господин. — Я жил в мансарде, а внизу была лавка. Какие времена! Пять песет были целым состоянием. Не то что сейчас. Я даже представить не могу, куда мы катимся. Иногда возникает искушение бросить все и уйти на покой. В конце концов от всего начинает тошнить. Сейчас никому нельзя верить. Люди забыли, что такое порядочность.

Дора, мать, отвечавшая за поддержание добрых отношений с ростовщиком (предстояла свадьба, а значит, большие расходы), отвечала невпопад:

— Вот вы всегда такой, дон Эулохио! Никогда не поймешь, когда вы говорите серьезно. Вы ужасный человек. Но мы-то вас хорошо знаем,

так что нас вы не обманете. Мы знаем, что у вас доброе сердце.

— Верно, верно, — согласился дон Эулохио и повернулся к Педро: — А вы, молодой человек, где планируете обосноваться?

Старшая хозяйка парила над всем праздником. Она заметила, что Педро помрачнел и надул губы, но видела и то, что он глаз не сводит с ее красавицы-внучки, и уже представляла себе элегантную приемную, где медсестра — не такая красивая, как жена, но вполне приятной наружности — будет приглашать в кабинет доктора многочисленных клиентов-провинциалов, которые, хотя и не слишком богаты, платят исправно.

— Почему бы вам не навестить меня как-нибудь, дон Эулохио? — намекнула вдова военного.

— С удовольствием, сеньора.

— И почему вы не бываете в нашем кафе? У нас там собираются вдовцы и вдовы. Одно старичье! — воскликнула она и расхохоталась.

— Оставь его в покое. Не надо его смущать, — запротестовала Дора, помня о своих обязанностях.

— А вы давно знакомы? — спросила мать обиженной подруги, утолив голод.

— Не очень давно, сеньора. Не слишком давно. Мы не такие уж и старые.

— Двадцать пять лет. Пустяк.

— Зачем вы так говорите, если это неправда? Вы прекрасно знаете, что он как огурчик.

— Огурчик. Только вялый.

— Помнишь благотворительную ярмарку в Луго?

— Конечно помню! Какие времена! Это было, когда вы подали в отставку.

— В недобрый час… Бедняжка дал себя запугать. А вы не знали моего мужа?

— Не помню… Он был моим клиентом?

— Замолчите, дон Эулохио! Вот вы всегда такой! С чего бы ему быть вашим клиентом?

— Вы уже видели картину, что идет в «Кальяо»?[107]

— Мы нет, а ты?

— Завтра иду. С одним молодым человеком.

— Должно быть, хорошая картина.

— Очень хорошая.

— Но вам всегда нравились женщины.

— Что поделать, сударыня! Я же не каменный. Если бы не вы, жизнь была бы не жизнь…

— Вы все-таки приходи́те на наши собрания, а то там действительно одно старичье. Вы будете

---

[107] Примечания: 107

«Кальяо» — мадридский кинотеатр.

самым бодрым.

— Я же просила: отстань от него.

— Не бойся, Дора, приходи и ты.

— Я? Я из дома — в церковь, из церкви — домой. И больше никуда ни ногой. Мне уже поздно ходить на такие собрания.

— Что же тогда говорить нам!

В дверь настойчиво зазвонили, и служанка, не подумав, без предупреждения ввела Матиаса прямо в столовую, где вечеринка была в самом разгаре. Его обдало запахом прогорклого масла от чуррос — несколько штук еще оставалось на белом фарфоровом блюде посреди стола.

Педро поднял глаза и почувствовал, что краснеет. Он тряхнул рукой, высвобождая ее из руки Дориты. Вся почтенная публика смотрела на Матиаса.

— Проходите, проходите! Угощайтесь! — пригласила бабушка, сохраняя полное спокойствие.

— Спасибо, — ответил Матиас, — я за Педро пришел.

— Не знаю, знакомы ли вы… — начал Педро и замолчал, увидев, что Матиас обходит столовую, здороваясь со всеми.

— Это добрый друг Педро, — пояснила Дорита.

— Вижу, ты занят, — извинился Матиас.

— Ничего подобного, я готов идти, — поспешил возразить Педро.

— Педро! — запротестовала Дорита. — Ты же говорил, что отвезешь нас с мамой на ревю.

— Я совсем забыл. Матиас…

— Ничего-ничего! Я пойду. Увидимся в другой раз.

— Нет. Подожди, Матиас. Подожди. Я с тобой.

— Педро, ты этого не сделаешь! В такой день!

— Вы же обещали! — заволновалась Дора, забыв о присутствии дона Эулохио. — Вы же не поступите так некрасиво!

— Замолчи, Дора!

— Еще раз извините, — сказал Матиас. — Я пойду. Ничего страшного.

— У меня уже билеты забронированы, — объяснила Дора. — Так лучше, иначе места в первых рядах…

Педро стоял посреди столовой, окруженный объевшимися гостями, и провожал глазами Матиаса, а тот, стараясь не смотреть на друга, удалялся, снова кого-то приветствуя, улыбаясь, кланяясь, извиняясь, чему-то посмеиваясь про себя, и наконец исчез. Педро рухнул на стул. Дорита была рядом. Он протянул руку, и та снова взяла ее, спокойно и уверенно, а потом наклонилась,

прикоснувшись к нему своим божественным горячим телом, и прошептала ему на ухо:

— Спасибо, спасибо… Знаешь, мама так мечтала об этом…

56

Какое бесовски удивительное, хромоного-удивленное, обнаженное пространство![108] Какое невероятное лучепреломление, сокращающее расстояния и приближающее мечту, мескалиновую галлюцинацию, коллективное бессознательное — гурий, обещанных пророком каждому верующему, семьдесят раз по семь. Еженощно обновляющие свою девственность, облаченные в прозрачные пеплосы, они — архетип желаний лежащего в одинокой постели тринадцатилетнего подростка, который недавно начал замечать на улице женские икры: женщины шли, просто шли, но, когда их икры поднимались над землей, ему казалось, что это прыгают грациозные лоснящиеся животные. Непрозрачность плоти, кажущаяся вечность формы — невесомой, скачущей, летящей, поднимающейся в воздух и падающей не под действием силы тяжести, а скорее в ритме музыки; кожа без морщин, прыщей, черных точек, сосудистых звездочек и складок,

[108] Примечания: 108

Отсылка к вышедшему в 1641 году плутовскому роману Луиса Велеса де Гевары «Хромой бес».

которая сидящим дальше третьего ряда, особенно если они слегка близоруки, кажется мраморной. Лица, искаженные застывшей улыбкой (они едва приоткрывают рты, когда поют, едва прищуривают глаза, когда подмигивают, едва ли думают, когда машинально провоцируют), — это не лица тех, настоящих женщин, которым они принадлежат: они отражают то, как женщин привыкли воспринимать представители другого вида, с незапамятных времен, с сотворения мира.

Овеянные славой, в сиянии разноцветных огней, не обращающие внимания на то, что чулки заштопаны нитками разного цвета, притягивающие все внимание к себе, так что зрители не замечают, как покоробились декорации из папье-маше, выкрашенные в желтый, охру или кармин, каждый вечер добавляющие еще один темный слой к пятну пота под мышками своих фольклорных туник (все туники примерно одного размера — на случай, если одна из гурий заболеет и ее придется заменить), надеющиеся, что недостатки их хореографии или вокала будут прощены или вовсе не замечены теми, кто пришел на это блестящее представление, и ими самими (тоже нуждающимися — из-за отсутствия достойного минимального жалованья — в непрестанной эй-

фории, которая компенсирует плохое питание); опьяненные эстрогенами и белизной собственных бедер, разжигавшими пламя инстинкта, направленного с идеальной точностью против них самих, танцовщицы выходили на сцену, выстроившись в две сходящиеся линии, слегка наклоняя голову в сторону черного отверстия, за которым волновалась публика, двигая конечностями с этой стороны более старательно, чем с другой, делая шажок вперед и отступая на шажок назад, и еще раз, и еще, приближаясь — как в детской игре — таким образом к центральной точке, где, до того как произойдет катастрофа и столкнутся тела, неожиданно окажется долгожданная суперзвезда, попав туда по совсем другой траектории, и будет кричать и махать руками так, будто летит или плывет без всякой воды. Покрытая серебряной бумагой или рыбьей чешуей, она притягивает к себе лучи света, до тех пор праздно блуждавшие по суматохе представления; исходящее от нее сияние слепит глаза тех, кто сидит в первых рядах и тщетно пытается увидеть ее такой, какова она на самом деле.

— Как же красиво! — восклицает мать, прижимая локоть к боку жениха, который держит руку дочери, гораздо более красивой, но временно ли-

шенной дара обольщения, способности вызывать всеобщее восхищение и наготы в ее самой очевидной форме. Она прижимается плечом к плечу жениха, который заплатил за билеты, — он чувствует запах своей невесты и берет ее под руку, касается ее и чувствует, как давит на него локоть матери, когда та произносит: «Как же красиво!» Мать тоже проецирует себя на сцену, будто это она сбрасывает серые одежды повседневности и отдает ревущей толпе мужчин дерзкий приказ: «Желайте меня», — и выполнение этого приказа означает достижение какой-то недостижимой цели, ради которой было создано женское тело и к которой оно непрестанно стремится, несмотря на все препятствия со стороны культуры, сопротивление которой то ослабевает, то вновь усиливается, потому что она давно запуталась в этом вопросе.

— Не смотри на нее так! — говорит невеста и кладет холодную руку на шею жениха, на которого с другой стороны давит локоть матери.

Он пытается смотреть на свою невесту и не понимает, почему эти слова раздражают его. Ведь то, что он видит на сцене, — это толстая женщина с очень широкими бедрами, единственным достоинством которых, помимо близости к

идеальной сферической форме, является способность совершать хаотические движения и тряску, при которой эти бедра кажутся не живой и эластичной частью тела, а металлической деталью, вмонтированной в устройство, придуманное, чтобы производить колебания и демонстрировать с их помощью действие элементарных физических законов. При этом он замечает, что глаза невесты слегка блестят, но этот блеск — всего лишь отражение проклятых огней сцены, где цветущие женщины теперь выстраиваются в виде розетки и то подпрыгивают, то приближаются, то удаляются, когда кто-нибудь отпускает шутку и раздается дружный хохот. Тело матери трясется от смеха и давит на него, и это ему неприятно, так же как неприятен смех невесты, которая уже забыла свое целомудренное, ревнивое, жадное или всего лишь шутливое «не смотри» и просто смеется, потому что в здоровом смехе нет ничего греховного.

Если добрые люди, собравшиеся вместе, тесно прижатые друг к другу, потные, давящие на кого-то и одновременно придавленные кем-то, жующие арахис и миндаль, шуршащие фантиками карамелек и пакетиками чипсов (в кинотеатре такой шум мешает экстазу сентимен-

тальной одинокой женщины, а здесь, напротив, гармонично вплетается в звучание духовых и струнных инструментов, льющееся из оркестровой ямы по воле потного дирижера, к чьей розовой лысине обращена самая ослепительная улыбка суперзвезды), желают, возвеличив ее образ, триумфально возвести на престол раскрашенную женщину (такую же, как они, почти как они), с ее мясистыми румяными щеками и желтоватыми ногами, движущуюся под музыку, написанную теми, кто отлично чувствует коллективную душу толпы, хранящей воспоминания о феодальном прошлом: о простушках-инфантах, обмахивающих себя веерами, и обнаженных герцогинях перед мольбертами художников-плебеев[109] — то это для того, чтобы господа, занимающие ложи, партер и отдельные кабинеты в ближайших тавернах, тоже восхитились ею и решили, что да, действительно, это и есть та самка, которой добиваются с таким бычьим упорством, которую так бесстыдно похищают с бала при свечах и тащат в дворцовую конюшню для утех королей, когда тем надоест играть в бриску со своими приближенными; та самая, ради кото-

[109] Примечания: 109
Намек на герцогиню Альба, которая позировала Гойе обнаженной.

рой добрый люд забывает о своих разногласиях и, тронутый до глубины души, со снисходительной гордостью, вполголоса, но совершенно искренне заявляет о готовности служить ей. «Да здравствуют цепи!»[110]

Любовь народа, для тех, кто знает народ и понимает его, — это любовь не купленная, не превращенная в товар, но добытая с боем. Это любовь по всем правилам, не продажная любовь для удовольствия, а любовь, которая может стать основой брака, опирающаяся на древнейшие институты, благословленная необходимым числом мужчин в тонзурах и преподносимая как пример согласия и благопристойности, взаимного уважения и нерушимого мира. Зачем искать черную кошку в темной комнате, если в куплетах, исполняемых суперзвездой, все объясняется ясно и четко: сопровождая слова разнообразными движениями покрытого рыбьей чешуей тела, она произносит красными губами: «Евгения

[110] Примечания: 110

«Да здравствуют цепи!» — девиз, появившийся в Испании в 1823 году, когда после либерального трехлетия в стране был восстановлен абсолютизм.

— де Монтихо[111] — осчастливь меня — своей любовью — я же — сделаю тебя — императрицей — Франции»; и кто посмеет назвать покупкой, торговлей или обменом переговоры, ведущиеся в столь высоком поэтическом тоне, так обнадеживающе-прелюбодейные, так счастливо порождающие суэцкие каналы и дивиденды в триста восемнадцать процентов? Пусть этот образ — образ той, что покорила (прибегнув к тем же средствам, какими могла бы воспользоваться любая простолюдинка, будь у нее такая возможность) потомка орла войны и разрушителя всех библиотек, появившихся на Пиренейском полуострове благодаря продажным министрам Карла III, — утешит, обрадует и позволит почувствовать себя отомщенным побежденный народ, которого глухой художник изобразил гибнущим от рук мамелюков, заливающим потоками алой крови те самые площади, над которыми сейчас плывут белые облачка[112]. Пусть это послужит для него утешением.

---

[111] Примечания: 111

Мария Эухения де Монтихо (1826–1920) — испанка из знатного рода, ставшая супругой Наполеона III и императрицей Франции (1853–1871). В русской традиции известна как императрица Евгения.

[112] Примечания: 112

Имеются в виду картины Франсиско Гойи «Восстание 2 мая 1808 года в Мадриде» (1814) и «Расстрел повстанцев в ночь на 3 мая 1808 года».

Вот почему добродушный дежурный полицейский может смеяться вместе с народом над непристойной шуткой, которая так веселит любого порядочного человека, не желающего зря расстраиваться из-за давно забытых историй; вот почему тайный полицейский агент может смеяться с чистым сердцем, зная, что и преступник, и полицейский, и даже судья (если китовый ус его корсета позволит ему согнуться, чтобы втиснуться в эти так называемые кресла) — пока они смеются — всего лишь носители простой человеческой радости, которые не питают ни к кому ненависти и не хотят замечать неуклюжих движений и завываний бездарной танцовщицы, видя в ее танце призыв к радости, миру и вековому согласию; вот почему строжайший цензор не может и не хочет принимать мер против этих проявлений народного ликования и считает собравшуюся в зале пеструю публику достаточно зрелой, знающей, что внебрачные дети действительно существуют, что этих детей не привозят из Парижа, что они появляются всем известным образом и что в конце концов совестливый дядюшка негодяя осчастливит наследством своего отпрыска, благодаря чему отец прелестной, но обесчещенной дочери сможет, развалившись в

креслах (народ — к чему скрывать? — иногда тоже имеет к ним доступ), курить сигары, которые изначально, согласно слепым, но непреложным законам распределения земных благ, были предназначены для соблазнителя и его друзей; в лучшем случае — для его шофера или доверенного слуги.

— Забавный, правда? Он меня с ума сведет! — говорила мать, задыхаясь от смеха и указывая на человека преклонных лет, больше похожего на проволочную куклу, который подпрыгивал, падал, снова прыгал, кривлялся, строил дурацкие рожи и в конце концов сопроводил слова грубым жестом: пусть все идет к черту, но, пока он может хоть ненадолго ухватиться за один из ходячих памятников, что разгуливают по сцене, одетые, как девицы из хороших семей, он готов терпеть оскорбления, пощечины, смех и унизительные пинки остроносого черного ботинка аристократа. Потому что он был умен и знал, как выбраться из любой передряги, всегда угадывал, на чью сторону следует встать, и давно, очень давно забыл — или никогда этого не знал — о препятствиях, способных остановить или замедлить удачную адаптацию. И если самый громкий смех, самые искренние взрывы хохота (объединяющие

мужчин и женщин, охранников и воров, членов почтенной клаки и зажиточных лавочников, университетских студентов и электриков из «Стандарта»[113], честные супружеские пары и содержанок, у которых выдался свободный вечер) раздавались именно в тот момент, когда доказывалась истинность такого образа мыслей и правота этого хитрого пугала, то, возможно, это происходило потому, что, как обнаружили мудрые изобретатели подобных зрелищ, женское бесстыдство особенно ярко проявляется на фоне мужской низости. Другими словами, только на фоне покрытой блестками плоти можно распознать в низости одного человека низость целого народа и улыбнуться ей, как старой знакомой.

Педро тоже смеялся. Да, и он тоже. Зажатый между локтем матери и плечом невесты (таким гладким, таким ровным, таким мягким, на которое так приятно склонить голову), окруженный народом спереди, сзади, сверху, снизу — лицом к утонченным людям на сцене, спиной к задним рядам, где сидит беднота, которая не платит, но кричит, смеется и аплодирует вместе со всеми, — вдыхая общий пот, наполнявший театр, как одно

[113] Примечания: 113

«Стандарт» — транснациональная компания, занимавшаяся производством и установкой телефонного оборудования.

большое облако, Педро тоже смеялся и слышал свой смех. Слышал в общем коллективном хохоте и чувствовал в собственном теле — в костях, твердом черепе и мягкой массе головного мозга, наполненной умными нейронами, — иной, замедленный, глухой смех, который, однако, угасал, едва начавшись.

57

Старшая Дора упросила отвести их на Вербену[114]. Ему было совсем не до праздников, но она твердила, что целыми днями сидит дома и никуда не ходит, тем более вечером, и что он должен быть галантным с дамами. Деваться было некуда. Пришлось согласиться. Вечер был прохладным, и Дора очень беспокоилась, или делала вид, что беспокоится, за прекрасный нежный цветок — свою дочь, которую, всю в белом, скоро увезет этот варвар и та больше никогда, никогда не будет рядом с матерью, которая вскормила ее грудью и для которой она дороже зеницы ока, если так можно выразиться. Но тут ничего не поделаешь: дети неблагодарны, им дела нет до того, что мать принесла себя в жертву. А ведь ее жизнь могла сложиться совсем по-другому: когда она была в расцвете своей красоты, мужчины только что не ползали у ее ног, и многие богатые, очень богатые господа добивались ее руки. Но она наперекор всему, несмотря ни на

[114] Примечания: 114

Вербена — праздник на открытом воздухе, обычно устраивающийся в летние дни после наступления темноты.

что, старалась всю себя отдавать дочери, которую обожала, хоть она и была плодом запретной любви, — впрочем, всем известно, как любят таких детей. Она не хотела даже вспоминать о чертовом танцоре и о тех временах, когда ее неопытность и ром «Негрита» стали причиной стольких ужасных ошибок. Но уже слышался веселый перезвон бокалов, заставляя веселые компании быстрее шагать к месту праздника. Мужчины по случаю прохладной погоды были в белых шелковых шарфах, тесноватых пиджаках и сдвинутых на затылок кепках. На плечах некоторых женщин, уже немолодых и располневших, с закатанными рукавами и похотливым взглядом, красовались манильские шали с шелковой бахромой, при виде которых Дора пожалела, что не надела одну из своих, привезенных покойным полковником с настоящих островов, — ту, что была расшита райскими птицами. Эти шали висели в витрине, в гостиной, и были настолько тонкими, что легко могли порваться. Но если бы она, соблюдая все меры предосторожности, накинула на плечи любую из них, все ахнули бы, увидев, как она хороша. Счастливая невеста Дорита крепко держала жениха под руку, и ему было приятно вести ее так. Когда они проходили

под фонарями, он украдкой поглядывал на ее профиль, совсем как у Севильской Девы или у одной из божественных скульптур, созданных гениями былых времен, — прекрасных ангелов со сверкающими слезами в натуральную величину и лицами настолько нежных оттенков, что они казались восковыми. Такой же нежной, правда немного уставшей, была и драгоценная Дорита, чья тонкая талия двигалась рядом с локтем жениха, время от времени касаясь его и заставляя вспоминать о тех вечерах, когда после ужина она качалась в кресле-качалке и взлетавший низ юбки позволял увидеть ее прелестные ножки. Он не хотел вести их туда, но мать настаивала, и ему пришлось отправиться вместе с ними на огороженную территорию, где счастье разрешено муниципальными постановлениями, где необходимо заплатить за входные билеты, найти пару свободных стульев возле киоска с прохладительными напитками и купить Дорите ломтик кокоса, которого ей вдруг захотелось. Он смотрел, как она откусывает кусочки ореха своими белыми, блестящими, здоровыми зубами. Орех сочно хрустел во рту, а она улыбалась, чувствуя странный вкус и бесконечно пережевывая кокос, пока он не спускался по горлу, по внутренней сто-

роне ее длинной лебединой шеи — прекрасной шеи, которую ему так нравилось целовать. Мать хотела заказать орчату[115], словно было лето, а официант ответил, что орчаты нет, что сейчас не лето и для орчаты уже слишком прохладно и почему бы ей не выпить пива с маслинами или даже креветками, они почти свежие, но она упрямо стояла на своем и, поскольку орчаты не было, потребовала газировки. Она хорошо помнила, и у нее не было никаких причин забывать, что с ней случилось, когда она по вине матери — не такой прекрасной, как она сама, — пристрастилась к неумеренному употреблению крепких напитков (одному Богу известно, что там за демон прячется в коварном роме). Бедные музыканты, которые с разрешения профсоюза иногда выступали на таких праздниках и которым наутро предстояло (с вполне понятным небольшим опозданием, на что их начальство обычно гуманно закрывало глаза) явиться на работу, чтобы там отоспаться, исполняли мамбо, вышедшие из моды болеро и румбы, из-за добавления многочисленных иберийских «дзынь-дзынь» ставшие почти неузнаваемыми

[115] Примечания: 115

Орчата — популярный в Испании прохладительный напиток. По внешнему виду напоминает молоко. Основной ингредиент — чуфа, или земляной миндаль.

в исполнении деревенских оркестриков, играющих летними ночами на гумне (в кастильском муниципалитете лучшего места не найти), где запах истоптанной соломы и лугового шафрана заставляет пары теснее прижиматься друг к другу и навевает сладкие грезы жандармам, следящим за тем, чтобы праздник прошел спокойно. Но здесь танцевать было куда комфортнее. Здесь танцевали не на голой земле: хорошо обутые ноги горожан скользили по твердой брусчатке. Открылась дверь, и вошел Картучо, весь в черном. Он оглядел зал в поисках достойной добычи и остановил взгляд на той, кого наверняка знал в лицо.

— Потанцуйте, дети, — предложила старуха, и Дорита обрадовалась: это лучше, чем сидеть рядом с женихом, из которого слова не вытянешь, и пить холодную газировку, когда тебе и без того холодно. Жених был из тех, кто почти не умеет танцевать, а если и умеет, то уж точно не на неровной брусчатке. Вероятно, давно, еще в студенческие годы, он танцевал на подпольных вечеринках, куда мужчины могли попасть за пять песет и выпивку, а девушки проходили бесплатно, но без выпивки. «Пойдем танцевать, — сказал он себе. — Раз уж мы сюда

пришли, танцевать все равно придется. И согреемся заодно». Дорита все еще чувствовала во рту вкус кокосового ореха, но уже не обращала на это внимания. Она гордилась собой, гордилась тем, что все-таки заполучила этого замечательного жениха. Матери удалось всего лишь найти отца для нее, а ей — возможно, за ее добродетели, а возможно, по особому соизволению судьбы, что ведет по жизни внебрачных дочерей с неясным происхождением, у которых нет денег, но есть прекрасное, прекрасное тело, — удалось не стать жертвой неумолимого рока. И они танцевали, не осознавая положения своих тел в пространстве, слившись в единое подвижное целое, вращающееся вокруг своей оси, одновременно перемещаясь по кривой вокруг оркестра, словно двойная планета или спутники-близнецы, зависящие только друг от друга. Он обнимал ее за талию, наслаждаясь гибкостью этого тела, похожего на стебель растения; она положила руку на мужественный затылок, горячий, наклоненный вперед, на ту область, где искусство парикмахера позволяет увидеть неприкрытые мышцы и сухожилия, отражающие интеллект и силу мужчины, которого она заполучила. Сеньоритам нравится класть туда руку и ощущать этот канал мужской силы,

по которому, как представляется женщине, нисходит ее образ, заставляя мужчину думать о ней и желать ее. Зачарованная пара, Пабло и Дорита, они полагали, что подобное может происходить только с ними и что никто из присутствующих не мог бы переживать это с такой силой, как они, — якобы только у них желание тела совпадало с желанием души. Но они ошибались: все, кто их окружал, тоже боролись с неизбежностью смерти. Смерть, которую мы представляем себе в виде червяка, медленно и неуклонно ползущего в нашу сторону, постоянно подает нам сигналы, а мы притворяемся, что не слышим их.

— Чотис[116], это чотис, — пропела она ему на ухо, и он почувствовал запах кокоса и жар ее желания. — «Мадрид, Мадрид, Мадрид, в Мексике о тебе много думают»[117].

Для него это звучало как: «Я люблю тебя, я обожаю тебя, ты моя жизнь, с тобой ничто не сравнится, и я твоя, только твоя, навсегда, навсегда, навсегда». Бедные музыканты — застенчивые конторские служащие — не осмеливались играть

---

[116] Примечания: 116

Чотис — испанский (мадридский) танец и музыкальный жанр.

[117] Примечания: 117

Отрывок из чотиса «Мадрид, Мадрид, Мадрид» авторства мексиканского музыканта Агустина Лары (1897–1970).

так, как играют музыканты богатые: со смешками, ужимками, прыжками и уморительным вилянием бедрами. Они играли с самыми серьезными лицами, как на похоронах (где и положено играть бедным музыкантам), и даже тот, что с маракасами, или как там называются эти штуки, похожие на погремушки, даже он, как ни странно, не позволял себе улыбнуться, чего, казалось бы, требует сам инструмент. Он был серьезен и печален, словно дворянин на похоронах графа Оргаса[118]. Простой люд, получивший разрешение развлечься, теснился в отведенной для этого части города, ища на пятачке утешения после бесконечной череды дней, заполненных тяжелым трудом, из последних сил делая вид, что веселится, и забывая о мамашах, которые пристально следили за каждым движением своих дочерей. И лишь человек в черном, окруженный людьми и в то же время словно отделенный от всех, стоял неподвижно, забыв об окурке, прилипшем к нижней губе, и смотрел вокруг, как казалось, рассеянно, но на самом деле очень внимательно. На этой ярмарке, устроенной заботливым городским советом для увеселения народа, был даже тир,

[118] Примечания: 118
Отсылка к картине Эль Греко «Погребение графа Оргаса» (1586–1588).

чтобы уж никто не посмел сказать, что власти города не думают о досуге горожан, — у простых людей тоже есть сердце, и, черт возьми, нужно же людям иногда развеяться!

Итак, после пережитого экстаза они, оставив мать наедине с газировкой и мыслями о манильской шали, подошли к кабинке тира, и он спросил ее, не хочет ли она пострелять, а она ответила, что нет, пусть стреляет он, а он сказал, что, по правде говоря, почти не умеет, а она ответила, что это не важно, пусть стреляет все равно, потому что стрельба по такой близкой мишени может выполнить, пусть и скромнее, ту же эротико-сексуальную функцию, что и охота на антилопу в Черной Африке: чтобы наша отсутствующая-присутствующая самка однажды, полуодетая, с бокалом шампанского в руке, смогла восхищаться этим трофеем, удобно устроившись на медвежьей шкуре в гостиной, где другие бесчисленные трофеи поднимают свои рога вверх, указывая всем нам истинное направление, в котором находится небо. Жених взял пневматическую винтовку для стрельбы большими свинцовыми пулями по деревянным шарам, тоже немаленьким, находившимся так близко от стрелявшего и двигавшимся так медленно,

что иногда не удавалось избежать попадания в один из них, и это вызывало бурный восторг у той, что стояла рядом, восхищаясь отвагой самца, который на расстоянии с помощью «огненной палки» сражает грозных врагов, защищая таким образом далекую, возможную, предполагаемую колыбель и то розовое и влажное, что однажды будет в ней лежать, мочиться, кричать, пожирая превращенное в молоко тело жертвы. Дорита восхищалась головокружительной меткостью жениха, которого она завоевала, подчинила и отправила совершать подвиги. И как же хорошо, как же хорошо, как же хорошо она проводила время! А ведь поначалу она боялась, что будет скучно, потому что ходить на танцы с матерью в качестве надзирателя — это то, чего уже не делают, ну то есть это совершенно устарело и не модно. И к тому же очень раздражает. В другом месте нужно было бить тяжелым молотом, и железная штука поднималась по чему-то вроде рельса, и, если она добиралась до самого верха, раздавался звук «клинк» и загоралась красная лампочка, наполняя гордостью того, кто заставлял эту лампочку загореться, что и впрямь было делом нелегким.

— Ну же, давай! — подбадривала Дорита.

— У меня сил не хватит, — отнекивался Педро, сознававший, что не сможет ударить достаточно сильно. К тому же он не хотел подвергать опасности невесту: на все то время, пока он будет обеими руками держать молот, она останется совсем одна, без защиты, среди опасных людей, которые не похожи на него и к которым не принадлежит она сама. Но Дорита сказала:

— Да ладно, не трусь!

И он послушался, хотя видел, что рядом с ней, очень близко, почти касаясь ее, остановился деревенский парень, весь в черном и с прилипшим к нижней губе давно потухшим окурком. Глядя не на нее, а на него, парень вдыхал ее запах — запах потного после танцев тела, смешанный с запахом духов. Аромат кокоса, которым раньше было пропитано ее дыхание, уже исчез.

— Жаль, каруселей нет, правда? — сказала она, после того как он, собрав все силы, все-таки ударил по пусковому механизму, получив весьма посредственный результат. А мгновение спустя маленький человечек зловещего вида одной лишь левой рукой и быстрым поворотом ловкого тела зажег красный свет — словно сигнал тревоги над нищетой ярмарки, полной людей, похожих на муравьев, еще недостаточно выпивших,

чтобы приблизиться к пределу единственного достижимого счастья. Парочка продолжила свое ночное путешествие, почти забыв о матери, почти довольная тем, что они наконец-то вместе, бесцельно бродящие туда-сюда. Подошли к продавцу вафель и купили вафельные трубочки, крутнув перед этим колесо фортуны, где им выпало не то тринадцать, не то какое-то другое число. Затем подошли к странному балагану, где мужчина делал сахарную вату в центрифуге, и Дорита произнесла:

— Хочу, хочу!

Он купил ей вату и сказал:

— Держи.

Потом они оказались возле старушки с маленькой тележкой, которая продавала кокосовые орехи, и Дорита захотела еще кусочек, и он купил и дал ей этот кусочек кокоса, и Дорита снова стала грызть тропическое лакомство.

— Тебе станет плохо, — сказал человек в черном и выхватил кусок кокоса у нее из рук.

Педро этого не заметил — смотрел в другую сторону, а она теснее прижалась к нему, но ничего не сказала и продолжала смотреть на мужчину, который забрал у нее кусок кокоса.

— Смотри, там чуррос, — сказал Педро, одержи-

мый желанием одаривать. — Я тебе принесу.

К сковороде с чуррос выстроилась длинная очередь: товар пользовался огромным спросом и мгновенно раскупался. Юные девушки лет пятнадцати, которым удалось купить чуррос, гордо несли их в руках, время от времени поднося к своим розовым губкам. Другие труженики и труженицы в попытке заполучить ценный товар тоже тянули руки к человеку в белом, сыпавшему белый порошок из огромной сахарницы в кульки, содержимое которых обещало простым смертным неземное наслаждение.

— Пойду попробую, — сказал Педро и начал протискиваться сквозь толпу покупателей, но, несмотря на все усилия, не смог приблизиться к продавцу и даже поднять руку с монетами — доказательством его серьезных намерений, немым свидетельством страстного желания воспользоваться своим правом потребителя. А Картучо в это время схватил Дориту за руку и потянул ее за собой со словами:

— Пойдем потанцуем, красавица.

Дорита вскрикнула, но никто не обратил внимания: на территории, отведенной муниципалитетом для праздника, крики доносились отовсюду.

— Кто вы? — спросила Дорита, и Картучо ответил:

— Заткнись!

А после этого резким ударом, какой он наносил уже не раз, вонзил ей в бок свой открытый нож. Пока Дорита падала на землю, пока под ней растекалась лужа крови, в сумраке казавшаяся черной, он уходил прочь — не хотел ждать, чтобы увидеть лицо того, кто, вернувшись со своим большим пакетом чуррос, обнаружит, что месть свершилась, что всему приходит срок и за все нужно платить.

58

Нет, нет, нет, все не так. Жизнь устроена иначе, в жизни так не бывает. Преступник не несет наказания. Кто с мечом придет, тот не от меча погибнет. Кто бьет первым, тот бьет один раз. Око за око. Стеклянный глаз за дырявую красную корзину. Зуб за зуб. Золотой и целлулоидный протез для мерзкого щербатого. Гнев мстительных богов. Отравленные стрелы их гнева. Не семь, а семьдесят раз по семь. Грех Кавы[119] тоже должен был быть оплачен. Река Тахо гордо предостерегает короля: мене-текел-фарес[120]. Гёте, тщательно изучивший мотивы жертвоприношения Ифигении и прекрасно их понявший, усердно принялся воплощать их в трагедии. Преступник должен понести наказание. Наказан не всегда тот, кто это сделал, — иногда наказывают того, кто ве-

---

[119] Примечания: 119

Флоринда ла Кава — вестготская аристократка, на которую легенда возлагает немалую часть вины за падение вестготского королевства в Испании в 711 году.

[120] Примечания: 120

Мене-текел-фарес (взвешено, сочтено, разделено) — таинственные слова, по библейскому преданию начертанные невидимой рукой на стене во время пира у вавилонского царя Валтасара.

рит, что он это сделал, или того, кого считают сделавшим это, или того, кто сумел — черный плащ предателя, бледное лицо, желтый взгляд, мрачная улыбка — убедить всех, что это сделал он. Человек или волк? Оборотень? Волк, который оборачивается человеком в ночь полнолуния? Свирепый волк, чья пасть в четыре раза шире человеческого рта? Человек, который ведет себя как волк? Истребитель хищников, что спускается в долину и разоряют стада? Человек — мера всех вещей. Измерьте пасть волка и рот человека, и вы увидите, что пасть в четыре раза больше и что нёбо у мужчин (и у женщин тоже) нежное и розовое, особенно задняя его часть, из-за своей мягкости и способности прятаться получившая название «нёбной занавески», а у волка эта зона окрашена в угрожающий, почти черный цвет. «Я буду подражать солнцу, которое позволяет мерзким ядовитым облакам скрывать его красоту от мира, чтобы (когда оно соизволит вновь стать самим собой) вызвать еще большее восхищение, прорвавшись сквозь мерзкий туман. И когда я покину этот мир, отдав все долги, окажется, что я не только оправдал надежды, которые, возможно, возлагались на меня, но и превзошел все ожидания». Одного не могу понять: почему все должно

было произойти именно так, именно в эту ночь, почему нельзя было немного подождать?

59

Если я не найду такси, я опоздаю. Не доеду вовремя до Принсипе-Пио. Кто такой этот Принц Пио?[121] Принц-Пио, принцип. Принцип добра. Принцип зла. В принципе, все уже закончилось. Я все закончил и уезжаю. Начну что-нибудь другое. Не могу закончить то, что начал. Такси! Какая разница? Ну пусть он на меня посмотрит, мне-то что. Матиас. А что Матиас? Где же найти такси? Нет настоящих друзей. Прощайте, друзья. Такси! Наконец-то. До Принсипе-Пио. Оттуда я и начинал. Приехал на Принсипе-Пио, уезжаю с Принсипе-Пио. Приехал один и уезжаю один. Приехал без денег и уезжаю без… Какой прекрасный день! Какое красивое небо! Еще не холодно. Эта женщина! Мне даже показалось, что я ею одержим. Конечно. Ведь она такая же, как та, другая. Почему так получилось, почему я теперь не могу различить этих двух мертвых женщин, положенных одна на другую в одной и той же

[121] Примечания: 121

Принц Пио — Франсиско Пио де Савойя-и-Моура (1672–1723), итальянский аристократ и военный, находившийся на испанской службе, имя которого впоследствии получила железнодорожная станция Принсипе-Пио.

яме? И этой тоже будут делать вскрытие. Что они хотят узнать? Столько вскрытий. Зачем все это, если ничего не видят? Сами не знают, зачем их вскрывают: миф, суеверие, сбор трупов. Что хотят найти эти анимисты? Какую тайну раскрыть? Позволили бы искать нам, вдруг мы что-нибудь нашли бы… Но что толку, зачем? Он уже сказал мне, что я на это не способен, и, возможно, он прав. Всегда думаю о женщинах. Все ради женщин. Если бы я занимался только мышами… Но что мне было делать? Что я должен был делать, если все устроено так и ничего нельзя изменить? Уже понятно, чему нужно учиться: выписывать сульфаниламиды. Плеврит, перикардит, панкреатит, зуд в заднем проходе. Посмотрим, как там живется. Там можно охотиться. Охота — это здоровое занятие. Берешь двустволку, как у дяди Мигеля, бах, бах — и заяц убит. Там много зайцев, потому что мало посевов. Горы — раздолье для охоты. Охотиться, охотиться! Каждый выходной и еще летними вечерами, когда солнце уже село, охотиться на зайцев. А после жатвы в стерне полно куропаток. На них охотятся верхом на лошади. Жирные, объевшиеся зерен, они не могут бежать, и дядя Мигель ловит их руками, когда они выбиваются из сил и падают. Как вкусна куропатка в

коричневом соусе из куропатки, густом, горячем, с зеленью! И лягушачьи лапки. Лягушек ловят без приманки, с помощью красной тряпки, привязанной к нитке: лягушки выбрасывают язык, засовывают его в рот вместе с тряпкой — и готово. Лягушачьи лапки — как куриная грудка. Очень вкусно! Кругленькие, белые лапки; уже десять лет я не видел лягушек, только когда изучал брыжеечное кровообращение вживую — бледные эритроциты, как вареная чечевица, в капиллярной сети, и животное, голое, без кожи, без шерсти, без перьев, обнаженное животное, похожее на мертвого человека до того, как его убили, только чечевица циркулирует по венозной сети брыжейки: вивисекция. Да, это как вивисекция. Английские суфражистки протестуют так, как если бы это была вивисекция. Они догадываются, что, если их раздеть, они будут такими же, как лягушки. А Флорита, обнаженная Флорита в лачуге… Старуха назвала ее цветочком…[122] Второй цветочек — Флорита вторая, которая… Аххх… Я уеду. Мне будет хорошо. Диагностировать плеврит, перитонит, шумы в сердце, колики, желудочные лихорадки и самоубийство оди-

[122] Примечания: 122

Испанское слово *flor* означает «цветок», *florita* — «маленький цветок, цветочек».

нокой учительницы, наглотавшейся веронала. Девушки, в день праздника шагающие впереди процессии, за балдахином, румяные, щекастые, поглядывают искоса в мою сторону, а я с отвращением смотрю на них, разглядывая их ноги, когда они проходят мимо казино, где я сижу с двумя, пятью, семью, четырнадцатью господами, которые играют в шахматы и очень ценят меня за интеллектуальное превосходство. Все, вот и Принсипе-Пио. Да, наверх. Потом спуститься на бесплатном лифте с винтом снизу… Купить детектив в дорогу, давно я не читал детективов, до детективов ли мне. Почему все носильщики — галисийцы? Сколько получает носильщик и откуда у него такая сила? Надо брать галисийцев или астурийцев, потому что андалузцы и кастильцы не справятся. Нужна сила. Они, краснолицые, улыбчивые, толстые, скромные, знают, что они — носильщики, хорошо это усвоили и не претендуют ни на что другое. Их дело — переносить как можно больше тюков. Им достаточно посчитать: один, два, три, четыре, пять, шесть тюков, а эту сумку сеньора понесет сама, потому что в ней драгоценности короны, королевской короны короля пик, какая чушь, почему я об этом думаю? Я еще не совсем отчаялся. Лавровый и миртовый

венок[123], символ славы на Олимпийских играх, восхождение на пьедестал и рука, вскинутая в римском приветствии, которое позднее возродили. Принимать поздравления от короля Швеции, такого белого, такого бледного, такого высокого, который никогда не загорал по-настоящему и которому плевать на науку — пусть этим занимаются другие люди, а ему положено быть королем. Но почему я не теряю надежды? Длинные руки короля Швеции держат миртовый венок. Он идеально сплетен и свою идеальную форму сохранит навсегда. Толстая задница носильщика, который никогда не моется, который сейчас сидит на скамейке, а потом завалится в таверну и будет там хлестать красное вино, стакан за стаканом. Он похож на Амадора с его губищами. Амадор, орудие судьбы, тоже галисиец, только он не носильщик, он прислуживает во время вивисекции. Амадор-Кассандра, уши, рожденные, чтобы не слышать, тупые мозги, созданные, чтобы вводить в заблуждение тех, в чью голову они вложены. Амадор, Амадор, у тебя имя рокового человека. И что, мне теперь смеяться над собой? Неужели я буду смеяться над собой? Я сломлен; я человек,

[123] Примечания: 123
В испанском языке слово *corona* обозначает и корону, и венок.

кому не позволили сделать то, что он должен был сделать; я тот, кому во имя судьбы сказали: «Хватит» — и отправили на Принсипе-Пио с рекомендациями, стетоскопом и диагностическим руководством по зуду в анальном отверстии у деревенских девственниц. Почему в моей голове столько грязных мыслей? Тупица! Тупица, думающий о заднице носильщика, который без труда поднимается с одним, двумя, тремя, четырьмя, пятью, шестью тюками в мое купе и кладет их на багажную полку. А во мне нет ни тени отчаяния, потому что я пустой, потому что меня протерли замшей, вынули внутренности и подвесили на нитке в своего рода анатомическом музее живых, чтобы я в полной мере ощутил эмпирические и гигиенические, высушивающие и стерилизующие, желчегонные и карающие качества человека с плато — того, кто творил историю, кто создал мир, начав с равнин Буребы[124], того, кто первым произносил латинские слова по правилам баскской фонетики, а затем добавил придыхательные «h», превращенные в мавританскую «j», и таким образом создал тот таран, с которым потом прошел по всему миру. И вот

---

[124] Примечания: 124

Бусто-де-Буреба — муниципалитет на севере Испании.

теперь иссохший, изъеденный, мумифицированный человек с плато вывешен на просушку так же, как вывешен я сам, чтобы из меня сделали мохаму[125] добрые ветра Кастилии, где вера в будущее потеряна три с половиной века назад, и будущее теперь представляется не чем иным, как изъеденным, коричневатым телом быка, выставленного на просушку, и мясо превращается в мохаму; она неплоха на вкус, и есть люди вроде меня, которые постепенно привыкают ее есть, запивая бокалом вина, и думают, что она лучше икры, и сельди, и французского фуа-гра. Как жаль, что мы не способны испытать экстаз! Кто нам поможет? Как проникнуть в самые передовые, сокровенные и глубокие Места Обитания, где нам теперь придется существовать? Я буду смотреть на кастильских девиц с толстыми, как откормленные куропатки, ногами, которых, как и куропаток, можно с наслаждением кусать, а можно, как куропаток, сбивать с ног ударами палки, чтобы они, упав на землю, не извивались непристойно, как черви, а лежали неподвижно в кататоническом состоянии: *stelltotenreflex*, рефлекс обездвиживания. Все виды живых существ

---

[125] Примечания: 125

Мохама — испанский деликатес, филе вяленного в соли тунца.

— насекомое, жаба, газель, гемолитическая амеба, — все неподвижны, гнойные девственницы в ожидании. И все же почему я не прихожу в отчаяние? Почему позволяю себя оскопить? На железнодорожниках фуражки с красным верхом, что наводит на мысли о фаллосе. Фаллический человек, способный произвести бесконечное количество прямолинейных движений, — вот он шагает, гордясь своей красноголовой крайней плотью, держась за свой пенис, эту согнутую палку, наделенную множеством свойств, позволяющих вызвать эрекцию гигантского органа, который вонзится в чрево гор, а меня в это время кастрируют, и я не противлюсь этому. Впрочем, есть объяснение тому, почему я позволяю себя оскопить и даже не кричу, пока меня оскопляют. Известно, что турки кастрировали рабов, которым предстояло стать евнухами в гаремах, на пляжах Анатолии, и оставляли их там, закопав по пояс в прибрежный песок. Моряки в открытом море, за много миль от берега, днем и ночью могли слышать крики бедняг — крики боли, протеста, прощания с мужской силой. Изобретенный турками способ обеззараживания очень эффективен. Песок не содержит болезнетворных микробов, он пропитан йодом и другими морскими солями,

обладающими ветрогонным действием, и является чистым абсорбирующим веществом, которое предотвращает гниение выделений. Но способы, которые применяют сейчас, лучше, потому что при этом не только не кричат, но даже не испытывают боли и, следовательно, не могут служить акустическим маяком для неосторожных мореплавателей. Сейчас все по-другому. Сейчас время анестезии, время, когда производится мало шума. Бомба убивает не грохотом взрыва, а альфа-излучением, которое само по себе беззвучно, или дейтронами, или гамма-лучами, или космическими лучами, и все они производят меньше шума, чем удар дубинкой. Все эти излучения лишают мужской силы, даже рентгеновское. Но мне-то это зачем? Сейчас время тишины. Самая эффективная машина — та, которая работает бесшумно. Поезд шумит. Он грохочет, хотя и не как летящий в стратосфере сверхзвуковой самолет, в котором отсутствует вибрация, так что на высоте в двадцать тысяч метров можно смело строить карточный домик. Здесь, внизу, мы медленно тащимся к месту, где нам предстоит тихо дожидаться, пока не пройдут годы и мы, так же тихо, не уйдем туда, куда уходят все прекрасные цветы мира. И все-таки я не вконец отчаялся. Я получаю

пружинистое удовольствие от этого архаичного средства передвижения, а поезд скачет, скачет, скачет, как животное, и стук его колес, похожий на стук копыт, гипнотизирует, и его ритм синхронизируется с ритмом электроэнцефалограммы. Для тех же целей примитивные племена чернокожих используют тамтамы, но если они, танцуя и танцуя в праздничные ночи, достигают — счастливцы! — знаменитого экстаза, то здесь мне даже заснуть не удается. Если бы я достиг экстаза, если бы я упал на землю и забился в конвульсиях у ног странствующего проповедника, то смог бы обратиться. Мне промыли бы мозги, и я превратился бы в охотника на жирных куропаток и покорных деревенских девушек. Но мы — не негры, мы — не негры, негры прыгают, смеются, кричат и голосуют, выбирая своих представителей в ООН. Мы — не негры, не индейцы, не жители стран третьего мира. Мы — тунцы, которые вялятся на чистейшем воздухе плато, мы висим на ржавой проволоке и будем висеть, пока не достигнем своего маленького безмолвного экстаза. Тракатракатракатракатракатракатракатрака… Можно создать ритм, нужно лишь придать ему форму, гештальтную структуру. Ритмы могут быть разными, все зависит от того, в какой позе слу-

шаешь: на два счета, на три счета, на четыре счета. А потом повторить. Это как оптическая иллюзия, когда на одном рисунке можно увидеть то вазу, то чей-то профиль. Патологический рационализм. Какое мне дело до ритмов, фигур и гештальтов, если меня оскопляют вживую? И почему я не впадаю в отчаяние? Быть евнухом удобно, жить без тестикул спокойнее. Даже если тебя кастрировали, приятно дышать чистым воздухом и наслаждаться солнцем, пока вялишься в тишине. Зачем отчаиваться, если продолжаешь тихо и спокойно превращаться в мохаму, а розы продолжат быть… розами?.. Ха-ха. Ты сможешь охотиться на куропаток, на очень жирных куропаток, когда урожай уже убран… Ты сможешь играть в шахматы в казино. Тебе всегда нравились шахматы. Если ты редко играл в шахматы, то лишь потому, что у тебя не было времени. Вспомни: ты же знал защиту Филидора. Шахматы — вещь очень приятная, и к тому же, если ты не впал в отчаяние, тебе будет легко привыкнуть к ним. Очень легко. Только поначалу нужно сидеть спокойно, потому что каждое лишнее движение может разбередить рану. И однажды к тебе на прием придет женщина — красивая женщина с жалобой на зуд в заднем проходе. Ты

без труда поставишь ей диагноз и выпишешь нужные лекарства. Она скажет: «Какой милый этот новенький». Эту женщину долго ждать не придется, но к ее приходу у тебя уже все пройдет. И тогда скажут: «Этот лучше, чем тот. Новый лучше». Найдутся, конечно, и те, кто с этим не согласится и станет утверждать, что прежний был лучше, — возможно, им просто будет стыдно признать, что они не правы. И это хорошо: в противном случае тебе было бы некогда охотиться на куропаток. Ты проведешь так некоторое время, ожидая в тишине, ни о ком не говоря плохо. Главное — молчать. Никогда об этом не говорить. Все вокруг постепенно увидят, какой ты добрый, чистый и мудрый. Там простирается пустошь, длинная пустошь, словно кожа, натянутая на скелет. В это время года, когда деревья окрашены в красно-золотые осенние цвета, здесь есть только сухая земля, мужской пейзаж, никогда не подвергавшийся кастрации, и кто знает, какие новые камни обнаружатся, если содрать землю. Глыбы гранита, ласкаемые ветром так долго, что стали круглыми, золотые камни, черные камни, красные камни. Среди камней сидит ящерица. Хотя нет. Осенью они засыпают. Синяя горная цепь приближается и приближается, ожидая, когда

сквозь нее промчится поезд. Горы словно хранят секрет: там есть надежда. По ту сторону гор все еще живут мавры. Один набег — и мы прогоним их. Еще один набег — и они уйдут за другой хребет и будут заселять, заселять, наполнять землю детьми, мужчинами, женщинами, которые рожают, до тех пор, пока не начнут голодать, а когда от голода они станут похожи на вяленых тунцов, их можно будет вышвырнуть с заселенных ими земель, и вы увидите, тогда-то вы увидите, чем они ответят. Но что мы будем делать, если не останется места, куда их можно было бы вышвырнуть? Не знаю, зачем я думаю. Мог бы спать. Я смешон. Я в отчаянии оттого, что не в отчаянии. А мог бы не быть в отчаянии из-за того, что в отчаянии оттого, что не в отчаянии. К чему эта скороговорка? Наверное, я хотел бы сказать это кому-нибудь. И тогда кто-нибудь все еще мог бы посчитать меня остроумным и ему не пришлось бы спрашивать меня, откуда берется мое остроумие, потому что зачем ему спрашивать, откуда оно берется? И для кого, черт возьми, может иметь значение, остроумен я или нет? Идиот! Я снова думаю, и мне нравится думать. Некоторые мысли даже кажутся мне блестящими, и я горжусь ими. В окно вагона светит солнце, а за окном виден Мо-

настырь[126] — все пять его башен, устремленные ввысь. Невысокий, приплюснутый, он, как говорят, имитирует ту решетку, на которой когда-то подвергли вивисекции санлоренцо наших грехов, этого лоренцаччо[127], о котором ты слышал, этого лоренцона, которым являюсь я сам. Лоренцо-лоренцо, который сказал: «Переверни меня, с этого бока я уже поджарился». Как сардины. Как бедные маленькие сардинки. Я тоже поджарился. Солнце жарит, поджаривает, превращает меня в мохаму. Лоренцо был сильным, он не кричал, когда его поджаривали язычники-торквемады. Он молчал и сказал только (история сохранила лишь эти его слова): «Переверни меня, с этого бока я уже поджарился». И палач перевернул его. Просто из любви к симметрии.

---

[126] Примечания: 126

Имеется в виду монастырь Сан-Лоренсо-де-Эль-Эскориал, башни которого имитируют решетку, на которой, по преданию, был сожжен святой Лаврентий (Лоренсо) Римский.

[127] Примечания: 127

Отсылка к пьесе Альфреда де Мюссе «Лоренцаччо» (1834), названной по имени главного героя, в судьбе которого прослеживаются некоторые параллели с судьбой героя романа Мартина-Сантоса.